1 р. 90 к.
23-1-14
Индекс 73293

«ОКТЯБРЬ»—1992

А. АВТОРХАНОВ. Мемуары.

Марк АЛДАНОВ. Десятая симфония. Повесть. «Ульмская ночь». Фрагменты из книги.

Юз АЛЕШКОВСКИЙ. Книга последних слов.

Светлана АЛЛИЛУЕВА. Далекая музыка.

Анатолий АНАНЬЕВ. Лики бессмертной власти. Роман. Книга первая. Царь Иоанн Грозный.

Иосиф БРОДСКИЙ. Путешествие в Стамбул. Эссе и статьи о литературе.

Борис ВАСИЛЬЕВ. Дом, который построил Дед. Роман. Книга вторая.

Александр ВАСИНСКИЙ. Большое безумие.

Владимир ВОЙНОВИЧ. Замысел. Роман.

Игорь ВОЛГИН. Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах. Роман-исследование. Книга вторая.

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ. Лев Троцкий. Политический портрет. Книга вторая.

Михаил ВОСЛЕНСКИЙ. Смертные боги.

Антон ДЕНИКИН. Очерки русской смуты. Тт. 3—4—5.

Георгий ИВАНОВ. Шесть рассказов.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Младший брат. Роман.

Олег КЛИНГ. Меченые. Повесть.

Александр КОНДРАТЬЕВ. Сны. Повесть.

Владимир МАКСИМОВ. Как в саду при долине. Маленькая повесть.

Александр МЕНЬ (протоиерей). Как читать Библию.

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. Иисус Неизвестный. Роман-эссе.

Владимир ОРЕШКИН. Референт. Повесть.

Ирина ОДОЕВЦЕВА. Оставь надежду навсегда. Роман.

Борис ЯМПОЛЬСКИЙ. Знакомый город. Повесть.

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 10 1—208.

1991 10 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

10
1991



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1991

ОКТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **В. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).
Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО.**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 28.08.91. Подписано к печати 16.09.91. Формат 70×108 1/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 242 000 экз. Заказ № 853. Цена 1 р. 90 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва А-137, ул. «Правды», 24.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Псалом

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХ КАЗНЯХ ГОСПОДНИХ

Прежде всего предуведомление читателю: роман Фридриха Горенштейна «Псалом» принадлежит к числу книг совершенно особого рода, построение которых не подчиняется никаким ранее установленным правилам. Писатель сам открыл для себя этот новый способ сочинения и приемы, ему способствующие. Поэтому — да и по другим причинам, о которых позже,— роман не читается легко. Особенно это можно сказать о страницах, перегруженных размышлениями героев и автора, часто от мыслящих своих героев неотличимого. Весь роман — это одна долго разворачивающаяся авторская мысль. Для своего воплощения она нуждается в притчах. Действующие лица этих притч — вполне реальные люди, в описании которых, как и обстановки, их окружающей, не упущены самые простые житейские мелочи. Но роман от этого не становится реалистическим. Оттого, находя в некоторых навязчиво повторяемых местах его несоответствие известной мне действительности, я не могу упрекнуть в этом автора: он же не дал обета этой действительности следовать. Скорее наоборот: в романе подчеркнута чудесность или по меньшей мере странность в нем происходящего. В самом деле, действие всех пяти частей-притч романа строится вокруг существа мифологического — Антихриста, который может, используя данную ему силу, внезапно исчезать от врагов или мгновенно поражать их. То, что в последней из притч Антихрист работает дворником,— удачно найденная реалистическая деталь: ведь в том Литературном институте, который емко и гротескно обрисован в последней части романа, служил дворником великий писатель Андрей Платонов, чье явственное влияние чудится в «Псалме», особенно в изображении детей. Мы все за последние лет двадцать привыкли видеть едва ли не самых выдающихся из талантливых молодых поэтов или филологов зарабатывающими себе на жизнь работой кочегара или лифтера. Чем же отличается от них горенштейновский дворник-Антихрист? Они все принадлежат странности мира, где роман возник.

Если бы мы — для удовлетворения тех читателей, которые не хотят иметь дело с литературой, целиком создаваемой наново,— захотели вписать роман Горенштейна в литературное окружение нашего века, то скорее всего можно было бы задуматься о частичном сходстве с магическим реализмом Варгаса Льосы, или Гарсиа Маркеса, или с романами-притчами Кафки. Но как раз сопоставление с Кафкой покажет и одно немаловажное различие. Как и на Горенштейна, на Кафку Ветхий Завет повлиял и как литературное произведение. Но Кафка перенял прежде всего самый стиль библейских иносказаний. А Горенштейн недаром столько раз цитирует Библию: он старается следовать самой букве ветхозаветного текста. Его сочинение по своему построению иногда близко к богословскому. Совсем необычен способ, каким (за исключением последней части — финала) в романе говорит и думает Антихрист. Не он думает, а Бог говорит ему через одного из пророков.

Из психологических исследований последних лет (я имею в виду книгу американского психолога и историка культуры Джейнза) мы знаем, что библейские рассказы передавали суть того разговора с Богом, который велся в душе каждого из пророков, но важен был для всего общества. Лишь посредством пророков, оно могло говорить с Богом. Очевидно, для каждого из пророков этот разговор был такой же реальностью, как для любого из нас беседа по телефону. Горенштейн делает существо с подобной ветхозаветной психологией героем своего романа. Но пересказываемые в романе многочисленные разговоры Антихриста с Богом все даны цитатами из Ветхого Завета. Горенштейн боится неточности, робеет перед собственным воображением. Способ цитирования другого канонического текста обычен в Библии. Здесь Горенштейн верен ее стилистике, столь отличающейся от манеры современных романистов.

Но по этой же причине психологический портрет Антихриста гораздо менее отчетлив, чем рисунок, изображающий других героев. В замысле и исполнении романа есть явное неравновесие мужских и женских ролей. Преобладают женщины. Две первых истории, отчасти — как замечает и сам автор — друг друга повторяющие, рассказаны от имени героинь — простых девочек. В первой части-притче Мария умело просит милостыню, добывая прокорм и для своего больного младшего брата Васи. История девочки-нищенки Марии достигает платоновской жестокой силы.

Аннушка из второй притчи чем-то напомнила главному герою-Антихристу — Марию из первой части, хоть вроде две девочки и не похожи были друг на друга. Антихрист послан был «к нечестивой девочке-мученице Аннушке после доброй девочки-блудницы Марии...» Отчасти напоминают друг друга и их истории: Аннушка оказалась повинной в смерти ее братика Вовы, как Мария — в том, что пропал больной ее брат Вася. Но особенно ясно внутреннее сходство двух молодых женщин проявляется в вершинных минутах их горя: «Во сне громко плакала Аннушка, поскольку во сне она была дома, и плакать ей никто запретить не мог, но наяву плакала Аннушка тихо, поскольку наяву была она в немецком рабстве. Это был тот самый Божий плач от сердца, кото-

рым Господь изредка награждает неразумных и которым в поле у станции Андреевка в 1933 году плакала Мария, малолетняя блудница. Через этот Божий плач возвысилась тогда Мария, без слов прочла она наставление Господа и без разума поняла то, что дано было через разум пророку Исайе».

То место в романе, где переданы чувства девочки Марии, затерявшейся в снежном поле у станции Андреевка, принадлежит едва ли не к лучшим в книге. Горенштейн не теряет жесткости в выражении своего понимания Марии (как потом Аннушки). По его словам, «от Марии ее собственная душа и ее разум были отделены бесконечным пространством, но безмолвное сердце, лишенное Божьего дара слова, сердце ее было рядом с ней, и она заплакала, не имея ни слов, ни понятий, а одни только лишенные смысла звуки». Мысль о Слове, которое где-то существует для каждого человека, но может остаться ему нераскрытым, особенно четко выражена Горенштейном в следующей притче, где говорится о городском красавце и пьянице Павлове, которого так и не нашло его личное Слово. Может быть, лучше всего Горенштейн описывает таких людей, отделенных от Слова и от разума беспредельным пространством.

В отличие от поэтических и проникновенных образов главных героинь пяти притч и мелькающих в них же живых и впечатляющих зарисовок других женских персонажей портреты многих мужских действующих лиц одномерны. Часто они гротескны, как изображения пьяницы Павлова и его собутыльников. Но подобные провинциальные люмпены еще удаются Горенштейну, находящему два-три метких штриха (часто чисто физиологических) для их характеристики. Гораздо слабее оказываются попытки нарисовать портрет интеллигента.

Самым неудачным образом в «Псалме» мне кажется Алексей Иосифович Иволгин. Его портрет насквозь идеологичен, он нужен автору только для того, чтобы проиллюстрировать свою идею. И здесь неожиданно Горенштейн обнаруживает — именно там, где его идея, казалось бы, противоположна официальной советской,— свою причастность, пусть особого рода, традиции социалистического реализма. Оттого в описании жизни, страданий и смерти Иволгина столько натянутого и даже фальшивого. Горенштейн отнюдь не политический писатель, и его попытка перейти к прямой политической сатире остается явно неудачной.

Но едва ли многим лучше образ старика Иловайского, с которым связала свою жизнь вдова Иволгина Клавдия. Уж не ее ли сперва расчетливость, потом неумность бросают тень на жизненых ее спутников? Ведь мужчины у Горенштейна явно вторичны по сравнению с героинями и иногда (как Гриша, насилующий Марию в первой притче) нужны только для пробуждения чувства в героине; потом они исчезают, роман, строящийся на женских образах, в них не нуждается.

Но есть и еще более серьезная причина неудачи Горенштейна в изображении Иволгина и Иловайского, да и гораздо более молодых интеллигентов и их разговоров в последней притче, действие которой происходит в Москве, и притом в таком ее примечательном месте, как Третьяковская галерия. Горенштейну решительно не удаются интеллигенты и их разговоры. Когда Иловайский вспоминает с друзьями молодости на даче у одного из них подробности церковного их воспитания и когда студенты Литературного института заводят спор между собой, роман приближается к провалу, какой бывает только у большого писателя, особенно в русской литературе.

Я позволю себе сравнение, которое многим покажется удивительным. Неумением изобразить интеллигента Горенштейн напоминает Солженицына. У обоих крупных прозаиков, чьи сочинения останутся в нашей литературе, при их умении изобразить простых людей (у Солженицына это обычно мужчины и старухи, как Матрена, у Горенштейна — больше всего девочек и девушек), интеллигенты оказываются куда менее интересными. И здесь опять приходится подумать о традиции социалистического реализма. Интеллигенты — старик ли Иловайский с его рассуждениями о Христе или студент Литературного института Андрей с его рассуждениями о Моисее — нужны Горенштейну прежде всего или почти исключительно для выражения мыслей, его занимающих. Оттого их изображение одномернее портретов провинциальных пьяниц. Когда в пятой притче эти последние, как студент Литературного института Сомов и кончающий жизнь самоубийством Вася, встречаются с Андреем, у автора для пьяных хулиганов оказывается больше красок, чем для сосредоточенного на мыслях о Боге Андрея.

Но Горенштейн не был бы крупным писателем, если бы ему мешала изобразить городских образованных людей только перенятая из литературы предшествующих лет склонность к превращению героев в идеологические схемы. У этой традиции есть и гораздо более серьезные истоки и параллельные ей явления в литературе нашего века.

Борис Хазанов * верно отмечает зависимость Горенштейна от Достоевского, с которым автор «Псалма» так яростно спорит. Не признающий Достоевского (да и всей русской литературы) известный чешский писатель нашего времени Кундера в своем замечательном эссе о жанре романа ориентируется главным образом на центральноевропейскую традицию философского романа. Среди писателей немецкого языка Кундера особенно отмечает Кафку, Музиля и Броха.

---

* См. Борис Хазанов «Одну Россию в мире видя».— ж. «Страна и мир», 1966, № 9, с. 91–96.

«Псалом», бесспорно, принадлежит к этой традиции. Но в отличие, скажем, от Кафки Горенштейн не ограничивается философскими притчами на ветхозаветный лад. Он хочет втолковать — или даже вбить в голову? — читателю свою философию с упорством, напоминающим монологическую одержимость Льва Толстого (Достоевский благодаря его диалогическому многообразию не был столь напряженно односторонен). Несколько любимых идей Горенштейна повторяются в романе много раз. Главные из них касаются России и еврейства, с одной стороны, христианства и иудаизма — с другой.

Борис Хазанов справедливо говорит также и об одержимости Горенштейна Россией. Горенштейн не просто следует русской литературной традиции, столько для него значащей: Пушкин в романе не раз упомянут как высокое воплощение гения, нашлись у Горенштейна и должные слова для оценки библейских стихов Языкова. Горенштейн, как все истинно русские писатели, болен Россией, ее мучительной историей и безбрежной географией (с которой, кстати говоря, для Горенштейна сопряжены притягательные черты русских женщин; ведь им нужно было заселить настолько обширные пространства, отсюда их способность к продолжению рода и дар плотской любви).

В русской истории, особенно новейшей, Горенштейна волнует тема соотношения России и еврейства, к нему повернутая прежде всего русским (или восточно-славянским: речь идет и об Украине, начиная с Шевченко) антисемитизмом. Я не стану спорить с его преувеличениями, понятными при запальчивости в любом споре. Не раз в его романе встречаются русские или украинцы, повторяющие старое антисемитское утверждение о том, будто евреи убили Христа (словно тот и сам не был евреем: в самом деле, эта простая истина часто забывается, но не в романе Горенштейна). Я берусь доказать, что в русских деревнях, пока до недавнего времени они еще существовали, антисемитизма (а в том числе и этого понимания Христовой смерти) не было; он появляется главным образом у деклассированных городских жителей. Они были питательной средой для черносотенцев в России и для нацистов в Германии. Но в XX веке антисемитизм стал если и не общераспространенным (вспомним, как мало голосов «Память» и представители ее идеологии, подобные Шафаревичу, получили на недавних демократических выборах в России), то очень шумным и обращающим на себя внимание. Что еще хуже, городские люмпены при поддержке охранки с начала века участвовали в погромах, а в конце сталинского времени, после убийства Михоэлса, ясными были проявления государственного антисемитизма. Мне до боли памятны и так называемая «борьба с космополитизмом» в 1949 году, и дело врачей, наложившее свое клеймо на зиму 1952—1953 годов. Болезненный след этих двух вспышек официального человеконенавистничества, направленного против людей еврейского происхождения, я нахожу и в романе «Псалом». Вероятно, в чем-то мои юношеские впечатления совпадают с теми, которые я реконструирую у автора романа, судя по его тексту. Но я испытывал непреодолимый стыд за то, что все это делалось государством от имени России (тогда — и СССР), Горенштейн же, естественно, думает о страданиях людей, родственных ему по рождению и по вере.

В самом ли деле проклятие антисемитизма лежит на России и на русских таким несмываемым пятном, как можно думать, прочтя роман Горенштейна? Мне хотелось бы ответить на это отрицательно (хотя, признаюсь, эта мысль мучила меня самого как русского в те страшные годы и продолжала мучить потом, вызывая почти физиологическое отвращение по поводу персонажей из «Памяти» и подделывающегося под них Шафаревича). Отношение Горенштейна к России мне отчасти напоминает отношение к еврейству Розанова. В некоторых своих фрагментах Розанов приближается к антисемитизму, иногда самому махровому, в других (или даже тех же самых) обнаруживает тяготение к еврейству, завороженность иудаистическими обрядами, особенно связанными с еврейками. Так и Горенштейн одновременно заворожен женским русским началом, с такой силой им воспетым, и одержим ненавистью к русскому антисемитизму (исторически, я на этом настаиваю, вполне оправданной, хотя в некоторых навязчивых повторениях в романе я нахожу и преувеличения). Роман возвращается к теме ненависти и проклятия, которое несет его герой — Антихрист. Проклятие, которое через Аннушку (исполняющую здесь мифологическую роль) Антихрист посылает Германии, безоговорочно распространяется на все времена. В России ненависть и проклятия Антихриста простираются, если я правильно понимаю «Псалом», скорее не на всех ее обитателей-русских, а на тех человеконенавистников, которые встретились на пути Антихриста-Дана на погибель себе. Это проклятие, не всегда связанное с Даном, относится и к изменникам-выкрестам, как Иволгин или как сын Антихриста Вася, страдавший необузданным антисемитизмом и повесившийся вскоре после того, как он узнал о своем происхождении.

Самой озадачивающей меня частью философских или историософских рассуждений в романе мне представляется постоянно повторяющийся лейтмотив противопоставления иудаизма как истинной религии историческому христианству, против которого герои Горенштейна да и сам автор имеют много возражений. Сам Христос мыслится ими как один из древнееврейских пророков, и в той мере, в какой его первоначальное учение продолжает Моисеево, Горенштейн готов его принять или хотя бы с ним считаться. Но в последующем христианстве или христианской церкви ему чудится отпадение от древней веры, частично им объясняемое тлетворным греческим влиянием.

Из пятой притчи видно, что часть этих богословских рассуждений (мне самому часто кажущихся не только неверными, но и бесконечно растянутыми) родилась из мод-

ных религиозных споров в московских интеллигентских компаниях шестидесятых годов. Списаны с натуры, хотя, может быть, и поверхностно плакатны, иконы, заменившие на иных стенах портреты Сталина. Советский официальный атеизм для Горенштейна продолжает ложь христианской церкви; поэтому смена одной лжи другой понятна. Соблазн излишне легкого увлечения православием (а в недавнее время, уже после написания романа,— и нового его огосударствливания) очевиден. Для того, чтобы это заметить, не нужно быть писателем такого высокого класса, как Горенштейн. Но было бы нелепо из этих злоупотреблений христианством делать далеко идущие выводы об его исконной природе.

Меня как историка религии и культуры смущает несколько примитивный дуализм философии Горенштейна. Как отчетливо он формулирует в пятой притче, мир для него (как и для некоторых древнееврейских мыслителей) состоит из пар противоположностей. Оттого и герой его романа — Антихрист — мыслит себя как прямое противоположение своему Брату — Христу. Но если продумывать эту мысль до конца, то сюжет романа кажется недодуманным и ущербным. Что сделал Дан на всем протяжении романа, чтобы реализовать свою мифологическую миссию? Ведь в романе он скорее воплощает архетип Дон Жуана, рождающего детей (иногда его достойных, как Андрей, иногда недостойных и предающих религию отца, как Вася) от нескольких русских женщин.

Роман в большой степени построен вокруг идеи плотской любви как проклятия. А другой любви герои романа почти не знают. Роман и в этом принадлежит при всех своих библейских стилистических особенностях, делающих описания эротических сцен столь своеобразными, именно нашему веку. Над героями, хотя они нигде не упоминают Фрейда, витает проклятие либидо как самой непреодолимой силы, покоряющей и мифологического Антихриста (иногда почти кажущегося ее воплощением), и простых смертных, особенно женщин, чью психологию с таким мастерством воссоздает Горенштейн. Нагота женского тела, насилие над женщиной, надругательство мужа над любовником описаны Горенштейном с силой, на которую, вероятно, его вдохновило чтение Ветхого Завета. Именно взгляд издалека, не подсматривание в щелку делают эти сцены романа шедеврами прозы двадцатого века. Мне кажется, что Горенштейну благодаря его метафизически жесткому письму удалось одному избежать той инфантильной пошлости гимназического увлечения полом, которой так долго страдала наша самиздатская (а потом и тамиздатская) проза, противопоставившая себя оскопленному ханжеству социалистического реализма.

В непреклонной четкости физиологических подробностей, в неуклонном следовании психологической истине Горенштейн, как и в своей монологичности, напоминает Льва Толстого. О Толстом же напоминают части романа, где автор удачно использует толстовский прием остранения, заглядывая далеко за мнимую поверхность явлений — прямо в их суть. Я думаю, что много поколений читателей будут возвращаться к поразительному по силе описанию Литературного института, как его в финале видит Андрей Копосов: «Конференц-зал был увешан кусками литературы всех времен и народов, именно отдельными организмами, извлеченными из тела. Андрей долго думал, на что похожи эти тесно покрывшие все четыре стены стенды с обложками книг, классики прошлого и того, что теперь именуется классикой и попросту книгами первого, второго, третьего сорта. Вокруг были лозунги-цитаты, великие слова на красном холсте, великие профили и силуэты. И понял Андрей — это литературная анатомичка, морг для отдельных частей тела. Заспиртованные цитаты и обложки, что-то вроде печени, легких, рук и ног в банках со спиртом. Части тел в спирте менее имеют отношения к человеку, чем камень на улице или ветка дерева. Камень и ветка дерева более похожи на живого человека, чем его собственная печень или легкие, из него вынутые. Так же далеки от литературы и эти куски литературы в литературной анатомичке. Да и во всем этом заведении есть что-то медицинское, научное, где литература выглядит подопытным существом, кроликом, которого мучат исследованиями, где литературе уготовлена роль жертвенная во имя людского благополучия согласно гуманным принципам социалистического реализма».

В лучших своих частях, подобных только что процитированной, роман Горенштейна поднимается над любой прикладной ролью — в том числе религиозной, философской или историософской,— которой привычно подчинялась русская проза. И та необычность формы и жанра романа, с характеристики которой я начал,— свойство этой подлинной свободы автора, нелегко им завоеванной; ведь для этого ему пришлось преодолеть (пусть иногда не до конца) и традицию социалистического реализма, и дешевую публицистичность многого в тогдашней подпольной самиздатской (и тамиздатской) прозе. Роман Горенштейна иногда по построению напоминает самые спорные стороны лучших книг последней половины века. Обилие случайных встреч и совпадений (особенно в последней части) заставляет вспомнить о «Докторе Живаго», сплетение реалистических деталей и мифологических мотивов и героев уводит к «Мастеру и Маргарите». Но все эти (и другие, приведенные выше) сопоставления необязательны. Горенштейн несравним. Это большой мастер со своими взлетами, иногда (на мой взгляд, столь же большими) неудачами, неровный, мятущийся, мощный, воплощающий в своем поколении боль и силу великой русской прозаической традиции, которой он принадлежит неотрывно •

Вячеслав Вс. ИВАНОВ

Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его.

Вторая книга МОИСЕЕВА. Исход.

Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.

ПУШКИН.

Наслышался и про вашу живопись. Бог дал вам одно лицо, а вы себе — другое. Иная и хвостом, и ножкой, и языком, и всякую Божью тварь обзовет по-своему, но какую штуку ни выкинет, все это одна святая невинность.

ШЕКСПИР. Гамлет.

Памяти моей матери

1

Увы! Шум народов многих! Шумят они, как шумит море. Рев племен! Они ревут, как ревут сильные воды! Так изрек Исайя, сын Амосов, пророк, за восемь веков до Вифлеемской звезды предсказавший Рождество Младенца, Ребенка, Сына своему сердечно любимому, непослушному и упрямому народу. Народу, изнемогавшему среди рева и топота со всех сторон. Так изрек пророк, чутким ухом уловивший самый опасный, тяжелый топот с Севера.

Да, шумно и суетливо на земле. Но, чем выше к небу, тем все более стихает шум, и, чем ближе к Господу, тем менее жалко людей. Вот почему Господь, чтоб пожалеть человека, шлет на землю своих посланцев. Не сам по себе шлет их на землю Господь, не сам избирает, а шлет тех, кого изберут и обозначат пророки. Такое право дал человеку Господь лишь в самом начале бытия, при сотворении мира. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Этим заложил Господь в человеке силу Творца и приобщил человека к тайне искусства. На седьмой день творения было Рождество искусства, на седьмой день был человеку этот Божий подарок, и по сей день сохранил Господь его для избранных. Из среды этих избранных выделил Он пророков-предсказателей великих и малых, а из среды пророков выделил лишь трех — Моисея, создателя Божьего Закона, Исайю, предсказавшего Мессию, Христа из колена Иудина, и Иеремию, предсказавшего Антимессию, Антихриста из колена Данова.

На смертном одре своем Иаков, зачинатель Израиля, сообщал каждому из двенадцати сыновей своих его будущее, чтоб не было у сыновей любопытства к своей судьбе и все силы свои они отдали лишь на исполнение Завета. Четвертому сыну, Иуде, он сказал:

— Иуда! Тебя восхвалят братья твои. Твоя рука на хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи, сын мой, поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов...

Шестому сыну своему, Дану, он сказал:

Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля; Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад...

От полноты силы и похоти льва родился Мессия-Христос, от Аспида, змеи, заменявшей древним палачам и самоубийцам орудие смерти, родился

* Роман публикуется с незначительными сокращениями. Все цитаты даны в авторском изложении, которое не всегда совпадает с текстом оригинала.

Антимессия-Антихрист. И в великий день Благословения и Проклятия, когда Моисей из колена Левия учил народ любить Бога и страшиться злословия, они стояли порознь. Колено Иудино на горе Благословения Гаризим, колено Даново на горе Проклятия Гевал.

Далеко тогда ушло уж время от седьмого дня Творения, святого дня Рождества искусства. Уж мука мысли, самая страшная земная пытка, которой впоследствии подвергся Шекспир, гений, тесно прижавшийся к земле и отринутый Небесами, ибо тот, кто так силен в помыслах человеческих, всегда слаб в помыслах Божьих, уж мука мысли пытала человека, мука, за которую он был изгнан из Эдема и проклят на вечный труд. Уж и искусство, святой Подарок Господа, научился человек обращать против Того, Кто Подарил. И первое проклятие, которое было произнесено на горе Гевал по Заповеди Моисея было:

— Проклят, кто сделает изваяние или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте!

Но человек, терзаемый желаниями и стыдом, порожденными от Древа Познания Добра и Зла, продолжал не знать пределов своих и не имел страха. Он создавал кумиров уже не тайно, а открыто, возносил к небесам таких же, как он, грешных и себе подобных. Тщетно подобно гласу в пустыне взывал великий пророк-страдалец Иеремия:

— Язык их выстроган художником, и сами они оправлены в золото, но ложны и не могут говорить. И ничем иным они не делаются, как тем, чем желали их сделать художники. Видя толпу, спереди и сзади их поклоняющуюся перед ними, скажите в уме: Тебе должно поклоняться, Владыко...

Однако с Иеремией за пророчество поступили по традиции — его били и посадили в подвал Ионафана писца, превращенный в народную темницу. Когда же страдания Иеремии стали таковы, что он мог умереть, царь проявил к нему милость и перевел его в свою царскую темницу, во двор стражи, где ему давали хлеба.

«Царь дал приказание Авдемелеху Ефиоплянину, сказав: возьми с собою отсюда тридцать человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер. Авдемелех взял старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемелех Иеремии: подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы; и оставался Иеремия во дворе стражи».

Так страдал великий еврейский пророк, предсказавший Антихриста из среды братьев своих из колена Данова и создавший легендарное учение о непротивлении нечестивцу злом и насилием, которое через семь веков было заимствовано у него и стало всемирно известным. Ибо всякий пророк проповедует против царя и против народа и ими преследуется и казнится. Потому Господь, который не мог всеобщим наказанием погубить многих грешных, дабы при том не погибли немногие праведные, ибо жизнь его Рукопись Божья, а даже земной творец, если только он не работает в стиле социалистического реализма, не может погубить злое, оставив доброе, а может лишь, подобно Гоголю, бросить всю рукопись в огонь, казнив ее целиком. Итак, Господь, который еще со времен Ноя отказался от всеобщей казни, создал против казней царских и казней народных четыре тяжкие Казни Господни. Вот они, как изложил их пророк изгнания Иезекииль.

Первая Казнь — меч, вторая — голод, третья — зверь, толкуемый, как похоть, четвертая — болезнь, моровая язва...

Иногда приходят эти казни вместе, иногда порознь, иногда усиливается одна, иногда другая... Но в тот год, когда свершилось предсказание мученика-пророка Иеремии и Дан из колена Данова, Аспид, созданный не для благословения, а для Суда и Проклятия, Антихрист явился на землю, особенно усилилась Вторая Казнь Господня — голод. Сбылось сказанное пророком Иезекиилем.

— И пошлю лютые стрелы голода, которые будут губить, пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и сокрушу хлебную опору у вас...

Тогда пришел на землю Дан из колена Данова, Антихрист... Было это в 1933 году, осенью, неподалеку от города Димитрова Харьковской области... Там было начало Первой Притчи. Ибо когда приходят Казни Господни, обычные людские судьбы слагаются в пророческие притчи.

ПРИТЧА О ПОТЕРЯННОМ БРАТЕ

— Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены, — так говорил пророк Иеремия в пасмурный, как ныне, день, глядевший на пустые поля земли обетованной, которые в осенние сумерки были необжиты и страшны, как и темное грозное небо над ними. — Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, — на небеса, и нет на них света.

И действительно, из окна бывшего кабака, ныне народной чайной колхоза «Красный пахарь», видна была та же самая земля и то самое небо, которые терзали сердце еврейского пророка, проникнутое состраданием, сердце пессимиста-человеколюбца, печальника-псалмопевца.

Надо попутно заметить, что если более чем две тысячи лет нынешней цивилизации почти не изменили характер оптимиста, не убавив у него ветреных, легких восторгов и не прибавив ума, то пессимист изменился полностью... Утратив лиричность, он приобрел философскую остроту и надменное презрение к жизни... Впрочем, из всех, собравшихся в тот вечер в народной чайной колхоза «Красный пахарь», обо всем этом имел понятие только один человек, да и тот подросток, почти что мальчик, причем явно не из местных, так что на него остальные посетители первое время довольно часто поглядывали. Мальчик этот сидел в стороне от общества, в самом неудобном месте, за столиком у окна. Одет он был по-городскому и вида явно еврейского, но так как в этот год коллективизации и неурожая из города приезжало множество уполномоченных и среди них немало евреев, то мальчик-подросток вскоре примелькался посетителям и о нем забыли. К тому ж от окна, частично заколоченного фанерой, сильно дуло и столиком у окна никто из опытных посетителей не пользовался.

Посетители чайной были в тот вечер из самой зажиточной по нынешним временам части местного населения — трактористы-ударники, собравшиеся после районного слета. По случаю слета в буфет привезли селедку и булочки, а в чайную семечки и монпансье-леденцы. И потому с раннего еще утра ударникам-трактористам начали досаждать нищие. Да еще полбеды, если только из своего села Шагаро-Петровского. Шли отовсюду — из Ком-Кузнецовского, и из поселка Липки, и с хуторов...

— Господи! Иисусе Христе... Сыне Божий...

Этот припев, исполняемый то звонким детским голосом, то старческим заплетающимся шепотком, испокон веков сопровождал традиционный русский неурожай и голод. И во времена Бориса Годунова, и во времена более поздние, описанные Львом Толстым и Короленко, отцы и матери и все работящее население в разорении и голоде становилось нахлебником детей своих и стариков, живя Христовым именем. Когда-то Короленко назвал нищенство на Руси грандиозной народной силой. Однако ныне к неурожаю и голоду прибавились страхи и волнение, и эта сила, последняя сила в беде, начала изнемогать. Церковь за грехи ее стала прахом, а о народе без пастыря давно еще с тоской сердечной сказал Иеремия:

— Неразумные они дети, и нет в них смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют.

И ранее не все подавали с охотой, не по доброму сердцу, а из страха перед грехом. Ныне же все грехи небесные были отменены новой властью, а в церквах, где еще недавно священники равнодушными устами превращали живые истины в мертвые побрякушки, в церквах ныне пахло сырым погребом, спиртной запах стоял от преющей соломы и дурно хранящейся картошки. Иисус Христос из колена Иудина был повсюду отменен и заменен, снят со стен в местах общественных, соскоблен и заклеен. Но нищенствовали по-прежнему Христовым именем хотя бы потому, что ничего другого для нищих придумано не было, ибо нищий, испокон веков стоящий на самой низкой ступени общества, для пропитания своего может

пользоваться лишь самым высоким, чтобы воздействовать на черствость братьев своих. Но кто мог додуматься нищенствовать именем Совета Народных Комиссаров и при этом не сойти за провокатора, караемого ГПУ? Поэтому Христово имя для нищенства было сохранено как анахронизм, подобно некоторым маркам дореволюционных папирос.

Итак, к вечеру, когда в народной чайной раздался обычный припев: «Господи! Иисусе Христе... Сыне Божий», — мало кто поднял голову от беседы, или от питья морковного чая с леденцами монпансье, или от настоящего застолья, что шумело у стола бригадира. Там стоял штоф разбавленного спирта и лежало на тарелках рядом с селедкой настоящее розовое сало...

Незадолго перед этим подали двум мальчикам-братьям, которые пели и плясали «цыганочку», потом старику, потом женщине с грудным младенцем... Нищета назойлива, у нищеты нет ни такта, ни совести, ее желание побольше урвать для себя, опередив своего же брата нищего...

Вошедшая в чайную девочка явно не желала знать о том, что люди устали за день, что они ели и пили свое, добытое тяжелым трудом, а также счастливым везением и привилегией, что нищие надоели им, как слепни, сосущие кровь рабочей лошади.

Вообще в нищенстве детей есть нечто наглое и требовательное в отличие от нищенства взрослых и особенно стариков. Во-первых, ребенок-нищий редко плачет, стараясь разжалобить, а если плачет, то явно фальшиво, видно, что его научили плакать, а не он сам. Во-вторых, благодарит он за подаяние без удовольствия, а часто и вовсе не благодарит, берет как должное, словно все вокруг должны ему и словно все вокруг ему родные отец и мать. К тому же в народной чайной женщин не было, а мужчина в чайной подаст скорей, если нищий его не разжалобит, а, наоборот, развеселит, как щедро подали двум братьям, плясавшим «цыганочку». Но девочка, видно, нищенствовала недавно, она не веселила публику, просто шла меж столиков, заученно произнося Христово имя звонким голоском, как детскую считалку. Лицо у девочки было типично «бабье», спокойное, в серых глазах нечто меж глупостью и добротой, а в губах уже женское, припухлое, но понятное не ей, а более со стороны и лишь опытному глазу. Такие лица обычно бывают круглы и сыты и от малого, от кусочка хорошего хлеба и ломтика сала, но, видать, малого этого не было давно. Малое это щедро лежало на столе бригадира, но от того богатого стола ее прогнали, а у других столов, победнее, на нее никто и внимания не обратил, даже леденца не подал или горстки семечек. Тому, как известно, были причины — народ жил трудно, устал от нищих и не боялся греха. Девочка, обойдя все столики, направилась было к последнему, самому дальнему, где сидел городской мальчик еврейского облика. Но вдруг остановилась в нерешительности. Надо заметить, что все нищие, посещавшие чайную в этот вечер, не подходили к дальнему столику, наверное, опасаясь городского чужака. Девочка тоже сразу признала в нем чужака, но не потому она остановилась в нерешительности. Свои не подали, и она как раз решилась спросить у чужака в надежде, что тот подаст. Взгляд остановил ее, мгновение, словно вспышка огня межзвездного из темных глаз. Она, конечно, не знала, что это взгляд Аспида, Антихриста, предсказанного пророком.

Нет, не того Антихриста, о котором кликушествуют христианские живописцы и проповедуют философы, не Антихриста, врага Христа, и не того Антихриста, которым балуются мистики-модернисты, называющие Антихриста Творцом и ставящие его выше Бога, а Антихриста, который вместе с Братом своим делает Божье... Один послан для Проклятия и Суда, другой для Благословения и Любви... Один с горы Проклятия Гевал, другой с горы Благословения Гаризим... Лишь на мгновение, подобно блеску молнии, не сдержал своих чувств Дан из колена Данова, предсказанный Иеремией, но тягостно вдруг стало в народной чайной, затих говор, и все головы, даже и бригадира трактористов, человека влиятельного, втянуты были в плечи невольно и бессознательно, что случается, когда мимо проносится нечто тяжелое или острое, несущее смерть...

Причиной несдержанности чувств у Дана была тоска по дому своему, которая была свежа, как недавно вырытая могила. Ненастный вечер с дождем, столь нередкий осенью на Харьковщине, еще более усилил эту тоску, которая доходила до крайности при виде чужих, далеких сердцу его лиц, к тому ж веселивших друг друга и друг другу приятных, что подбавляло последние капли к жгучей тоске чужака... Весь вечер Дан, Антихрист, впечатлительный, как все еврейские дети, старался найти для глаз своих, умных и злых глаз Аспида, покойный предмет, чтоб если не развеселить душу, то хотя бы дать ей передохнуть. Но обращался ли он внутрь народной чайной, повсюду были темные головы отступников, и на унылых лицах не было ни тени лиризма, на наглых — ни тени величия, а на добрых — ни тени ума. Обращал ли он свой взор вне народной чайной, и за окном являлась та, российская, осенняя провинциальная безнадежность с мокрыми тополями у дороги, с собачьим лаем, с двумя-тремя мигающими вдали огоньками, что хоть закричи, хоть заплачь, ничего против нее не действует, кроме стакана бурякового самогона. Но славянский рецепт был непригоден сыну Иакова, в забвении видевшему подобие смерти. Смерть же, столь возвеличенная во многих восточных религиях и философских системах, была ненавистна народу его, смерть ли физическая, смерть ли в буддийском созерцании. «Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Так сказано в псалме номер шесть. Смерть лишает человека возможности исполнять долг свой — сознательно любить Господа. В буддистской же нирване он любит не Господа, он любит себя... Всякому посланцу Неба, идущему земным путем, не избежать человеческого. Дан помнил это наставление, оно было записано на повязках его рядом с изречениями из Закона Моисеева, повязках, прикрепленных к запястьям. Но здесь, на Харьковщине, в первые часы свои все человеческое было еще чуждо Дану, и потому он обратил взор свой внутрь себя и увидел город свой, освещенный солнцем месяца Авив.

Овечьи ворота, и Рыбные ворота, и ворота Источника у водоема Селах против Царского сада у ступеней... И Печную башню... И Оружейную на углу близ гробницы Давидовой... И выкопанный пруд у дома Елиашива, первосвященника. И верхний дом царский возле двора темничного, где страдал великий провидец Иеремия. И стену Офел. И Конские ворота против дома торговцев. И Водяные ворота на площади Торговцев, где с деревянного возвышения великий книжник Ездра от рассвета до полудня читал народу, павшему духом в Вавилонском угнетении, Книгу Закона Моисея, и уши народа были преклонены к Книге. Ездра из колена Левия читал, а священники поясняли. Дан знал, что Ездра пережил самое счастливое, что может пережить пророк — редкую покорность народа добру. «И открыл Ездра Книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал».

Дан помнил, что, приобщаясь к великому, слушая слова Закона, весь народ стоя плакал от счастья. Тот самый народ, который несколькими веками ранее сжег проповеди Иеремии, а несколькими веками позже отверг царя своего Иисуса из колена Иудина. Дан знал, что Брат его Иисус мечтал об успехе, выпавшем на долю Ездры. Брат мечтал подняться с рассветом на деревянное возвышение среди площади Торговцев у Водяных ворот и увидеть в глазах народа радостные слезы раскаяния. Ибо он любил народ свой так же страстно, как великий книжник Ездра, свой народ с медными лбами упрямства и железными жилами в шее, жилами непокорности Господу. Он любил свой народ так, что порой даже терял благородство в словах. Это ведь Он, Иисус, Брат Дана сказал, что живет ради своих злых детей, а не ради чужих добрых псов. Но эту его мысль, которую весьма бегло и неполно, но по сути ясно изложил евангелист Матфей, христианские проповедники, начиная с Савла из колена Вениаминова, впоследствии апостола Павла, первого выкреста на земле, христианские проповедники как-то ухитрились не заметить... Брат его жил и боролся ради своего народа и умер от рук тех, кто сотрудничал с римскими оккупантами, кого по нынешним временам именуют коллаборационистами. Так же, как свои угнетенные братья не поняли его любви к ним, так же и чужие угнетатели не поняли его ненависти к ним. В истории с римлянином Пилатом, пытавшимся выручить Иисуса, повторяется история с Навузарданом, начальником телохранителей царя Вавилонского, выру-

чившим Иеремию из темницы, куда он был посажен своими братьями как пораженец. Ибо и Иеремия, и Иисус указывали на путь непротивления злу, который кажется идеалистическим только тем, кто не понимает основы еврейской мысли — крайняя практичность в бытии при предельной метафизичности в Небесном. Путь непротивления злу перед лицом сильного нечестивца возможен, однако, при одной важной оговорке, указанной у Иеремии. В принципе она звучит так: пусть нечестивец берет все, но и ты должен взять у нечестивца в качестве добычи своей душу свою... Главное, перед лицом нечестивца сохранить как добычу душу свою, ибо нечестивец душу свою рано или поздно потеряет, а любовью твоей, которой ты полюбишь его взамен за зло его, воспользоваться не сумеет. Ты же сам ею и воспользуешься. Вот она, предельная еврейская практичность мысли о непротивлении злу насилием... Но перед лицом современного нечестивца, созданного движением цивилизации, все менее возможна оговорка пророка Иеремии, оговорка, которую знал и на которую рассчитывал Брат Дана Иисус из колена Иудина, Брат с горы Благословения Гаризим...

Ох, как далеко в мыслях своих и видениях своих ушел Дан от осеннего дождливого вечера у села Шагаро-Петровское Димитровского района Харьковской области к тому моменту, когда девочка-нищенка направилась было к нему в надежде, что он ей подаст милостыню. В первые секунды, когда он обратил к ней еще не остывший от Нездешнего взор, она сильно испугалась, так испугалась, что и хотела бы закричать, да сил нет. Когда же силы начали к нищенке возвращаться, Дан уже протягивал ей кусок хлеба, который достал из своей пастушьей сумки грубой, необработанной кожи. Хлеб этот был нечистый хлеб изгнания, завещанный Господом через пророка изгнания Иезекииля. Испечен он был из смеси пшеницы и ячменя, бобов и чечевицы. За грехи завещал Господь печь этот нечистый хлеб изгнания на человеческом кале, но пророк Иезекииль выпросил у Господа право печь его на коровьем помете...

И тот, кто подавал, и милостыня его пугали девочку, но она была голодна и взяла кусок нечистого чужого хлеба. Гул прошел по народной чайной. Общество было уязвлено. Что-то старое, полузабытое всколыхнулось сперва в наиболее добрых лицах, затем перешло к лицам унылым, а затем своеобразно, в виде негодования, коснулось и лиц наглых. Они, местные люди, своя кровь, отказали девочке-нищенке, в то время как чужак, городской еврей, подал ей. Сперва сидевший ближе всех над морковным чаем худой мужик, еще не старый, но уже без передних зубов, так что хлебные корки ему приходилось мочить в кипятке, а уж потом не жевать, а сосать, что было, кстати, и экономней, — сперва этот беззубый протянул девочке такую размокшую корку, потом другой поодаль дал ей два леденца монпансье, кто-то сыпанул горсть семечек, и наконец от самого богатого стола, где сидел бригадир трактористов, девочку поманил сам «ваше благородие».

— Иди, дура, — шепнул ей беззубый мужик, — не робей... Петро Семенович теперь добрый. Ты сальца проси...

И точно, едва подошла девочка к столу, как бригадир Петро Семенович торжественно и на глазах всей публики, как вручают награду ударнику — отрез полотна в два метра или сапоги, — вручил ей кусочек сала на газетной бумажке...

— Вот так, — сказал Петро Семенович, — а ты к чужим обращаешься за помощью... Чужой, он, может, еще и из враждебного лагеря, кулак или подкулачник... Это еще треба уразуметь...

Петро Семенович был в данный момент человек выпивший, и его тянуло на разные политические высказывания. Девочка же, не смея возражать и будучи испугана второй раз за короткое время, правда, по другому поводу, молча взяла сало и начала его заворачивать в газету.

— А что ж ты не ешь, дитятко? — сказал Петро Семенович, на которого вдруг нашло новое, и он прослезился. — Кому ж ты бережешь, такая малая? Разве ж есть у тебя дети?

— Меня на крылечке брат Вася дожидается, — робко сказала девочка.

— Брат Вася, — сказал Петро Семенович, — то добре. А тебя ж как звать?

— Мария, — сказала девочка.

— А отчего ж это, Мария, брат твой Вася тебя просить посылает, а сам на крылечке прохлаждается?

— Он малый еще... Боится...

— Отчего ж бояться, — обиделся Петро Семенович, — здесь не звери... Свой народ... Село... Другое дело — посторонние люди... Их следует бояться, ежели они без мандата... Ты, видать, местная, что тебя в такой поздний час отец просить пускает...

— Отец прошлый год помер, — сказала Мария.

— А как звали отца? — спросил Петро Семенович.

— Не знаю, — сказала Мария.

— Это как же понять, — удивился Петро Семенович, — а мать твою как звать?

— Не знаю, — сказала Мария, — мать и мать.

— Э-э, — сказал Петро Семенович и по-хохлацки вытер большим указательным пальцем концы губ своих, — да тебя, дите, кто-то дурному научил...

— Брось, Петро, — сказал чернявый, сидевший от бригадира по праву руку, — хай ее идет.

— Нет, подожди, Степан, — сказал Петро Семенович, — тут что-то нечисто... А фамилие твое как?

— Не знаю, — сказала девочка, уже едва не плача.

— Тикай, — шепнул ей беззубый мужик, шепнул едва слышно.

Но Петро Семенович, который разом возбудился и попал в свою колею, уловил и засек шептуна.

— Я тебе пошепчу, — сказал он, прихватив девочку за руку, — в сибирские переселенцы захотел? Я знаю, что по хуторам скрываются многие семьи кулаков и подкулачников, чтоб не переселяться в Сибирь... Ты ж с хутора, — сказал он, приблизив к Марии свое страшное лицо с сабельным шрамом от гражданской войны.

— С хутора, — едва живая от испуга отвечала Мария, — с хутора Луговой.

— Вот сейчас ты дело говоришь, — сказал Петро Семенович, несколько успокаиваясь, — продолжай показания свои по порядку.

— Дяденька, — сказала Мария, — фамилию свою я не знаю, не знаю, как звать отца и мать, потому что с нами родители никогда не занимались, да и было им не до нас, так как они всегда заняты колхозной работой, а теперь, как отец помер, и вовсе мать то в доме, то в огороде, прибирать надо, пахать, сеять и прочей работой заниматься, а нас ничему не обучила. Есть у меня большие брат Николай и сестра Шура, и маленький брат Вася, и Жорик, тот еще в люльке.

— Молодец, — сказал Петро Семенович, — вот теперь ты не придуриваешься. А только как же вас кличут? Вот меня, например, сыном Семена в детстве все соседи звали... Вот, сын Семена пошел... А вас как?

— А мы гражданкины дети, — сказала Мария.

— Это как же понять «гражданкины»? Это в Димитрове или в Харькове «граждане». А здесь крестьянство... Что ж вас «гражданкины дети» кличут? Мать у тебя, выходит, городская?

— Нет, — опустив голову, сказала Мария.

— Врешь, — сердито сказал Петро Семенович, — врешь, в глаза не смотришь. — Речь его вдруг почти утратила украинский акцент и украинские словечки, стала сухой, русской, протокольной. — Почему ж вас «гражданкины дети» называют, если вы не из города?

— Ну называют и называют, — снова пытался вставить слово чернявый, сидевший от бригадира по правую руку. — Что ты, Петро, не знаешь деревенских кличек?

— А ты помолчи, заступник... В адвокаты, что ли, записался? Так ты не жид, чтоб тебя в адвокаты приняли... Ну, продолжай, — обратился он к Марии.

— Говори, девочка, не бойся, — сказал ей чернявый.

— Прошлый год помер наш отец, год был голодный.

— Это я уже слышал, — сказал Петро Семенович, — дальше...

— Нас с матерью осталось пять душ детей, один одного меньше, — сказала Мария. — После отца у нас завалилась хата, и нам управление кол-

хоза дали другую хату, возле тамбы... И наша мать оставалась в этой хате, так как у нас почти все пухлые и большая часть наших детей лежат больные... Менять у нас не осталось ни единой тряпочки, что на нас, что под нами и только, кроме лохмотьев, ничего...

Мария замолчала. Молчал и Петро Семенович. Молчали все. Эта девочка-нищенка рассказывала о том, что все знали и что многие сами перенесли, но почему-то произнесенное сейчас вслух детским голосом, да еще по принуждению, оно прозвучало словно молитва-жалоба о тяготах и горестях своих. И, может, оттого, что давно уже не молились, у многих на глазах показались слезы, а Петро Семенович сидел с побелевшим от тоски и гнева лицом, лишь сабельный шрам его налился кровью.

— Вот что они с нами, буржуазные пиявки, делают, — сказал он тяжело, сквозь зубы, — капиталистическое окружение... Ничего, выдюжим... Не позволим позлорадствовать... В гроб вгоним. — Вдруг он рывком поднял голову. — А где ж тот, который у окна сидел, который хлеб подал? Ну-ка, предъяви подачку свою, — сказал он Марии и протянул к ней огромную ладонь, из которой торчали железные пальцы-прутья, способные в секунду сжать горло до смерти.

И в эту намозоленную орудиями труда и оружием ладонь лег кусок нечистого темно-коричневого хлеба изгнания, изготовленного по рецепту пророка Иезекииля.

— Так и знал, — сказал Петро Семенович, — не наш хлеб, заграничный хлеб... Эх, не проявили бдительности...

И верно, место у окна было пусто. Никто не видел, как ушел чужак.

— Надо бы в сельсовет, — крикнул Петро Семенович. — Степан, — обратился он к чернявому, — мотай в сельсовет, звони Максиму Ивановичу, уполномоченному ГПУ... А мы пока здесь пошукаем... Ну-ка, пять человек айда со мной... Ты, ты, ты, ты, ты... — И он на ходу совал пальцем в лица посетителей народной чайной, отбирая из них подходящих для поиска и преследования.

Так же на ходу вытащил он из тужурки видавший виды наган с облупившейся краской и много раз чиненный собственными руками умельца-самоучки. Редкой цепью по грязи и лужам побежала группа преследования вдоль сельской улицы — вдоль темных хат и собачьего лая.

Между тем дождь прекратился, дожидаясь, видать, рассвета, чтоб уж зарядить на целый день, когда голодные жители выйдут из своих хат по делам личным и общественным. Явилась луна, украинский месяц, который здесь, на Харьковщине, где была сильная примесь России, может быть, и не был так маслянист, как полтавский, но все ж отличался от рязанского меньшей строгостью и большей лучистостью и игрой. В свете этого месяца и выбежали на тамбу, как называли здесь почему-то большую дорогу в город Димитров.

— Видать, в заказ побежал, — сказал беззубый мужик, также попавший в преследователи, — в заказе не споймаешь, ночь...

А заказом на местном наречии именовался лес, темневший вдали за полем.

— Ты чего, Охрименко, народ дезорганизуешь? — по-революционному, как в восемнадцатом году, заиграл желваками Петро Семенович. — Да я контру не то что из заказа, из-под собственной шкуры своей, если она туда спрячется, ногтями выцарапаю. Многих я уже так преследовал и от многих социалистическую землю очистил...

И верно, многих преследовал на своем веку Петро Семенович, нынешний бригадир. Интеллигентов-деникинцев, кстати, жестоко замучивших в плену лучшего и единственного друга, пулеметчика и тезку — Петра Лушню, и мужиков-петлюровцев, оставивших на лице Петро Семеновича сабельную отметину до самой смерти. Помнит он, как неподалеку от села Ком-Кузнецовское, или попросту Кузнецовки, перехватил он на тамбе петлюровскую подводу, груженную награбленным господским барахлом из города Димитрова. Петлюровцев тут же, невзирая ни на какие мольбы, шашкой порубал, — Петро Семенович любил шашкой рубить, из нагана он стрелял реже, а из карабина и вовсе редко, больше любил в рукопашную, — итак, петлюровцев шашкой, а потом и до господского барахла очередь дошла. Пух из перин выпустил, бархатные платья с кружевами, платки, простыни, какие-то кацавейки тоже в куски, а серебряные рюмки и подсвечники в речку выбросил, поскольку бессребреник... Был случай, кое-кто из его отряда пытался господское барахло присвоить, так он его мигом к стенке. Тоже плакал, тоже умолял, вошь кобылья. Но зачем такому на свете жить? Если уж вор, не умеешь жить честно, воруй свое, полушубок укради или коня. А на что мужику господская перина или бархатное платье с кружевом? От него дух неприятный в хате — не мочеными яблоками и коровьим дерьмом пахнет, а сладкими конфетками воняет. Вот такой человек был Петро Семенович, бригадир. Воевал крепко, но соблюдал принцип — руки хоть и в крови, но чистые... И в прошлом году, когда Митька-кулак, сын мельника, поджег колхозную конюшню, преследовал его Петро Семенович вместе с уполномоченным ГПУ Максимом Ивановичем и настиг в заказе, схватил за горло, а когда Максим Иванович подбежал со своим обычным «руки вверх», сдаваться уже некому было... Составили акт, заверили в сельсовете, направили в Димитров, а удавленного Митьку выдали старику-мельнику для похорон. Многих преследовал и многих настиг Петро Семенович, но никогда еще не бежал он по следам Антихриста, как бежал он сейчас под своей харьковской луной, более постной, чем полтавская, но более игривой, чем рязанская.

А играть, надо признаться, было чем, поскольку село Шагаро-Петровское красивое даже и в осеннюю пору... И хутор Луговой, где жила Мария, девочка-нищенка, совсем рядом. Хата их новая, которую выдало им колхозное управление вместо старой, завалившейся, стояла на отшибе, а против хаты был цветник, где летом собирали ягоды, землянику и грибы. В цветник этот можно было лазить лишь тайком и с большой опасностью, поскольку принадлежал он санаторию. Санаторий этот стоял на бугре, и мать рассказывала, что в санатории этом раньше жила старая барыня, которая после революции сильно озлилась и все норовила какого-либо мужика или мужичку палкой ударить, а дочь ее, добрая плаксивая барышня, постоянно мать удерживала. Но однажды дочь зазевалась, и старуха-помещица выбежала за ворота с палкой и ударила этой палкой мужика Володьку Сенчука, проходившего мимо из кабака, а тот, поскольку был пьян, развернулся да как врежет в ответ, тут из старухи и дух вон... Потом барышня куда-то уехала, а в доме организовали санаторий для рабочих из Димитрова. При санатории был большой яблоневый сад, куда Мария часто лазила, пока были яблоки, и кормилась этими яблоками, и домой носила. Тут же была церковь — ныне колхозный склад, рядом колхозный клуб и водяная мельница шумела, а река под бугром текла в другое село — Ком-Кузнецовское. По другую сторону тамбы был заказ, а за заказом село Поповка. Мария помнит, что очень давно, когда она была совсем маленькая, меньше брата Васи, а брат Вася еще лежал в люльке, как Жорик, а Жорика вовсе не было, мать и отец, одетые по-праздничному, веселые, взяли ее с собой в Поповку к дедушке и бабушке. Шли пешком сперва полем, потом через заказ. Пришли в какой-то большой двор, и из сарая вдруг выскочил поросенок. Мария испугалась и закричала, а мать взяла ее на руки и успокоила. У бабушки на тарелке лежали красные яички, потому что была Пасха. Бабушка сказала:

— Деточка, скажи «Христос воскрес», и я дам тебе яичко.

Но Мария испугалась и ничего не сказала, а бабушка все равно дала ей яичко. Это было давно. Больше Мария никогда не была у бабушки и не знает, то ли они с дедушкой померли, то ли уехали. С тех пор и отец помер, и голодно стало, и в голодное это время брат Вася подрос. Сначала был он веселый, ласковый. Мария только с ним время и проводила, потому что у сестры Шуры, брата Николая и матери были свои дела. Но потом у Васи стал увеличиваться живот, а ножки сделались очень тоненькие, и он больше сидел, чем ходил. Переступит раз-другой на печке и садится. И стал он угрюмым, злым. Щипаться у него сил не было, так он кусался. Но не всегда — когда поест что-либо, опять ласковый становится. Мария не хотела брать его с собой просить, но сестра Шура сказала:

— Бери, у него вид болезненный, больше подадут.

Мария не стала спорить с Шурой, та за споры и побить может, но когда пришла к чайной, Васю на крыльце оставила, в уголочке на лавочку посадила, с себя платок сняла и ему лицо укутала. Подали на сей раз хорошо, хоть и испугали два раза — тот городской и бригадир. К тому

же бригадир отнял хлеб, поданный городским. Однако и без того набралось — и корок хлебных, и семечек, и леденцов несколько, и главное — кусочек сала. Вышла Мария на крыльцо, а брат Вася так же, как оставила она его, сидит, словно спит, но не спит, а смотрит, глаза открыты.

— Пойдем, Вася, — сказала Мария, — поздно уже, ночь.

— Не хочу, — говорит Вася, — далеко идти, лучше здесь до утра посидим, притулись до меня, Мария, теплей будет.

— Глупый ты, — говорит Мария, — да тебя отсюда прогонят. А в хату придем, поедим, что я выпросила, может, и мать что даст или сестра Шура.

— Что ты выпросила? — спрашивает. — Дай мне хлеба, а то не дойду.

— Да я, Вася, кое-что и послаще выпросила, — с гордостью говорит Мария и показывает сало.

Вася хвать сало и целиком в рот запихал, весь кусок.

— Как же ты, Вася, так? — говорит Мария, а потом подумала и не стала жалеть. Пусть, думает, ест, он из нас самый замученный.

Поел Вася сала, встал и говорит:

— Пойдем домой до хаты.

Пошли они темной улицей, потом полем, потом через тамбу перешли и пошли мимо заказа. А заказ шумит мокрыми ветвями, какие-то птицы ночные пугают. Но ни Мария, ни Вася не боялись ночи. Волков тут давно уже под корень истребили, а из людей кто польстится на нищих детей? Разве что из озорства, но в голодное время и лихой народ озоровать перестал, потерял разбойничий идеализм и стал слишком практичен — продкомиссара подшибить или склад зерна ограбить. Впрочем, какой-либо интеллигент-разночинец, мучимый желанием понять идею всемирного страдания и причины, по которым оно было допущено Богом, какой-нибудь поклонник Мессии Достоевского, мог бы зарезать нищих детей из соображений доктринерских. Но в результате революции таковые либо сильно повымерли, либо сильно по форме преобразились, да и в лучшие свои времена водились они в местах более кликушеских, где икон побольше, а на скучную Харьковщину не забредали. Так что благодаря всем этим обстоятельствам Мария и Вася благополучно дошли до своего хутора, и вот уже шум плотины у водяной мельницы слышен, а вот и забор санатория. Постучали они в хату, отперла сестра Шура и говорит:

— Пришли... Мать уж беспокоится, а я говорю — придут...

Мать обняла, поцеловала Марию и Васю и спрашивает:

— Выпросили вы что-либо, дети?

— Выпросили, — отвечает Мария.

— Тогда садитесь в уголочек, поужинайте вместе и спать ложитесь, а то у меня с Колей и Шурой разговор.

— Я, мама, сало выпросила, — говорит Мария, — но его Вася съел сам, весь кусок.

— Ничего, — говорит мать, — Вася слабый, ему надо. Ужинайте, а мы с Колей и Шурой уже сыты...

Поели Мария и Вася людскую милостыню, погоревали, что отнял у них бригадир кусок хлеба, который подал им городской чужак, и полезли на печь, прижались друг к дружке, заснули. А мать со старшими своими детьми, Шурой и Колей, продолжала разговор.

— Нет у нас, — говорит мать, — ни коровы, ни одежды, ни хлеба. За лето заработала я в колхозе десять килограммов ржи, да и с картошкой плохо. Ничего нам не остается, кроме двух исходов, — либо мы помрем, либо останемся в живых, но не полноценные... Кормить вас, дети, мне нечем, и я решила вас разделить. Меньших свести со двора, а ты, Коля, и ты, Шура, пойдете на колхозное поле, сможете себя прокормить.

— Это верно, — сказала Шура, — если оставить на нашей шее Марию, Васю и Жорика, то нам не справиться. Может, их разберут люди или в приют возьмут, и они останутся в живых.

— А если помрут, — сказала мать, — то пусть хоть не на глазах моих. Тяжело мне видеть, как они на моих глазах помирать будут.

И приняли они решение — свести малых детей со двора.

Еще не рассвело, как разбудила мать Марию и Васю, а Жорик к тому времени уже был вынут из люльки и завернут в красное теплое одеяльце. Вася, тот, конечно, вставать не хотел.

— Холодно, — говорит, — еще на дворе, еще солнце не поднялось.

Мать отвечает:

— Пойдемте, дети, в город Димитров на ярмарку, может, что наменяю или куплю, будет вам подарок. Может, веточку куплю, на которой привязаны сушеные сливы, орехи да леденцы. Помните веточки, какие вам давали на поминках отца?

Мария не только встала послушно, но и в помощь матери говорить начала, чтоб Васю поднять.

— Помнишь, Вася, какие были сушеные сливы? Только спешить надо, потому что город далеко и, если запоздаем, другие крестьяне придут и разберут.

Вышли еще при сером пустом небе. Опять привычно миновали забор санатория, церковь, мельницу, а как спустились с бугра в поле, небо осветилось и над заказом всплыло нетеплое утреннее солнце.

Мария и Вася шли, взявшись за руки, а маленького Жорика, закутанного в красное одеяльце, мать несла на руках, и было ему лучше всех. Пока шли полем, Вася несколько раз порывался присесть передохнуть, ибо ножки у него были тоненькие, плохо держали тело, но мать и сестра его то стыдили, то уговаривали, а как вышли на тамбу — Вася приободрился, ровней пошел, не переваливаясь. Солнце меж тем уже отошло от заказа, осветило все небо, стало тепло, огромная стая перелетных птиц опустилась неподалеку в надежде найти и поживиться бесхозяйственно брошенными колосьями, и какое-то насекомое, блестя крыльями, выпорхнуло из-под самых ног, понеслось и исчезло в придорожной канаве. И стало ясно, что осень не такая уж и поздняя, что в прежние удачные годы в это время в речке купались и дачники из города Димитрова жили на дачах и варили варенье из деревенских ягод, которые носили им и мать, и сестра Шура, и другие женщины. Даже Мария помнит, как пошла с матерью за ягодами и продала их дачникам, как в саду санатория играл оркестр и какой-то дачник с бородкой смеялся и что-то говорил матери, и мать тоже смеялась и отмахивалась от него, а дачник с бородкой вдруг поймал ее руку, и когда мать вырвала руку и пошла с Марией домой, то всю дорогу улыбалась. Мать была тогда бела лицом и носила на черных волосах цветастый платочек, который прошлой зимой выменяла на пшено.

Потеплевшее солнце, и похорошевший день, и ветряк, который неподалеку лениво вертел деревянными крыльями, и колхозные подводы с мешками зерна, которые согласно государственному продналогу сворачивали с тамбы к ветряку, — все это, видно, и мать одурманило и пробудило приятное. Она вздохнула как-то от души и задумалась без грусти. А Вася, который давно уже ходил с трудом, тут взбрыкнул подобно жеребцу на раннем выпасе и радостно побежал к канаве, чтоб поймать пролетевшее красивое насекомое и задавить его. Дышалось легко, и усталость исчезла. Тут и первые дома показались каменные, не сельские.

— Вот мы, Васечка, и пришли, — весело сказала Мария, — вовремя на ярмарку поспели.

— Нет, дети, — словно пробудившись от дурмана, сказала мать, — это еще не город Димитров, а поселок Липки. Возьмитесь за руки, поскольку здесь народу уйма, затеряетесь.

В поселке было тесно от людей и подвод, и сразу стало очень голодно. На площади у большого каменного дома в безветрии провисало полотнище красного флага и сильно пахло пшенной кашей со смальцем. Вася захныкал, что хочет каши и хлеба, а Мария сказала:

— Мама, и ты, Вася, не горюйте. Я сейчас пойду к тому дому, начну просить, и мне подадут.

Но мать сказала:

— Некогда нам, дети. До Димитрова далеко, мы на ярмарку не поспеем. Лучше выйдем за поселок, тут колодец есть с такой чистой водой, что попьете и наедитесь.

И, верно, как попили, есть стало меньше хотеться, пошли дальше. От

Липок к Димитрову тамба еще шире стала и народу стало попадаться больше — кто на подводах, кто пешком. И вдруг Мария узнала в одном из прохожих того чужака, что в народной чайной подал ей хлеба. На нем было потертое пальто с короткими узкими рукавами, так что костлявые кисти рук его далеко из рукавов торчали, на голове шапочка пирожком из старого же потертого котика, штиблеты были ничем не примечательные, бросалась лишь в глаза их прочность и непривычная в те годы толщина подметки, словно специально сделанной для долгого и частого пути. Пальто, кстати, было с бархатным воротничком, который в начале века носили одни лишь аристократические франты, а позднее начали носить многие интеллигенты, даже и с малым заработком. В общем, одет был чужак, как поживший на свете человек, а между тем был он подросток, почти что мальчик. Как ни бежал быстро Петро Семенович, бригадир, какой ни имел он опыт по преследованию и уничтожению врага социалистического государства, этого чужака ему было не догнать. Более того, к величайшему страданию своему и величайшей злобе, он даже и следов не обнаружил. Ибо Господь отдает в произвол нечестивцу многих за грехи их и отдал в произвол даже Заступника за чужие грехи, Заступника, посланного для благословения, но он никогда не отдает в произвол нечестивцу Аспида, Антихриста, посланного для проклятия. Ибо Антихрист есть судья нечестивцу, как и судья всему сущему. Однако тяжело это ярмо для того, кто послан Небом, но идет земным путем. Не в его власти спасти и помочь, но в его власти осудить и погубить. И, идя по дороге из поселка Липки в город Димитров ранним осенним солнечным утром, Дан из колена Данова, Антихрист, говорил с Господом через пророка Иеремию, от духа которого он был рожден и который был ему духовным отцом. И сказал Господь:

Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя.

О Господи, Боже, — ответил Дан, — я не умею говорить, ибо я еще молод.

Но Господь сказал:

— Не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя.

И здесь, на многолюдном тракте, именуемом по местному наречию «тамба», Дан почувствовал, как Нечто коснулось губ его, и он услышал:

— Вот, Я вложил слова Мои в уста твои... Подыми голову, посмотри на народ, что идет вокруг тебя в своих заботах... Они солгали на Господа и сказали: «Нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода».

И сказал Господь Дану через другого своего пророка, через Исайю, духом которого рожден брат Дана, Иисус из колена Иудина, Заступник:

Смотри, вот они беременны сеном, разродятся соломой... Возведи очи твои и посмотри вокруг... Забудет ли женщина грудное дитя, чтоб не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду...

Поднял Дан голову и увидел прямо перед собой Марию, которая, как и вчера в народной чайной, протягивала к нему руку, а несколько поодаль он увидел женщину с младенцем на руках, еще не старую, но униженную голодом и бедой, и маленького мальчика, сына ее, в котором были испуг и надежда. Вынул Дан опять из пастушьей сумки хлеб голода и изгнания из смеси пшеницы и ячменя, бобов и чечевицы, испеченный по завету пророка Иезекииля, и подал Марии большой кусок этого хлеба. И впервые нечто коснулось сердца Дана, и он обрадован был своим добром, но Господь предостерег его:

— Не радуйся своему добру, Дан, ибо не затем ты послан. Народ сей сокрушил с шеи своей ярмо деревянное, но сделал вместо того ярмо железное. Многое предстоит ему прежде, чем земля его опять станет замужней.

И замолчал Господь, а Дан повернулся спиной к тем, кому подал, пошел быстрым шагом и скоро скрылся с глаз.

Мария, обрадованная, сказала матери:

— Какой большой кусок хлеба, есть что поделить. Подели его, мама, на три части — тебе, Васе и мне, а Жорику тоже можно завернуть мякиш в платок, пусть пососет.

Вася же быстро протянул руку, чтобы, пока начнут делить, отщипнуть себе кусочек сверх нормы. Но мать перехватила его руку и сказала:

— Выбрось тот хлеб, Мария. Нечистый он, недобрый человек его подал. Не русский это хлеб.

— Как же выбросить хлеб, мама, — сказала Мария, — если мы голодные и ничего не ели сегодня, кроме воды из колодца?.. Позволь нам хоть с Васей съесть по кусочку.

— Нет, дети, — сказала мать, — лучше рогозы поесть, чем этот хлеб. Рогоза — трава съедобная, ее вдоволь растет на берегу речки за болотом. Как вернемся с ярмарки, пойду я с вами рогозу дергать.

И взяла мать у Марии хлеб, завещанный пророком Иезекиилем, и бросила его далеко прочь, в самую грязь размытого дождями колхозного поля, всполошив стаю птиц, которые, однако, тут же начали тот хлеб клевать.

Дан, Аспид, Антихрист, видел это, хоть и был уже далеко, и сказал через основателя пророчества, первого пророка Господня Фекойского пастуха Амоса:

— За то и дал Я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших... И удерживал от вас дождь за три месяца до жатвы...

И поскольку Дан, Антихрист, как все еврейские дети, был легко раним и злопамятен, то затаил зло на грешную женщину.

Уже далеко за полдень пришла мать с тремя своими детьми в город Димитров. Никогда не была до того Мария в городе Димитрове, только слышала о нем, и Вася никогда не был, а мать уж была здесь и все хорошо знала, потому шла, ни у кого дороги не спрашивая, и пришла, куда хотела. Остановилась она возле большого красивого дома с железным крыльцом, увитым диким виноградом. И рядом на улице, мощенной булыжником, было много таких же домов и росли деревья, побеленные до половины, как белят в селах хаты. По улице часто проезжали подводы, видно, вела она к ярмарке, и булыжник был щедро усеян соломой, утерянной с подвод. Собрала мать с булыжной дороги охапки этой соломы, постелила на лавочке возле дома и говорит:

— Сидите, дети, и ждите меня здесь. У вас ножки болят, и вы устали, а на ярмарке толчея, народу много. Я пойду куплю слив сушеных и леденцов и приду сюда опять.

Васю упрашивать не надо было, он быстро сел, а рядом с ним села Мария с Жориком на руках. И мать быстро ушла, не поцеловав даже детей, чтобы у них не появилось подозрения, будто она их бросает и с ними прощается. Сперва сидеть было приятно, мягко на соломке, и солнышко припекало, да еще думалось хорошо про то, как мать принесет с ярмарки сушеных слив. Но вот уж подул ветер, предвестник вечера, и подводы потянулись в обратную сторону с ярмарки, больше порожняком, распродав товар, уж и тощая собака, напугав Васю, подбежала к лавке, на которой сидели дети, а мать все не шла с ярмарки и не несла слив. Вася несколько раз порывался плакать, но Мария успокаивала его, говорила, что время теперь голодное и достать хороших сушеных слив не просто и дело долгое. Однако, когда у нее на руках раскричался маленький Жорик, она сама впала в отчаяние. Жорик был больной, весь в прыщиках, да и голодный, он требовал еды, но у Марии ничего не было для него и для Васи, у нее самой от голода нутро болело, и она тоже заплакала, поскольку не могла заменить ни Васе, ни Жорику мать. Так сидели они и плакали, а Жорик начал дергать ножками и развернул красное одеяльце, в которое был завернут. Тут открылась дверь, из дома вышел дядька в очках и спросил:

— Откуда вы, дети, и почему здесь плачете?

— Мы с хутора Лугового, — сказала Мария.

— А где же ваши родители? Отец или мать? — спросил дядька в очках.

— Отец наш номер прошлый год,— сказала Мария,— год был голодный. И нас с матерью осталось пять душ детей. После смерти отца у нас завалилась хата и нам управление колхоза дали другую хату вблизи тамбы...

— Ясно, ясно,— нетерпеливо сказал дядька в очках, прерывая слова Марии, видать для него скучные,— а как фамилия ваша, как мать звать?

— Не знаем,— сказала Мария,— знаем только, что по деревенской кличке мы гражданкины дети.

В этот момент из дверей выглянула очень красивая женщина, одетая в мужскую рубашку с галстуком, и спросила:

— Павел, что случилось?

— Да вот подбросили нам детей... Я сейчас позвоню в приют.

— Ну, пригласи их в дом,— сказала женщина,— а то смотри, уж из окон выглядывают и подумают, что мы этих детей чем-то обидели... Заходите, дети,— добавила она, широко раскрыв дверь.

И Мария с плачущим Жориком на руках, и Вася вошли в переднюю, где висело много одежды и пахло чем-то очень вкусным. То был запах нафталина, но для Марии всякий запах был сейчас вкусен, даже исходящий от Жорика запах напоминал ей что-то квасное, которое она ела или пила у бабушки в деревне Поповка на Пасху. Из передней куда-то вверх вела деревянная лестница с перилами, крашенная в зеленый цвет и очень крутая. Вася сделал два шага своими тоненькими ножками и тут же сел, ибо пухлый животик мешал ему. Но Мария шепнула:

— Пойдем наверх, Вася, может, нам что подадут. Может, хлеба подадут или борщом вчерашним накормят, которого им не жалко.

Она слышала от старухи-нищенки из их села Шагаро-Петровское, что в городе нищим иногда дают в богатых домах поесть борща, которого варят так много, что лишнее выбрасывать приходится, и старухе часто удавалось поесть такого лишнего борща. Но борща им не дали и хлеба тоже. Пока добрались наверх Вася своими ножками и Мария с тяжелым Жориком, женщина уже успела, наверное, убрать борщ со стола, а на стол наложила книг. Дядька куда-то звонил по телефону, телефон Мария знала, он стоял в сельсовете. Очень скоро, как будто из дома напротив, пришла сердитая, коротко стриженная женщина, развернула привычно и грубо одеяльце, посмотрела Жорика, спросила, как его зовут и как фамилия. Как зовут, Мария сказала, а вместо фамилии начала рассказывать свою историю о завалившейся хате. Но женщина не стала слушать, взяла Жорика и ушла.

— Ну, теперь идите домой,— сказал дядька в очках.

— Нет, домой мы не можем,— сказала Мария,— мы хотим на ярмарку. Там мать наша. Как пройти на ярмарку?

— Очень просто,— оживленно сказал дядька,— проще пареной репы. Идите по улице все влево и влево, перейдете площадь, вот вам и ярмарка.

И он быстро свел по деревянной лестнице Марию и Васю и запер за ними дверь.

Сперва Мария и Вася пошли к ярмарке и быстро ее нашли, но матери там не оказалось, сколько они ни искали. Зато, хоть был уже вечер и подводы мало-помалу разъезжались, еще было вдоволь пшена в мешках и лука-цыбули в вязках, и какая-то старушка, похожая лицом на старую нищенку из села Шагаро-Петровское, ту, которая рассказывала Марии о своих удачах в получении лишнего борща от богатых домов, так вот, какая-то старушка продавала сушеные сливы, которые разложила на мешковине кучками. И тут Васе впервые пришла в голову мысль украсть.

— Обеими руками я целую кучку слив схвачу,— говорил он,— и хоть ноги у меня слабые, но и торговка старая, не догонит.

— Да Боже тебя упаси,— отвечала Мария.— Это грех большой. Чтоб я за тобой этого больше не замечала. Да и не убежать тебе. Старуха не догонит, но крик подымет, и тебя другие люди поймают. А знаешь, как воров бьют? Я видела раз, как у нас в селе били цыгана.

— А почему ж,— говорит Вася,— наша мама не купила нам слив, чтоб нам их не воровать?

— Наверно, за платок, который она принесла продавать, здесь, на ярмарке, мало хотели заплатить,— сказала Мария,— а платок красивый, шерстяной. Это отец ей к свадьбе подарил. Жалко его продавать дешево.

Вот она и понесла его продавать в богатые дома. Давай, Вася, походим по городу, может, и найдем нашу маму.

Город Димитров большой, красивый. Тут и бульвар, огражденный забором, забор хоть и железный, но низенький, даже и Вася, если его чуть подсадить, перелезет. Тут и электрических лампочек множество в больших стеклянных окнах, где товары разные лежат — одежда и обувь, а съестных товаров не было, поскольку год был голодный и съестное городским по карточкам выдавали. А народ по улицам шел все чужой, впервые виденный, незнакомый, и потому, когда Мария узнала в толпе возле главпочтамта, в самом центре города, уже известного ей чужака, она тут же шепнула Васе:

— Гляди, вон тот, кто нам два раза хлеб подал. Пойдем, может, подаст в третий раз. Ни мамы нашей, ни бригадира рядом нет, отнять некому, мы и съедим хлеб, а то голодно.

Перед главпочтамтом был фонтан, еще дореволюционный, потемневший, с изображением голых деток, сидящих верхом, как на конях, на жабах-лягушках, и из жабьих морд били водяные струи. А рядом был недавно вырубленный из гранита кумир, установленный на пьедестале каменном, так что тяжелая глыба еще не успела соединиться с землей, на которой она установлена, как это бывает со старыми кумирами в городах языческих.

За короткое время своего пребывания здесь Дан из колена Данова, Антихрист, понял, что находится среди язычников, либо недавно принявших эту веру, либо переживавших расцвет этой веры, ибо слишком много кумиров, литых из металла, выструганных из дерева, высеченных из камня, а также слишком много рисованных изображений было вокруг. Кумиры были разные, но чаще всего попадалось изображение усатое, с азиатскими скулами, похожее на вавилонских идолов, против поклонения которым предостерегал пророк Иеремия... Два великих пророка, два ненавистника идолов — Исайя и Иеремия — предостерегали, но народ не вразумился.

— Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? — с горечью восклицал Исайя.— Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею до того, как становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резцом, и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого он употребляет на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». И из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты мой бог».

Нет, пожалуй, не вивое на этой земле язычество и идолопоклонство. Дан из колена Данова, Антихрист, видел в местном храме множество старых людей, которые стояли на коленях и поклонялись вырезанному из дерева изображению распятого на кресте александрийского монаха-затворника, истязавшего в неверии свою плоть, которого они именуют почему-то именем брата Данова Иисуса из колена Иудина, крепкого, как прародитель его, зачинатель колена молодой лев Иуда, с жаркими глазами, как у братьев Маккавеев, погибший от рук идолопоклонников своих и чужих, как погиб на семь веков ранее его пророк Иеремия, предлагавший покорностью сокрушить хребет нечестивца. И, стоя в храме среди треска множества свечей и величественного песнопения, глядя на согнутые старые плечи, Дан из колена Данова с горечью думал через пророка Исайю:

— И не возьмут они этого к своему сердцу, и нет у них столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне и на угольях

его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?»

Дан знал, что даже ранние христиане, христиане первых двух веков христианства, хоть в них и было уже немало не Господнего, языческого, никогда не поклонялись изображениям и кумирам. С того же момента, как начали они поклоняться изображению тощего александрийского монаха, с того момента и произошла подмена, и христианство стало врагом Христа. Но если ранее подменяли имеющего плоть, но не имеющего формы Господа изящными греческими идолами из дерева, кости и мрамора, то ныне они начали подменять Творца грубыми вавилонскими кумирами, созданными из материалов тяжелых — металла или камня. Однако процесс этот был единый, длящийся уже более полутора тысяч лет, и суть была одна. Лишь греческое идолопоклонство, красивое и изящное, сохранившееся еще кое-где для старых людей, начало вытесняться вавилонским, с кумирами на площадях, кумирами, вокруг которых толпились молодые и поклоняться которым учили даже детей, во множестве бегавших в тот вечер перед недавно установленным кумиром усатого скуластого азиата, а также вокруг фонтана. Ибо дети есть дети, и, когда проходит первый испуг от грозного вида обожествленного каменного лица, им хочется побегать и пошалить. В шалости детской, в их игре зачатки того Господнего, чему научил Бог человека на седьмой день творения, но безмерный голод губит ребячество, и голодный ребенок подобен мудрому старику, он существует лишь оттого, что мыслит, а мысли голодного всегда одни — где достать хлеба. Вот с такими-то мыслями Мария снова подошла к Дану, протянув руку для подаяния, и тут же была схвачена за эту руку представителем власти, пост наблюдения за порядком которого располагался рядом с установленным кумиром и где всякое нищенство, азартные игры и прочие беспорядки были запрещены.

— Ты, девочка, чья будешь? — твердо, но не сердито спросил милиционер. — Где твои отец и мать?

— Отец помер прошлый год, — сказала Мария, — год был голодный. И нас с матерью осталось пять душ детей, один одного меньше. После отца у нас завалилась хата, и управление колхоза дали нам другую хату возле тамбы. И наша мать оставалась в этой хате, так как у нас почти все были пухлые и больные.

— Отпустите девочку, товарищ милиционер, — сказала какая-то сердобольная женщина.

— Да я ее не задерживаю, — сказал милиционер. — А где она живет?.. Где ты живешь? Дорогу домой знаешь?

— Знаю, — торопливо сказала Мария, — вот, ей-Богу, знаю... Хутор Луговой... Надо все по тамбе идти и никуда не сворачивать. Как пройдешь санаторий, мимо церкви, потом клуб и школа, а под бугром течет речка и водяная мельница стоит. А рядом цветник, где летом ягоды да грибы собирают. Вот против цветника и наша хата.

— Ну иди домой, — сказал милиционер, у которого и без нищих детей дел было по горло, — иди быстрее домой и скажи матери, что если еще будет посылать тебя за милостыней, то и ее, и тебя арестуют.

— Верно, — поддержал какой-то доброволец из толпы представителя власти, — вместо того чтобы в колхозе работать, они попрошайничают и воруют, как цыгане.

— Только не надо насчет нации, у нас все нации равные.

— Извините за ошибку, — торопливо сказал доброволец, ретируясь в глубь толпы.

А Мария, которой в третий раз помешали поесть хлеба, завещанного пророком Иезекиилем, но довольная тем, что ее отпустили, взяв голодного брата своего Васю за руку, голодная пошла прочь.

И, глядя на все это, Дан из колена Данова, Антихрист, облизал губы свои, и вот горечь на языке его. И сказал он через пророка Иеремию:

— Лучше полезный сосуд в доме, который употребляет хозяин, нежели ложные боги, или лучше дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги.

А означало это, сказанное пророком, любящим Господа, следующее по нынешним понятиям:

Лучше уж атеизм, если нет сил верить в Господа, чем идолопоклонство. Лучше здоровый, материальный атеизм. Но атеизм, терпимый Господом, доступен либо честным, черствым душой труженикам, либо, наоборот, бездеятельным мудрым созерцателям. То есть подлинный атеизм доступен весьма немногим. И испокон веков в стране этой и в народе этом было так же мало атеистов, как и мало верящих в Господа. И были либо равнодушные псалмопевцы, либо неистовые идолопоклонники. И сказал Дан себе:

Пророки ваши пророчествуют ложь, и священники ваши господствуют при посредстве их, и народ любит это. Что ж вы будете делать, отступники, после всего этого? Неужели не отомстит моя душа такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается на сей земле...

И, сказав это, Дан, Антихрист, свернул за угол главпочтамта в слабо освещенный редкими фонарями переулок и удалился.

А Мария и Вася еще долго блуждали по вечернему городу, боясь спросить у кого-либо дорогу, чтоб их опять не схватили, пока сами по себе не вышли к тамбе.

— Ну теперь-то уж мы найдем свою хату, — обрадованно сказала Мария, — все по тамбе да по тамбе, и никуда не сворачивать до самого заказа.

И опять пошли ночью без присмотра нищие дети, и опять никого не прельстила их беззащитность, и опять светила им с неба харьковская луна. Только путь на сей раз был очень долгий, и, пока дошли до поселка Липки, выбились из сил. По обыкновению своему брат Вася начал плакать да просить:

— Давай, Мария, заночуем где-либо в сенях, на лестнице. Или лавочку в закоулке найдем, где не дует. Прижмемся друг к дружке и поспим до солнца. Как утро, дальше пойдем.

— Нет, Вася. Бог с тобою, — отвечает Мария, — может, мама наша уже вернулась домой и, не найдя нас, будет беспокоиться. Пойдем, идти-то нам уж недолго. Сколько мы до Липок шли по колхозному полю, где помнишь, мама наша выбросила хлеб, поданный чужаком, столько и осталось поля до нашей речки, а там и заказ, и мельница, и церковь, и санаторий. Как будет санаторий, так и нашу хату видать.

Уговорила Мария брата, и пошли они дальше, усталые, голодные и беззащитные. А ночью все кажется иным. И колхозное поле более ветреное, и в речке берега от воды не отличишь, и заказ точно темная сплошная туча, и сами они малые и одинокие, уж такой соблазн для злодея, которому их нищета не помеха и который в награду себе берет лишь человеческие мучения, что не будь это в провинциальной Харьковщине, где нечестивец ходит в смазанных дегтем сапогах и не имеет бледного, вдохновенного творческого лица, навряд ли дошли б дети до своей хаты. Но дошли. Постучали они в дверь хаты раз и другой. Отперла им сестра Шура, посмотрела сердито и говорит:

— Где ж вы оставили Жорика?

— Чужая тетя пришла и унесла его куда-то, — отвечает Мария.

— А знаете ли вы, — говорит брат Коля, — что наша мама завербовалась, хочет от нас уехать.

— Куда уехать? — спрашивает Мария.

— Этого мы не знаем, — отвечает Шура, — по раз пришли, ложитесь вон там в угол и спите.

Легли Мария и Вася у холодной печки на полу земляном, обняли друг друга, согрели как могли, и заснули усталые. Утром, еще и солнце не поднялось, кто-то растолкал их — вставайте! Мария вскочила торопливо, думала, это Шура за что-то ругать собирается, ибо Шуру она боялась, но это не Шура, а мать их стоит над ними в ватнике и с мешком в руках.

— Давайте, — говорит, — дети, попрощаемся, я уезжаю.

Поцеловала она Марию, поцеловала Васю, совсем сонного, поцеловала Шуру, поцеловала Николая и ушла. Мария с той поры уже не спала, а Вася спал. Но, лишь солнце поднялось, растолкала Мария Васю.

— Хватит, — говорит, — спать. Пора идти за пропитанием.

Как вышли на улицу, зябко еще было и петухи в селе Шагаро-Петровском то там, то здесь перекликались. Перешли Мария и Вася тамбу,

миновали болото и с бугра спустились к речному берегу. Туман еще над водой, плещет вода в тумане, сыро и неласково здесь, но зато растет съедобная трава — рогоз.

— Дергай, Вася, — говорит Мария, — пучок травы набери в ладонь и дергай вот так, — и она выдернула пучок травы. — Побольше пучков наберем, — говорит Мария, — сколько унести сможем, потому не все в этой траве съедобное, часть в отход пойдет.

Пока набрали Мария и Вася рогоза, туман разошелся, и теплее стало. Вернулись они с рогозом к хате, расположились на солнышке, и начала Мария эту траву-рогоз очищать от несъедобной кожицы да сухих стеблей, все же съедобное в той траве Васе давать и самой есть. Наелись Мария и Вася вдоволь, а как наелись — задумались.

— Вот что, Вася, — говорит Мария, — двинем-ка мы в город Димитров на станцию, так как нам дорога уже знакома.

— Двинем, — отвечает Вася.

— Только всю дорогу бежать надо, — говорит Мария, — потому, боюсь, не застанем мы мать... Согласен?

— Согласен, — отвечает Вася.

И побежали они, и бежали всю дорогу, и на этот раз дорога показалась им короче, может, оттого, что поели травы-рогоз вдоволь и сил больше было. Как санаторий, да мельница, да церковь, да заказ за спиной остались — и не помнят. Только перед Липками, на колхозном поле, дух перевели и дальше побежали. Миновали поле, где мать выбросила хлеб, поданный чужаком, Липки миновали... Вот и город Димитров.

— Тетенька, — говорит Мария какой-то городской женщине, — как нам на станцию пройти и побыстрее?

— А ты что, — говорит женщина и улыбается, — на поезд опаздываешь?

— Что такое поезд, я не знаю, — отвечает Мария, — но нам быстрее на станцию надо.

— А если ты не знаешь, что такое поезд, то откуда же ты знаешь, что такое станция?

— Станция — это где паровозы гудят, — отвечает Мария.

— Вот как, — рассмеялась женщина, — что такое поезд, ты не знаешь, а что такое паровоз, знаешь? — И, продолжая смеяться, показала Марии и Васе дорогу к станции.

Перешли Мария и Вася через железнодорожные пути и видят — на лавочке сидит их мать рядом с мешком. Как подбежали они к матери, как всплеснула она руками, как начала их целовать и плакать, и пошла с ними в станционный буфет, и купила им булочки. Поели Мария и Вася булочки, и мать говорит:

— А теперь, дети, бегите скорее домой, пока не смерклось.

Тут уж Мария и Вася начали сильно плакать и просить не прогонять их, да так, что посторонние заинтересовались, в чем дело. Тогда мать говорит:

— Не плачьте, дети, сидите рядом со мной, я вас не прогоню от себя. — И какой-то женщине, тоже в ватнике, только не с мешком, а с сундучком, она сказала: — Знаю, что запрещено, а не могу их прогнать от себя. Сердце не переварит.

— Да, — говорит женщина с сундучком, — мать есть мать своим детям.

Сели Мария и Вася рядом с матерью, прижались к ней, хорошо им. А Вася, тот больше по сторонам смотрит, любопытно.

— Ой, какие горы большие, — говорит, пальцем на пути показывая.

— То не горы, — поясняет мать, — а то платформы с песком. Здесь, дети, не так, как на хуторе, здесь всюду опасно и враз задавить может. У нас посадка ночью будет, так что ты, Мария, за Васей гляди. Ты с ним отдельно от меня в поезд садись, уж потом в вагоне встретимся. А то вербовщик заметит и запретит вас брать.

И верно, как потемнело, страшно стало на станции. Людей много, все толкают, бегут, паровозы гудят, в общем, суета и никому ни до кого дела нет. А в поезд садиться совсем уж страшно. Как явился он, железный, Вася перепугался, упирается ножками, дрожит, не хочет садиться в вагон.

Ох как намучилась Мария, пока его в тамбур втолкнула, но в вагоне, хоть и людей битком было, их сразу же мать нашла. Васю она посадила с собой на лавку, а Марии говорит:

— Ты под лавку лезь.

Полезла Мария под лавку, там еще удобней, людей поменьше, под полом стучит, точно в кузне в два молота, но не звонко железом по железу, скорее железом по доскам. Стучало, стучало, потом гудеть начало, потом шипеть, и Мария уснула. Проснулась она оттого, что мать ей под лавку жестяной чайник сует:

— Попей, дочка, водички.

Выпила Мария водички — и опять спать. Спит она и вдруг во сне чувствует — что-то дурное и для нее страшное происходит. Проснулась она, выглянула, сразу чьи-то пальцы ей в плечо больно вцепились и из-под лавки вытянули.

— Так вы и под скамейкой прячете, — кричит какой-то неясный в темноте на мать, а она сидит перед ним бессловесно, виновато голову опустив, — я вас предупреждал... Я запрещаю вам брать с собой детей. — Сказал и ушел.

— Кто это? — говорит Мария.

— Это вербовщик, — отвечает мать, — он мимо проходил и увидел Васю рядом со мной. Ох беда, беда. — И она пригорюнилась, но Марию уже больше под лавку не гнала, и Мария с Васей остаток ночи спали у матери на коленях.

Утром приехали в город Харьков. Боже мой, что за роскошь перед детьми явилась. Можно ли поверить, что такое бывает, если б о том рассказывали Марии и Васе! Город Димитров красивый, большой, а перед Харьковом он как село или хутор. Вошли они с матерью вроде бы в дверь, а оказались и не в доме, и не на улице. Над ними небо стеклянное, деревья диковинные растут прямо в деревянных кадках, а меж деревьями лестница белого блестящего камня, вообще блеску вокруг много, а народу в одну минуту Мария увидела столько, сколько за свою жизнь не видела. И весело стало сразу Марии и Васе, все захотелось посмотреть да пощупать. Взяла она брата Васю за руку, и побежали они вверх по белой блестящей лестнице, поднялись, а наверху пол из малиновых квадратов, скользкий, как лед. Вася, который любит с горок скользить зимой, разбежался и упал, но не заплакал, а рассмеялся. Мария следом за ним разбежалась, и упала, и тоже засмеялась. Так бегали они и падали, а потом Мария новую игру затеяла — кругом кадки, где дерево росло, бегать от Васи, а Вася ее догонял. Но надо заметить — как ни веселилась Мария, время от времени все ж подбежит к перилам, посмотрит вниз и видит — мать их сидит на скамейке рядом с мешком. Всякий раз как подбежит — мать их на месте. А последний раз как подбежала — матери не было. И побежали Мария и Вася вниз, стали кричать и звать мать свою, и где силы взяли, чтоб кричать так долго, так громко и без перерыва, ведь с вечера по булочке поели в Димитрове — и больше ничего. Однако, сколько ни кричали, нигде матери не обнаружили. Народ на крик сошелся, стал тесным кругом, повернулся лицом к Марии и Васе и начал их уговаривать:

— Вот мы сейчас дядю милиционера позовем, и он сразу найдет.

Пришел милиционер, взял Марию и Васю за руки, сказал ласково:

— Пойдемте искать вашу мамашу.

Марии этот милиционер сразу понравился, а Вася смотрел на него исподлобья и хотел выдернуть руку, однако милиционер держал крепко. Он повел Марию и Васю через пути и привел в вагон, стоящий отдельно, отцепленный на путях. В вагоне этом было много детей, и такого возраста, как Мария, и такого — как Вася. Марии здесь сразу не понравилось, а Васе понравилось. Мария сказала милиционеру, который их привел:

— Дяденька, побудьте с нами, пока наша мама найдется, и мы отсюда уйдем, а то нас могут побить.

— Некогда мне, девочка, — ответил милиционер и погладил ее по голове, — а вы, огольцы, — обратился он ко всей компании, — глядите, ребят не трогайте. Они еще к такой жизни непривычны. Они из деревни. Ведь верно, вы из деревни?

— С хутора, — сказала Мария.

— В случае чего вы дежурного позовите, — сказал милиционер, — она там, за перегородкой.

Но только милиционер ушел, как огольцы начали смеяться над Марией и Васей и говорить, передразнивая милиционера:

— Позовите, позовите... Дежурную, дежурную... Она за перегородкой.

Был этот народ большей частью грязный, в угле и мусоре, и позабывший давно про родительскую ласку либо ее вовсе не знавший, а Марию и Васю только еще утром мать обнимала и прижимала к себе. Мария сказала Васе:

— Сядь ближе ко мне и не смотри на них.

Но какой-то мальчишка такого примерно возраста, как Мария, в жирных от грязи лохмотьях, с очень грязной шеей и грязными, в царапинах руками показал Васе глиняную свистульку, и Вася двинулся к нему, забыв о сестре. Только Вася придвинулся, как мальчишка щелкнул его пальцами по уху и вся компания рассмеялась.

— А я рада, — сказала Мария Васе, — будешь знать, как сестру не слушать. Я еще и маме расскажу, когда мы ее найдем.

Но после этого Вася вплотную придвинулся к Марии и от сестры уже не отходил. Вскоре в вагон вошли мужчина с портфелем и женщина с бумагами в руках. Мужчина огляделся, поморщился, видно, от тяжелого духа, поскольку огольцы, не стесняясь, громко, с хохотом портили воздух, и сказал:

— Что-то народу прибавилось, куда я их... В детдоме мест нет... Скандал... Разве что в область отправить.

Тут Мария, которая была девочкой сообразительной, сказала:

— Дяденька, мы маму свою сегодня потеряли, нам бы маму найти.

— Ну вот, — говорит мужчина с портфелем, — Калерия Васильевна, таких у нас множество. Их всех надо по своим домам отправлять, а не занимать места для сирот.

Женщина сказала Марии и Васе:

— Пойдемте, — и привела их за перегородку.

Здесь стоял стол, топилась железная печка. Мужчина положил портфель на стол, снял пальто, снял шляпу, повесил все это в углу и начал спрашивать Марию, а женщина записывала.

— Как ваша фамилия? — спросил мужчина.

— Не знаю, — сказала Мария.

— А как звать папу и маму?

— Тоже не знаем, папа да мама — вот и все... Папу звали «отец», но он в прошлом году умер, поскольку год был голодный.

— А братья и сестры есть у вас? — спрашивает мужчина.

— Есть, — отвечает Мария.

— А знаете, как их звать?

— Знаем, — говорит Мария, — брата зовут Коля, а сестру — Шура, и еще братик у нас был Жорик, но теперь его дома нет.

— Ну, хорошо, — говорит мужчина и почему-то переглядывается с женщиной, которая все записывает, — а знаете ли вы, где жили? Деревня ваша, или район, или область?

— Нет, — говорит Мария, — ничего этого мы не знаем, а село и хутор свой знаем.

— Какое же название вашего села? — спрашивает мужчина.

— Село Шагаро-Петровское, хутор Луговой, — отвечает Мария.

— Вряд ли, чтоб это было далеко, — говорит мужчина, — вне Харьковской области.

— Но, Модест Феликсович, — говорит женщина, — в Харьковской области сел Петровских много... Я лично знаю три села такого названия.

— Что ж, — говорит мужчина, — дадим им провожатого, дадим сухой паек, и пусть поездят по селам, поищут свой дом. Думаю, Наробраз одобрит нашу новую инициативу. Затраты только на проезд и на сухой паек. Провожатых подберем на общественных началах из местного актива.

А Мария слышит все это и говорит:

— Век буду за вас Бога молить, если вы доставите нас с Васей до своей хаты и увидим мы брата Колю и сестру Шуру, а Жорика мы знаем, что его дома нет.

— Теперь, — говорит мужчина, — отправьте-ка их, Калерия Васильевна, в санпропускник при станции.

Тут Мария снова проявила сообразительность и говорит:

— Дяденька, дорогой, дайте мне и Васе хлеба Христа ради, потому что мы с вечера не ели и съедобной травы-рогозы, как у нас в селе, здесь не нарвешь.

Мужчина посмотрел на Марию — очень умело у нее иногда просьбы получались, как тогда в народной чайной, когда железный чекист и бригадир тракторной бригады Петро Семенович прослезился. И мужчина вдруг тоже вытер очки платком и сказал:

— Калерия Васильевна, налейте-ка этим детям по кружке кипятку и дайте им вот, — И он вынул из портфеля жирную бумагу и подал ее женщине.

— Я им выпишу паек, — сказала Калерия Васильевна. — Как же вы без завтрака, Модест Феликсович?

— Ничего, — сказал Модест Феликсович, — дайте детям. Я вижу, воровать они еще не умеют и вообще полностью от посторонних зависят, как котята. Это еще не закаленные улицей огольцы.

Женщина взяла жестяной чайник с печки-буржуйки, налила кипятку в жестяные кружки и развернула жирную бумагу. Ох какое счастье получили в свои руки Мария и Вася! Это была французская свежая булка, разрезанная пополам, и на каждой половинке — по два ломтика вареной колбасы с жирком. В минуту проглотил Вася свою половину, в минуту осталось у него от счастья одно лишь воспоминание, и жадно начал смотреть он на Марию, которая свой кусок ела умно и медленно.

— Ты кипяточком запей, Вася, — говорит Мария, не в силах оторвать от своего куска хоть крошку булки и ломтик колбасы и дать это Васе. А он так хотел!

И потом часто видела она в этом знамение и часто себя за это упрекала. Так и не отдала Мария Васе ни кусочка от своей порции, съела ее до последней крошки, которые с коленок подбирала. Вася видит, ничего ему дополнительно не получить — начал пить кипяток. И Мария свой кипяток выпила, разомлела, глаза потяжелели. Спала ведь она урывками, то под лавкой, то у матери на коленях. Но женщина не дала понежиться на стуле в тепле.

— В санпропускник, — говорит, — поскольку у меня и помимо вас дел хватает.

Повела она Марию и Васю опять через пути, и Мария была рада, что избавились они с Васей от огольцов, которые и побить могли и от которых Вася дурному мог научиться.

Пришли они в помещение душное, мокрое, вода под ногами хлюпает.

— Все с себя скидывайте, это на прожарку, — говорит женщина.

Снял с себя Вася одежду — животик еще больше стал и ножки еще тоньше, и под шкурой каждая косточка видна. А у Марии тело хоть и изможденное, но правильной формы, она давно уже перед мужчинами раздеваться стеснялась, даже перед братом Колей. Но перед Васей не стеснялась. В санпропускнике никого в тот час не было, и дети помылись с радостью горячей водой, это после булки с колбасой было второе счастье, причем подряд... Мария нашла на полу обмылков и густо намылила Васю, а тот от удовольствия прямо урчал, как благодарная собака. Выдали им вафельное полотенце, одно на двоих. Только начала Мария в предбаннике Васю вытирать, как чувствует — кто-то смотрит. Оглянулась, а в дверь парень заглядывает. Как крикнет она, и назад, в баню. Парень смеется.

— Чего ты, — говорит, — я ваш проводник, к вам прикреплен, и вы мне обязаны подчиняться.

— Закрой дверь, — говорит Мария из бани, — пусть я сперва оденусь и Васю одену.

— Ладно, — говорит проводник, — одевайтесь, — и скрылся, ухмыльнувшись.

Проводник этот чем-то был похож на Васю, если б тот вырос. Как и Вася, был он худой, глаза маленькие, серые, лицо продолговатое, чуть

курносый. Хоть и был он похож на Васю, Мария его сразу невзлюбила, а Вася, наоборот, к нему потянулся. Так что Мария впервые испытала странное чувство, как будто одно общее, но в отношении Васи оно было недовольством, а в отношении проводника — завистью, точно проводник для Васи что-то имел, чего она, родная сестра, не имела. Однако показывать открыто проводнику, которого звали Гриша, свою неприязнь нельзя было, поскольку у него находилась корзинка с провизией — хлебом и салом. Правда, сала Гриша-проводник не выдавал им еще ни разу, но хлеб — выдавал.

И поехали они так по селам Петровским Харьковской области. Приезжают они в село большое, много в нем домов каменных и церковь белая на площади.

— Вот оно, — говорит Гриша, — ваше Петровское.

И Вася, чтобы проводнику угодить, говорит:

— Наше это, наше...

А Мария посмотрела вокруг и говорит:

— Нет, не наше... У нас церковь на бугре стояла и санаторий рядом, а внизу речка течет.

— Ладно, — говорит Гриша, — не ваше, так не ваше.

Сели опять в поезд и поехали, а потом с поезда слезли и на подводе по местной тамбе ехали. Пока на подводе ехали, Гриша все шептался с Васей, а Мария посматривала на это неодобрительно, но молчала, поскольку корзинка с провизией была у Гриши. Замечает Мария, что Гриша себе и Васе отрезал хлеба и сала, себе побольше, Васе поменьше, а ей один лишь хлеб, да и то небольшой кусок. Пусть, думает Мария, Вася сала поест, раз мне сала не достается, пусть, — и хоть за себя огорчается, но за Васю радуется.

Наконец приезжают они в село. На бугре церковь стоит, под бугром речка течет.

— Ваше это село Петровское? — спрашивает Гриша.

— Наше, — чтобы угодить ему, отвечает несмышленыш Вася.

— Нет, не наше, — говорит Мария, — и хоть церковь стоит на бугре и речка есть, а где ж санаторий? И заказа не видно, через который в село Поповка идти, где бабушка и дедушка хату имели.

Поехали опять, сперва на подводе, потом на поезде, потом опять на подводе.

— Ваше это село? — спрашивает Гриша.

— Наше, — говорит Вася.

— А если наше, — не выдерживает Мария, — то где ж хутор Луговой? И найди-ка, Вася, нашу хату, где Шура и Коля живут... Разве ты не помнишь, что хата наша стояла на отшибе и против был цветник, где летом собирали ягоду землянику да грибы?

— Ладно, — говорит Гриша и улыбается, — вы меж собой не ругайтесь, поедем дальше.

Поехали на какой-то маленький полустанок.

— Поездов сегодня уж больше не будет, — говорит Гриша, — так что здесь заночуем. Да и не время ночью село Петровское искать. Вы и днем его узнать не можете.

А Мария отвечает:

— Я и ночью его б узнала, если б увидела. На бугре мельница, под бугром речка идет в другое село, Ком-Кузнецовское, а тамба идет в город Димитров, и по пути там поселок Липки.

— Вот завтра ты по этим признакам и найдешь, — улыбаясь по своему обыкновению, говорит Гриша, — а сейчас ужинать пора, — и отрезает себе большой кусок хлеба и кусок сала, Васе поменьше кусок хлеба и кусок сала, а Марии опять только хлеба небольшой кусок.

Вася хлеб укусит, сала полижет, хлеб укусит, сала полижет и все с Гришей о чем-то перешептывается. Наконец Гриша говорит:

— Чего нам здесь на полустанке ночевать? Здесь дует и не заснешь, поезда грохочут, паровозы гудят. Я эту местность знаю, пойдемте, неподалеку большой сарай имеется, еще от помещика остался, и в нем полно соломы. Крыс мы криком разгоним и там переночуем.

Мария возражать начала, и не потому, что ей на полустанке нравилось, а просто — что Гриша ни скажет, ей возражать хочется. Но Вася Гришу поддержал.

— Холодно мне здесь, — говорит, — не засну я. В сарай хочу...

Что сделаешь, раз и Вася в сарай хочет. Пошли они от полустанка, где хоть фонарь горел, куда-то во тьму, поскольку в тот вечер и постной харьковской луны на небе не было, и звезд не видно. Небо темное, но дождя нет, тихо, даже собачьего лая не слышно, и безветрено, вроде бы потеплело. Хотела Мария брата своего Васю за руку взять, но тот руку выдернул и поближе к проводнику жмется, а Мария идет одна, чуть поотстав. Дороги никакой, под ногами сплошные бугры да ямы и вообще вроде бы по полю идут, поблизости никакого жилья. Наконец, впереди что-то показалось.

— Вот он, сарай, — говорит Гриша, — только дверь заперта, надо доску отодвинуть, тут доска одна надорвана.

Полезли в дыру, и верно, на солому наткнулись.

— Ух, мягко здесь, — говорит Вася, — тепло.

— Вот так, Мария, — говорит Гриша, — а ты не хотела.

— Давай, Вася, — говорит Мария, — ложись со мной рядом, прижмись, еще теплей будет, а то хоть и солома здесь, но под утро прихватит холодом.

— Нет, — отвечает Вася, — я с Гришей лягу.

Уж не «дядька Гриша» он его зовет и не «проводник», а просто Гриша, вроде бы он ему брат, как Коля.

— Ложись, где хочешь, — сердито отвечает Мария, — дурной ты...

— Сама дурная, — отвечает Вася.

Тут Мария даже растерялась.

— Вася, — говорит, — братик мой, кто ж тебя этому учит? Ведь слышала б тебя мама наша, или сестра Шура, или брат Коля, какой ты стал, они б подумали, что я тебя учу дурному, поскольку я все время с тобой вожусь. Ведь ты еще малое дитя, Вася, ты должен сестру свою слушать, как мать, раз от матери мы отстали...

— Ты мне не мать, — говорит Вася, — мать я бы слушал, а тебя слушать не хочу.

Тут Гриша вмешивается из темноты.

— Ладно, — говорит, — ты, Вася, действительно, сестре не груби.

И только он это сказал, как Вася перестал грубить. Но от такого отсутствия грубости у Марии не только не появился покой, а, наоборот, еще более тоскливо стало. Если, думает, станет Вася дурным человеком, не простят мне этого ни мать, ни брат Коля, ни сестра Шура.

Так в тоскливых мыслях она и задремала, без брата, который начал похрапывать в другом конце сарая. И слышит она сквозь дремоту — кто-то рядом.

— Ты, Вася, — обрадованно говорит Мария сквозь сон, — ложись потесней ко мне.

И, верно, кто-то ложится, прижимается к ней и в колени ее, а спала она на боку, коленка к коленке прижата, в колени ей руку сует. И сразу Мария поняла — не Вася это. Чужую руку от себя толкнула, вскочила.

— Чего тебе?

— Тише, — говорит Гриша шепотом, — Васю разбудишь.

— Чего тебе? — потише повторяет Мария.

— Я тебе сала принес, — говорит Гриша, — ты ж сала не ела, а только хлеб. Вот я тебе и всю норму одним разом.

Взяла Мария сало, чувствует на ощупь, действительно, большой кусок, надкусила, попробовала — хорошее сало, сочное, мягкое, надкусила еще кусочек, почувствовала, как тоска, с которой заснула, мало-помалу исчезает. И с Васей, думает, все образуется, это он по глупости так.

— Хорошее сало? — спрашивает Гриша и посмеивается.

— Хорошее, — отвечает Мария.

— Ну вот, — говорит Гриша, — а ты все против меня да против меня. Если ты меня полюбишь, тебе никакая мать не понадобится.

— Как это мне мать не понадобится? — говорит Мария. — Она ж мне родная...

— А так, — отвечает Гриша, — что мать твоя тебя с брательником, видать, специально бросила... Чтоб избавиться... Тебе не мать нужна, тебе парень нужен, поскольку сейчас самый твой возраст для настоящего удо-

вольствия, а как повзрослеешь, и вырастут у тебя груди, и начнешь ты беременеть, так уж удовольствия не те.

Только как сказал все это Гриша, Мария окончательно поняла, чего он хочет, хоть никто ее этому понятию не учил, и все это происходило с ней в первый раз.

Отойди, говорит, бесстыдник, я сразу тебя поняла, как ты в бане на меня раздетую заглядывал.

— Раз поняла, тем лучше, говорит Гриша. И вдруг как схватит Марию под мышками, точно посадить ее хочет куда-либо, а железными своими мужскими коленями разъединил ее детские коленки, и оказалась она у него в полной власти, в темном сарае, запертом снаружи замком и стоящем на отшибе среди темного поля, примыкающего в конце своем к темному железнодорожному полотну у глухого полустанка. И даже постная харьковская луна не светила в эту ночь.

Одна лишь живая душа была рядом — брат Вася, но и тот похрапывал. А если бы не спал, то что он мог сделать — ведь дитя еще... Кричать было некому, только Васю испугаешь, потому Гриша ей рта и не зажимал, как не зажимают рта животному, которое режут, пусть кричит, кто его услышит. Мария попробовала себя защитить молча, но всякий раз, как она пробовала себя защищать, Гриша выворачивал ей руку и становилось очень больно, когда же переставала себя защищать, Гриша отпускал ей руку. И добился Гриша от Марии чего хотел, и стонал он при этом, как тифозный, но Вася спал, и даже, когда Мария крикнула от боли необычной и незнакомой и Гриша особенно сильно застонал, точно ему тоже рвали тело, как рвал он тело Марии, даже и тогда Вася не проснулся. Мария поняла это после того, как все кончилось. Лишь слышно было ее и Гриши тяжелое дыхание и храп Васи. И Мария обрадовалась тому, что Вася ничего не слышал и не напугался. Меж тем дыхание у Гриши стало спокойней, и он сказал Марии, которая по-прежнему дышала тяжело:

Ты не переживай... При твоей жизни все равно тебя б изнасиловал какой-либо старик... Так уж лучше я... Вот возьми, и он дал ей хлеба.

Мария взяла хлеб и притихла, а Гриша полез от нее в другой конец сарая и вскоре захрапел, как и Вася.

Нельзя сказать, что Мария заснула, скорее она впала в беспамятство, поскольку видела над собой все время проступающие во тьме стропила сарая и чувствовала под собой солому. У нее болело в животе и под животом, точно она вместо травы-рогоз наелась ядовитой травы, как соседка их по хутору, которая в один почти день с отцом померла от отравления кишок. Но постепенно боль утихла, а когда стропила стали видны ясно в посветлевшем сарае, боль была незначительная, точно намек на то, что произошло ночью. Мария поднялась, села и увидела, что в сарае лишь она с Васей, а проводник их Гриша исчез. Этому она обрадовалась, но тут же огорчилась, поскольку он унес корзинку с провизией. Однако тут же опять обрадовалась, поскольку нащупала в кармане кусок сала и кусок хлеба, хоть и не такие большие при свете, как казались во тьме, но все ж ей и Васе было на первое время чем жить.

— Вася, вставай, — сказала Мария, — проводник, которому велели доставить нас домой, убежал, и теперь нам придется самим добираться. И унес всю провизию... Вот, брат, убедись, кого ты принимал за хорошего человека и не слушал своей сестры, единственного тебе сейчас родного человека, поскольку нашей мамы нет с нами, а сестра Шура и брат Коля далеко.

Вася молчит, видно, чувствует себя виноватым.

Полезли они наружу через дыру, огляделись. Поле в одну сторону, поле в другую сторону, куда идти? И пошли они наугад, но пришли точно к железной дороге и к тому полустанку, где проводник Гриша не мог бы сотворить с Марией того, что он сотворил с нею в сарае, на отшибе, поскольку тут и дежурный заглянет, да и вообще ходит по перрону сонный народ. Никогда б такое не случилось, если б не Вася, но Мария не стала Васю упрекать и вообще ничего ему о произошедшем в сарае не рассказала, а сказала она ему:

Дорогу домой в село Шагаро-Петровское я не знаю, но знаю, что отсюда нам надо уезжать до какой-нибудь большой станции, где в случае чего легче еды выпросить... Как поезд придет, ты сразу лезь следом за мной.

— Полезу, — говорит Вася.

Исчез проводник Гриша, и Вася опять стал Марию слушать, а поездов он уже не боялся, как в городе Димитрове.

В поезде Мария и Вася поели сала и хлеба, которые дал Марии проводник Гриша за то, что он с ней сотворил в сарае. Но не все поели, часть Мария припрятала от Васи на следующий раз, ибо Вася хотел все съесть. Приехали Мария и Вася на большую станцию, вышли вместе с общей толпой пассажиров, поскольку дальше поезд не шел. Огляделись брат и сестра и ахнули от радости.

— Да ведь это ж город Димитров... Отсюда тамба прямо к нашему хутору.

А какой-то старик пояснил:

— Это, дети, не город Димитров, а город Изюм... Такой сладкий сушеный виноград, вы ели? Вот в честь его и назван этот город «Изюм», — и улыбается.

А Мария хоть и огорчена, что это не Димитров, а Изюм, но про старика думает: «Старики редко улыбаются, а этот, раз улыбается, значит добрый, а добрый подаст чего-нибудь, поскольку хлеба и сала у нас самая малость осталась».

— Ничего, — говорит, — мы, дедушка, ни сладкого, ни сушеного не ели, поскольку вот с братом малым отстали от матери... Подайте нам Христа ради, что можете...

— Знаем мы вас, — говорит старик и сразу сердитым становится, — по поездам шляетесь, чемоданчик, какой плохо лежит, утащить хотите... Вот я вас...

Подхватила Мария Васю за руку и побежала прочь от злого старика по перрону, а оттуда в вокзал.

Вокзал в Изюме не такой, как в Харькове, ни стеклянного потолка, ни лестницы белой, блестящей, но тоже красивый, теплый, скамеек много, и даже дерево такое же диковинное, как в Харькове, в кадке стоит, правда, одно всего.

— Ничего, Вася, — говорит Мария, — здесь мы поживем пока что неплохо. Просить я умею, голос у меня жалостливый, один не подаст, так другой подаст. Народу, гляди, вон сколько вокруг. Пойду попрошу, может, подадут. Попробуй нас тронь кто-либо. Здесь и ночью народу много и светло... Только Боже тебя упаси, Вася, воровством промышлять... Видал, как старик озлился? Это он не на нас озлился, это он на воров озлился... Народ, Вася, не обижай никогда, и народ за тебя в любой момент заступится, а если обидишь народ, он тебя на произвол судьбы бросит... Хорошо ли нам было в темном сарае ночью, когда кругом поле темное, а рядом дурной человек, которого ты, Вася, по глупости своей полюбил...

Так говорила Мария брату своему Васе наставления, и Вася слушал, поскольку зависел от того, что Мария соберет подаяниями. А собирала Мария здесь, на станции Изюм, действительно неплохо.

— Господи, — говорила, — Иисусе Христе... Сыне Божий...

На эту мольбу подавали ей и старые, и молодые, и мужчины, и женщины. И даже некоторые партийные не могли отказать в просьбе ребенку, пусть и использующему отжившие старорежимные церковные термины. Один партийный пассажир, безусловно, партийный, поскольку в кожаном пальто и с сабельным шрамом, как у Петра Семеновича, бригадира, подал Марии пакет, в котором было пять пирожков с горохом. Случалось, подавали и селедку, и колбасу, а про хлеб и говорить не приходится, здесь, в Изюме на станции, Мария и Вася впервые поели хлеба если и не вдоволь, то хотя бы и не впроголодь. Ночью спали дети на скамейках в теплом углу и были довольны своей жизнью.

Но всякая случайная, не подготовленная судьбой удача непрочна и временна. Однажды возвращается Мария после сбора подаяний, было это на третий день их удачной с Васей жизни, и видит — рядом с Васей стоит сердитая женщина, похожая чем-то на ту, что за Жориком в городе Димитрове приходила.

— Вот она, моя сестра, — говорит Вася и на Марию пальцем указывает.

— Очень хорошо, — говорит женщина, — а мать ваша где?

— От матери мы затерялись, — говорит Мария.

— Тогда пойдемте.

Выводит она Марию и Васю из теплого вокзала на ветреную площадь, а там еще стоят дети, но, к счастью, не огольцы, как в Харькове в вагоне-приемнике. Огольцов Мария уже различать научилась. Построили всех попарно и повели. Мария, конечно, с Васей шла и за руку его держала. Если б раньше, когда Мария на хуторе жила, она б себе глаза проглядела по сторонам на дома и на людей. А теперь она на Изюм не очень-то обращала внимания, больше думала, куда их приведут и чем накормят. Привели их на конный двор, где несколько конюшен и среди утрамбованной площадки были столбы с цепями — коновязи — и много конского навоза. Стриженая женщина назвала себя воспитательницей, а как ее звать, не сказала — просто воспитательница. Открыла она ворота одной из конюшен, там на полу солома прелая, но лошадей всего несколько и в дальнем конце конюшни, здесь же пусто.

— Располагайтесь, — говорит воспитательница, — ждите, пока я за вами приду и поведу вас обедать. Но самим никуда не отлучаться, лошадь может ударить насмерть.

Сказала и ушла. Сели Мария с Васей в стороне от других детей за кучей соломы и поели милостыню, что Мария насобирала на станции. Вдруг видит Мария, приближается к ней какой-то мальчишка, чуть помоложе Марии, но постарше Васи.

— Меня, — говорит, — Ваня звать...

— Ну и что? — говорит Мария.

— А то, — говорит, — что дайте пошамать.

— Иди ты, — говорит Мария, — нам с братом самим еле хватает... Вот будет общий обед, пошамаешь...

Отошел он, ничего не сказав.

Общий обед случился нескоро. Через несколько часов пришла воспитательница, построила всех попарно и повела в столовую рядом с конным двором. Может, при голодовке на хуторе Мария ела б обед этот с удовольствием, но после того, как на станции Изюм ей хорошо подавали и она попробовала и селедки, и колбасы, и пирожков с горохом, обед этот Мария ела с трудом и по нужде... И Вася, замечает она, тоже ест с трудом. Эге, думает Мария, да мы с Васей вряд ли проживем, если не ходить просить милостыню. Да и Васю надо обучить просить, а то он лентяем растет и того гляди приспособится воровать.

Так оно и получилось. Раз в сутки в одно и то же время, после полудня, приходила воспитательница и вела в столовую, где всегда давали суп-затируху, кипяток с мукой, пшеничную кашу без жиру и хлеба кусок. В остальное же время все уходили искать себе пропитание, кто просить, кто действительно занимался воровством. Однако Васю Мария от себя не отпускала, хоть и видела, что просить он не любит. А раз просить не любил, значит ему редко подавали, ибо каждое дело труда и умения требует. Ну пусть, если не просит, то хоть рядом будет, постоит за углом или на скамеечке посидит. Чтоб слушал ее Вася и был у него интерес, Мария как выпросит хороший кусок, ему отдаст. Просила Мария по пивным, возле домов какие побогаче, а на вокзал ходила редко, базар же вовсе не посещала и все из-за Васи. Знала, что там воров много, и они могут на Васю плохо повлиять. Так дни проходили, а ночевали в конюшне.

Был на конном дворе дедушка, ночной сторож по кличке Москаль. Добрый был он, ласковый, любил детей, и дети его любили. Собирал всех детей в конюшне вокруг себя и, пока не усиут дети, рассказывал им сказки. Одни при том сразу засыпали, а другие слушали допоздна. Мария слушала допоздна и Вася тоже. Сказки у дедушки были разные. И про Ивана-царевича, и про сиротку Марфушу, и про Илью Муромца — сокрушителя басурманов. И была еще одна, самая интересная сказка про божью деточку — Иисуса Христа. Подопрет дедушка морщинистое, белобородое лицо свое ладонью, задумается, пригорюнится и начинает:

— В тридевятом царстве, тридесятом государстве был на земле большой грех. И решил Господь спасти народ от греха, и послал он на землю любимую деточку, сыночка Иисуса Христа. Как появился Иисус среди людей, сразу им хорошо стало. Взял он хлеб, и накормил всех досыта, и водой окропил из реки Иордан, и сказал: «Будете вы теперь народ крещеный, православный, а евреям-жидам за то, что они работать не хотят, а только торговлей в храмах святых занимаются, не будет царства Божия». И задумали евреи-жиды любимую деточку Божию, сыночка Божьего Иисуса Христа погубить. А главный среди евреев был Иуда-антихрист, — и старичок поднял кверху палец, словно кому-то в темноте погрозил, прислушался, как в дальнем конце конюшни переступают с ноги на ногу, похрапывают лошади. — Собрал Иуда-антихрист весь всемирный еврейский кагал — это значит шайку свою разбойничью — и говорит: «Пока жив Иисус Христос, не одолеть нам народ православный, не заставить на нас работать мужчин и женщин православных, и не сможем мы у деточек православных кровь брать, чтобы печь нашу мацу». Это их лепешки такие нечистые. Раз пошел Иисус Христос в сад, а Иуда и другие евреи его в кустах подстерегали. Схватили они Иисуса Христа, потащили его на гору и прибили ему руки и ноги к кресту, думая, что он умрет. Но он не умер, а вознесся на небо силой Божьей, и с неба опять явился народу православному, и сказал: «Вот он я. Не верьте жидам, что я умер, и отплатите им за мои Божьи муки...»

Хоть и интересная была сказка, но длинная, так что к концу ее большинство детей уже спало. Однако Мария не спала, и Вася не спал, и тот мальчик, что в первый день приходил пошамать просить — Ваня, — тоже не спал, слушал конец. Конец же всегда старичок по-разному рассказывал. То на зов Иисуса Христа являлись Илья Муромец и Алеша Попович, то Степан Разин и Емельян Пугачев, то Ермак Тимофеевич — завоеватель Сибири... И так каждую ночь. Кони похрапывают, а в окошко конюшни из-под крыши луна глядит... Наконец Вася не выдерживал, опускал голову на грудь и давай сопеть.

— Поснул Вася, — говорит тогда Мария и осторожно брата в уголок ведет, где соломки она заранее приготовила, уложит, а сама рядом. Нравились Марии эти ночные сказки, но после она пожалела, что разрешила Васе их слушать, поскольку Вася при этом с Ваней подружился, тем мальчишкой, который пошамать просил.

Раз говорит Вася Марии, когда та собиралась милостыню просить в город идти:

— Я с тобой не пойду, я с Ваней пойду.

— Братик, — говорит ему Мария, — Вася, да разве я тебя обижала? Что напрошу — тебе лучшее... А Ваня тебя воровать научит, я знаю, он на базар ходит.

— Ну и что, если на базар, — отвечает Вася, — на базаре подают больше и лучше.

— Знаю я, как на базаре подают, — отвечает Мария, — там народ жадный, те, кто покупает, хотят подешевле, а кто продает — подороже... Лучше нет места, чем пивная или дом богатый. Хорошо и на вокзале подают, но на вокзале народ подозрительный, воров боится. Если расположишь к себе — подаст, а не расположишь — побить может. Пойдем со мной, братик, сыт будешь.

Не послушался Вася Марию, ушел с Ваней. К вечеру приходит, говорит:

— Мария, дай мне хлеба, я ничего не выпросил.

Мария отвечает с упреком:

— Нужно не бегать на базар, а просить милостыню, трудиться... — но все же дала ему хлеба.

На следующий день он уже к ней не обратился и даже к обеду не явился. Поздно они вместе с Ваней возвратились и оба довольные, леденцы сосут. Мария сразу же поняла, Васю ни о чем спрашивать не стала, а Ваню в сторону отозвала и говорит:

— Вы воруете на базаре?

— Воруем, — отвечает Ваня.

— Ваня, — говорит тогда Мария, — ты сам за себя в ответе, а я за Васю перед матерью нашей, от которой мы в дороге отстали, отвечаю... И перед сестрой Шурой, и перед братом Колей... Не втягивай, Ваня, Васю в воровство.

— А мы не воруем, мы просим, — отвечает Ваня и усмехается нагло, — я тебя обдурил.

— Брешешь ты, как собака, — сердито говорит Мария и, отойдя от Вани, думает: единственная теперь надежда — это то, что скоро отсюда переводить будут, распределят по разным детдомам, и Ваня с Васей разлучится.

О переводе давно уже слух был, но как-то утром собрала детей воспитательница и говорит:

— Дети, сегодня придет машина, и вы все поедете, но куда, я не знаю. Машина эта всех не заберет, отвозить будут партиями, и потому, у кого есть братья и сестры, держитесь вместе, чтоб попасть в одну партию.

Только воспитательница такое сказала, кинулась Мария Васю предупредить, а его и след простыл. Пришла машина — грузовик. Отвезла первую партию — ждет Мария. Пришла машина, набрала вторую партию, начала Мария волноваться, — нет Васи. Что делать? Пойти на базар искать его, разминуться можно. Вернется он на конный двор, и усадят его и увезут без сестры. Уж так переживала Мария, уж так кляла Ваню за то, что подбил он Васю уйти на воровство, да еще в такой день. Уж так себя кляла за то, что разрешила Васе слушать ночные сказки старика сторожа, где Вася с Ваней близко сошелся. Пришла в третий раз машина, набрала партию, осталось немного детей, на один раз. Не выдержала Мария, побежала на базар, искала, звала, но нигде не нашла. Бегала по городу возле пивных, где просили они с Васей раньше, может, и верно он за ум взялся, воровать бросил, а начал милостыню собирать, побежала и на вокзал. Вся мокрая, усталая прибежала на конный двор. Васи нет, но машина уже пришла и последних детей сажают. Начала Мария просить, чтоб оставили ее здесь, не увозили, пока она брата найдет, но воспитательница сказала:

— Твой брат ворует, мы это знаем, и ты тоже хочешь остаться с ним воровать? Найдем его, привезем туда, где будешь ты...

Плакала Мария, объяснить хотела, что перед матерью она за Васю в ответе, но воспитательница и какой-то седой мужчина взяли ее крепко, как Гриша тогда в сарае, под мышки и посадили на машину, велели другим детям держать ее. Однако если в ночном сарае она Грише покорилась, поскольку он ей руку вертел, то здесь за брата Васю она боролась до конца, рвалась, несмотря на то, что ей было больно от чужих рук, ее державших, кричала так, как, может, лишь на вокзале в Харькове кричала, когда от матери они с Васей потерялись. И наконец ей удалось вырваться, прыгнуть с машины, но ее догнали воспитательница и седой, подхватили под мышки и посадили опять на машину. Тронулась машина под плач и проклятия Марии, и, пока не выехали за Изюм, не переехали мост, не поехали полями, была Мария с открытым ртом, кляла этих людей. Уж далеко от Изюма устала Мария и покорилась, и ее перестали держать. И снова, как после того, что сотворил с ней Гриша в сарае, впала она не в сон, а в беспамятство. Вроде бы все видит, но ничего не понимает. Помнит она, что в каком-то селе из всей партии детей осталось только двое — она и девочка постарше. Девочку куда-то повели, а Марии сказали:

— Останься здесь, подожди.

Однако ее теперь никто не караулил, и как только она осталась одна — убежала.

Выбежала за село и пошла по дороге, и как вышла она среди полей — впервые одна-одинешенька, поскольку хоть редко кто из родных с ней рядом был, но в пути Вася всегда был рядом, как вышла она одна среди полей — почувствовала в мире перемену и смотрит — снег идет... Ах ты, Боже мой, думает, как же в такой холод, да еще голодная я Изюм найду, где Вася остался. Закуталась она теснее в кофту старую, которая на ней была, лицо в ворот уткнула, чтоб дыханием грудь согреть, и пошла.

Идет и видит — поля белыми становятся, — сыпет и сыпет снег, и чем больше сыпет снег, тем больше голод донимает. Земля под ней белая, чистая, а небо чуть потемней, но тоже белое, снежное, и движется среди всей этой белизны Мария черным убогим пятном. Если б могла она сама себя понимать, то именно сейчас ощутила б, до чего ж ее жизнь лишняя в мире и до чего ж она портит красоту. Но, к счастью для себя, не могла Мария ни себя видеть со стороны на фоне первого снега, ни себя понимать со стороны подобно личностям философствующим. А если б могла философствовать, то ужаснулась бы, что никому до сих пор не нужна была, даже брату Васе, и от ее существования получил удовольствие только человек дурной, а именно Гриша, изнасиловавший ее в сарае. Такие безысходные, не из трактатов, человеческие мысли и являют тот редкий плодотворный атеизм, который угоден Творцу более, чем холодное псалмопение или распространенное идолопоклонство. Однако от Марии ее собственная душа и ее разум были отделены бесконечным пространством, но безмолвное сердце, лишенное Божьего дара слова, сердце ее было рядом с ней, и она заплакала, не имея ни слов, ни понятий, а одни только лишенные смысла звуки.

Плач этот не был тем частым, обычным плачем, которым плакала она еще недавно, когда ее уводили от Васи, не крикливый с проклятиями, бессмысленный, ничего не дающий плач. Это был Божий плач, от сердца, которым иногда Господь награждает неразумных, подменяя этим плачем великие истины, доступные лишь пророкам. И нищая девочка Мария, от которой отказалась мать и старшие брат и сестра, которая потеряла младшего брата Васю и отсутствие которой на Божьем свете могло лишить удовольствия только насильника, воспользовавшегося ее телом в сарае, через Божий плач среди белого неба и белой земли возвысилась и достигла этим неразумным, но сердечным плачем утешения Господа, которое произнес он через пророка Исайю:

— Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас... И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень...

Без слов прочла она это наставление Господа и без разума поняла. Утешенная этим отпущенным ей драгоценным даром — Божьим плачем, — успокоенная, с облегченным сердцем, прошла Мария снежным полем и вышла к каким-то заснеженным станционным строениям. Это был не Изюм, а станция Андреевка.

«Не беда, — подумала Мария, успокоенная сердцем, — здесь я всегда сумею прокормить себя подаяниями и, может, что-то придумаю... Надо ли мне добираться в Изюм? Может, брата моего Васи там уже нет, может, его еще с утра не было, когда я, как безумная, бегала то на базар, то по городу. Может, подался он с другом своим Ваней куда-либо на воровство в другой город. И хоть тяжко, что я недосмотрела за ним, но, может, мать, когда найдется, и брат Коля, и сестра Шура поймут, что я и за себя не могла постоять, и проявят снисхождение к моей вине».

Подумав так, Мария совсем успокоилась и решила отправиться на сбор подаяния у местных пассажиров станции Андреевка, поскольку была сильно голодна. Но как не у каждого дома просила Мария подаяния, так и не у каждого поезда она просила. Если видит — проходит поезд битком набитый и люди там в лохмотьях, как и она сама, а вещи их в мешках да корзинах упакованы, — не идет Мария, лучше в тепле посидеть на скамейке. А как видит — поезд богатый, народу немного и с чемоданами, — идет просить.

Вот приходит такой поезд богатый, и пошла Мария просить к этому поезду. Видит она, из вагона выходит молодой дяденька с блестящим чемоданом в руке, а рядом с ним выходит молодая тетенька без чемодана. Хотела было Мария у них просить, но вдруг оробела. Никогда еще Мария таких красивых людей не видела, а запах от них — как будто медом пахнут. И сама не знает, почему пошла Мария следом за ними. Идет и слышит, как молодой дяденька говорит молодой тетеньке:

— Я этим поездом на Харьков не поеду, а поеду через Курск в Льгов.

И тут Мария за голову схватилась. «Господи Боже ты мой... Ведь у нас в Льгове старшая сестра Ксения работает в доме отдыха». Вроде бы помнила о том Мария и вроде бы не помнила. Но сказал о Льгове молодой дяденька, точно вспомнила.

Меж тем молодая тетенька ушла и молодой дяденька один остался. И заплакала Мария. Конечно, не так она плакала, как среди снежного поля, не сама по себе, а умышленно, чтоб привлечь внимание. Молодой дяденька посмотрел на нее и спрашивает:

— Девочка, чего ты плачешь?

— Отстала я от матери, — говорит Мария, — а в городе Льгове живет моя старшая сестра Ксения, работает в доме отдыха, но нет у меня денег доехать...

— Значит, ты голодная? — говорит молодой дяденька.

— Да, я голодная,— отвечает Мария.

— Тогда пойдем сперва в буфет, я тебе куплю поесть,— говорит молодой дяденька.

На станции Андреевка буфет маленький, не как в городе Изюм, но молодой дяденька что-то сказал официанту, и тот сразу жареную курицу принес и бутылку вкусной сладкой воды. Ест все это Мария, а сама на молодого дяденьку смотрит и от того, что красотой его отвлечена, даже вкус жареной курицы не ощущает.

Надо заметить: после того, что сотворил с ней Гриша в сарае, произошла в ней какая-то перемена. Вроде бы живет Мария — ест, пьет, спит и нет никакой перемены, а вдруг почувствует — есть перемена, и была эта перемена ей приятна. Так приятна, что временами хотелось ей опять в темном сарае очутиться на отшибе, среди поля, но не с Гришей, а с кем-либо другим, с кем же, не знала... Теперь же, как увидела молодого дяденьку — поняла, вот с каким очутиться бы в сарае, и пусть даже больно будет, она б не защищалась и не кричала. И явилась у нее мысль — не ехать в Льгов к Ксении, а пристать к этому молодому дяденьке. Но как сказать ему это, не знает. Молодой дяденька меж тем говорит:

— Кушай, девочка, быстрей, времени мало. Сейчас со мной пойдешь.

Обрадовалась Мария, обглодала косточки, выпила всю бутылку сладкой воды и только после этого опомнилась, стыдно ей стало.

— Извините,— говорит,— я все съела, вам не осталось.

А молодой дяденька смеется, зубы у него белые, ровные, блестящие.

— Ничего,— говорит,— я потерплю.

Пошла Мария за молодым дяденькой, идет, и от радости ей впервые за много дней петь хочется. Надо заметить, что Мария раньше пела вместе с мамой и сестрой Шурой. «Ніч, яка місячна» пели или — «Наливайте мне да кружку чаю, до свидания, да я въезжаю». Эта песня про чай, видать, не к добру пелась, про остальные же песни приятно было вспомнить. И так идет Мария следом за молодым дяденькой и предается приятным воспоминаниям. Подходят они к вагону, и, как увидела его молодая тетенька из окна, выбежала на перрон, обняла и плачет, точно они давно не виделись. А молодой дяденька говорит молодой тетеньке:

— Валя, довези эту девочку до Харькова, а там она попросится до Курска и оттуда в Льгов, где у нее сестра.

Молодая тетенька сразу руки с плеч молодого дяденьки сняла, слезы со щек кружевным платочком вытерла и говорит:

— Ты ведь сам едешь в Курск, а оттуда в Льгов.

— Я еще нескоро поеду,— отвечает молодой дяденька,— а этой девочке скоро надо... Мое ведь место освободилось... Вот тебе деньги,— и достает деньги.

— Не надо мне денег,— отвечает молодая тетенька,— пусть едет.

И вошла Мария в вагон неописуемой красоты — весь шелком обтянут, с зеркалом и мягкими скамейками. Села она у окошка возле занавесочки кремовой и на молодого дяденьку поглядывает. А молодая тетенька с другой стороны села и в окошко вроде бы не смотрит, но видит Мария, что нет, нет, да посмотрит, нет, нет, да посмотрит. Ага, думает Мария со злостью, хоть я от молодого дяденьки уезжаю, но и ты уезжаешь... Пусть ни тебе, ни мне.

Тут поезд пошел, точно на руках понесло Марию, так мягко ей было и шума никакого.

— Тебя как зовут? — спрашивает молодая тетенька.

— Мария.

— А сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Ты деревенская?

— Да,— отвечает Мария,— село Шагаро-Петровское, хутор Луговой.

— Тебе, наверное, еще и четырнадцати нет,— говорит молодая тетенька,— лет двенадцать тебе... Счастливый возраст, без мужчин и страданий.

И больше она ни о чем с Марией не говорила, сидит в углу и молчит, а иногда кружевной платочек к глазам приложит острыми, как иглы, пальцами с красными ногтями. Только как приехали в Харьков, молодая тетенька с Марией заговорила.

— Вот тебе деньги,— говорит,— пойди и купи себе билет до Курска, а там купишь себе билет до Льгова.

— Спаси вас Бог,— отвечает Мария, как учила ее благодарить мать,— но только дайте мне еще и хлеба Христа ради... А то дорога дальняя, кто его знает, выпрошу ли я, какие люди попадут.

— Здесь денег больше, чем на билет надо,— отвечает молодая тетенька,— купишь себе хлеба и колбасы... А у меня хлеба нет, я сама голодная...

Поблагодарила Мария еще раз и ушла, больше она эту молодую тетеньку не видала. Пошла она на вокзал, и теперь он уже не показался ей таким большим, хоть и был по-прежнему красивый. Узнала она и скамейку, где мать ее сидела возле мешка, и узнала лестницу белую, блестящую, по которой они с Васей бегали. Вот и деревья диковинные в кадках... Клубок подкатил ей к горлу, и она заплакала, и плакала она горько, но так, как в снежном поле плакала, по дороге к станции Андреевка, не смогла плакать, и потому после плача было ей по-прежнему тяжело в груди и печально. Денег бумажкой ей никогда не подавали, но подавали медяками, и она знала, куда обращаться, чтоб купить хлеба и колбасы, а куда обращаться, чтобы купить билет, не знала. Но молодой дяденька, которого она выбрала из многих людей, чтоб спросить, показал ей, где покупают билеты, и она купила твердую зеленую карточку.

Этот молодой дяденька не был так красив, как тот, на станции Андреевка, однако вид его тоже был приятен Марии, и, может, если б она осталась с ним в темном сарае, то тоже не закричала б...

Колбаса, которую купила Мария, была тверда и черна и после жареной курицы в буфете станции Андреевка была Марии неприятна, ибо она была разбалована уже богатыми подаяниями и не потому, что богатого стало много, а потому, что Мария научилась просить в определенном месте и у определенных людей.

— Что, не нравится колбаска? — сказал ей какой-то мужчина в шинели и обмотках, с красным лицом, будто стоял он на сильном морозе.— Я когда-то верхом на этой колбаске ездил... Как в песне поется: «А конница Буденного пошла на колбасу»,— он засмеялся.— Не нравится конская колбаса, мне отдай...

Мария отломила кусок и впервые в жизни своей не приняла подаяния, а сама подала и, как подала,— поняла, как это приятно и какое удовольствие делают себе люди, которые подают... Не нищие должны благодарить тех, кто подает им, а те, кто подает, должны благодарить нищих за то, что они своим существованием доставляют удовольствие.

Хоть мужчина и был грязен, но пахло от него приятно, как и от молодого дяденьки на станции Андреевка, одеколоном. Взяв трясущимися руками поданную Марией конскую колбасу, он сразу же начал грызть ее. Марии он был приятен, лишь когда подала ему, а потом, когда он грыз колбасу, стал неприятен, и она отошла и подумала горько: «Вася и такой колбасы не имеет. Разве воровством много получишь, только побьют, а подаяние собирать я его не научила». Однако горечь о Васе уже не была такой жгучей, как в Изюме, во время их разлуки, была уже более себе подчинена. И если б Мария обучалась философии, то поняла бы, что горечь ее теперь стала оптимистична, ибо всякий оптимизм, даже всемирный, существует ради собственных интересов. Ничего, думала Мария, разыщу Ксению, та Васю найдет быстрей, чем я, поскольку уже давно не деревенская, в городе живет. Хлеб у нее был, колбаса, хотя и конская, тоже была, и поехала Мария согласно своему билету в Курск. Всю ночь ехала на собственном месте, барыней сидела, и локтями тех, кто напирал на ее место, отталкивала.

В Курске тоже народу много и деревья в кадках, но Мария уже привыкла, меньше посторонним интересовалась, а думала, как ей добраться в город Льгов и как подаяние получить, поскольку харьковские хлеб и колбаса кончились. Однако избалованная легкими подаяниями в городе Изюме, удачной встречей с молодым дяденькой на станции Андреевка и проездом в богатом вагоне, Мария, видно, разленилась и стала просить, как Вася просил, без души. И никто ей в Курске не подал, а какая-то жен-

щина, к которой Мария подошла с именем Христовым, вдруг ударила Марию по лицу. Мария убежала и спряталась за ящиками в конце платформы, но не плакала, а думала, как ей добраться к Ксении в Льгов, ибо денег на билет у нее уже не было, напрасно она покупала колбасу, да и хлеба можно было меньше купить или вообще не покупать, а выпросить. Что касается женщины, которая ударила ее по лицу, то Мария себя успокоила: «Ничего, это она по ошибке меня за воровку приняла...» Но тут же пригорюнилась: «Вот так, наверное, Васю каждый день. Быстрей надо ехать к Ксении, чтоб та Васю разыскала».

Вдруг видит Мария — двое мальчиков каких-то грязных ее возраста, а с ними девчонка.

— Это ты, — говорит один мальчик повыше ростом, — у тетки чемодан своровала?

— Нет, не я, — отвечает Мария.

— Чего ж ты здесь сидишь? — спрашивает девчонка.

— Где ж мне сидеть, — отвечает Мария, — если мне в город Льгов надо, а денег на билет нет.

Тут оба мальчика и девчонка рассмеялись и говорят:

— Поехали с нами в Льгов... Вот поезд подан, — и показывают на платформы с песком.

Конечно, огольцы, думает Мария, но ехать-то надо... Пристанут, кричать начну.

Залезли на платформу, поехали.

— Давай, — говорит мальчик повыше, — к нам прижимайся, а то дуба дашь.

Мария сперва отдельно сидела, но ветер на открытой платформе до кости бьет. Полезла в общую кучу. Только присела, начал ее мальчик, который повыше, щипать, другой мальчик уже давно девчонку из своей компании щипал, под юбку ей руку совал. Мария думает: «Пусть щипет, что сделаешь, но под юбку не пущу», — и сжала коленки. Видит Мария, силы в нем нет мужской, как в Грише, коленки он ей не разожмет. Мальчик и сам это понял, говорит:

— Давай с тобой любовь крутить. Зачем тебе сестра в Льгове, у меня вон отец в Харькове, и то я от него убежал. Ездить будем по поездам, жить хорошо будем.

Мария, конечно, понимает, на что он подбивает, но притворяется дурочкой.

— Нет, — говорит, — мне надо сестру в Льгове найти, чтоб она помогла мне брата Васю разыскать.

Пока так говорили — уже и Льгов.

— Извините, — говорит Мария, — спасибо за компанию, — и соскочила с платформы.

— Ух ты, стерва, — говорит мальчик и хочет за ней погнаться.

Но Мария предупредила:

— Я крик подыму. — И он не стал за ней гнаться.

В городе Изюме то дождик помочит, то солнышко припечет, а здесь, понимает Мария, в городе Льгове на улице не поночуешь — снег, и в вокзале холод, вокзал маленький, хуже, чем на станции Андреевка. Если, думает Мария, сестру Ксению не найду, конец мне... Кто в дом пустит обогреться?.. Или самой придется в приют проситься, а этого я больше всего боюсь.

Спросила она у какого-то прохожего про дом отдыха.

— Какой, — говорит, — тебе, девочка, дом отдыха?

— Как какой?.. Где моя сестра Ксения работает.

— А в каком она работает? Есть дом отдыха «Круча», а есть имени Десятого партсъезда.

— Я не местная, — говорит Мария, — не знаю.

— Тогда иди в «Кручу», а там уж видно будет, — и дорогу ей показал.

Пошла Мария среди сугробов, ибо в городе Льгове улицы узкие, домики низенькие, а ночью, видать, метель была. Идет Мария и дрожит от холода, холод такой, что даже остановиться невозможно, осмотреться и сообразить, где в Льгове удачнее подаяние собрать можно, поскольку последние остатки богатых подаяний из нее ушли, выветрились, последние соки

от прошлых удач были потрачены и стала Мария опять самой что ни есть голодающей, как у себя на хуторе... Тут и траве-рогоз будешь рада, если б сезон для нее... Но притом не теряет Мария надежды, что уж близко от богатой сестры находится... Вообразила себе Мария, что Ксения богатая. Раз, думает, она нашей бедной сельской семьи не признает и о себе ничего не сообщает, значит, богатая.

Приходит Мария на самую окраину города, где уже река замерзшая и только по крутому берегу можно эту реку отличить от белых полей, которые за рекой начинаются. Видит — забор как возле их хаты, в санатории... Хотела пройти в ворота, а ее старик останавливает.

— А ну, иди отсюда.

— Дедушка, — говорит Мария, — я не за подаянием... У меня здесь сестра работает, я к ней издалека приехала.

— Какая сестра?

— Ксения.

— А фамилия как?

— Фамилии не знаю.

— А ну, иди отсюда.

— Дедушка, — говорит Мария, — приехала я издалека, с хутора Луговой... Отец у нас помер в прошлом году, поскольку год был голодный. И нас с матерью осталось пять душ детей. А хата у нас завалилась, и управление колхоза дало нам другую хату, близ тамбы, и наша мать оставалась в этой хате, поскольку все мы пухлые были, менять у нас не осталось ни одной тряпочки, что на нас, что под нами и, кроме лохмотьев, ничего.

— Ладно, — говорит старик, — иди в контору и спроси про свою сестру, — и пропустил Марию.

Вошла Мария, смотрит, дом красивый, старинный, белый и сад кругом, весь в снегу, и по саду этому прохаживаются старики и старушки. Боязно стало Марии у них спрашивать. Думает: «Тот старик поверил, а эти могут не поверить и прогонят. Куда ж я денусь?» И пошла она наугад, а именно на запах каши и жареного лука. Подходит к крыльцу, навстречу толстая женщина ведро помоев выносит горячих, и от ведра пар идет. К толстым людям у Марии больше было доверия, чем к худым, у толстого всегда лишнее есть, а худой редко чем поделится, худому самому подай.

— Тетенька, — говорит Мария, — где тут моя сестра Ксения?

— Коробко? — спрашивает женщина.

— Да, — обрадованно отвечает Мария, а сама про себя думает: «Раз Ксения, значит моя сестра, хоть и Коробко».

— Она больше здесь не работает, — отвечает толстая женщина, — она еще на первое мая уволилась и уехала из города.

Тут Мария начинает плакать, да так горько, навзрыд, и толстая женщина следом за ней начинает плакать прямо с ведром в руках. А потом говорит:

— Не плачь, девочка, поскольку я Ксении была подруга и знаю ее адрес... Поехала она в город Воронеж, вышла замуж за одного нашего отдыхающего.

— А как же я до города Воронежа доберусь? — говорит Мария и продолжает плакать.

— Пойдем, — отвечает толстая женщина, — я тебя супом накормлю, а там видно будет.

Приводит она замерзшую, дрожащую Марию в помещение для мойки посуды, усаживает ее на табурет и дает ей железную миску горячего супа. Надолго запомнила Мария эти пухлые, распаренные в воде руки с короткими пальцами, которые подали ей тарелку горячего супа на табурете в теплом углу, ибо было в этих руках для Марии Божье... Не навсегда запомнила, навсегда и не надо, навсегда только Самого помнить надо, а не Его проявления, но надолго запомнила... Есть доброе, которое от людей, которое не освящено Высоким. Жареную курицу на станции Андреевка Мария без всякого чувства съела и деньги от красавицы в поезде без чувства приняла, как принимала она обычно грошовые подаяния — хлебную корку или пятак... Но тарелку вчерашнего супа в углу посудомойки она приняла с торжеством, ибо торжество было в плаче ее среди заснеженного поля по дороге на станцию Андреевка, торжество было и в благодарности

за вчерашний разогретый суп, поданный в городе Льгове. Здесь не было добра человеческого, но добро Божье...

И опять, уже во второй раз, без слов прочла Мария наставление Господа и без разума поняла то, что открывается пророкам постоянно через их праведность и разум. И услышала она без слов и поняла без разума сказанное через пророка Исайю:

— Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот Я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней.

А толстая женщина по имени Софья, безграмотная посудомойка, которая добра была не человечьим, но Божьим даром, уже не впервые слышала Господа без слов и понимала Его без разума. И сейчас не разумом своим, который был у нее косноязычен, но безмолвным сердцем через пророка Исайю поняла она.

— Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся.

И сняла Софья ватник свой, висевший в углу, подала его Марии и говорит:

— Надень, а то замерзнешь. — И еще говорит: — Сменюсь я с работы, пойдем с тобой на станцию и упрошу я кондуктора, чтоб довез тебя в город Воронеж, поскольку денег на билет у меня нету.

Сменилась Софья к полудню, и за это время она еще два раза кормила Марию — пшенной кашей с жареным луком и макаронами, а с собой дала кусок хлеба и кусок селедки.

Как пришли Мария с теткой Софьей на станцию и дождались поезда, сразу тетка Софья велела Марии пригорюниться, а может, даже поплакать. Но как ни пыталась Мария плакать, на сей раз не плакалось.

— Ладно, — говорит тетка Софья, — может, и без плача кондуктора уговорим.

Выбрала она кондуктора на глазок, да не тихого, который ласково всем отказывал, ибо вагон битком, а того, кто всех ругал и толкал. Подошла к нему тетка Софья и начала без всяких предисловий рассказывать про горести Марии.

— Тебе чего надо? — прерывает тетку Софью сердитый кондуктор. — Чего ты мне истории рассказываешь, я сам тебе могу рассказать.

— Довези, — говорит тетка Софья, — девочку к сестре в Воронеж.

— А ты ей кто будешь?

— Никто, — говорит тетка Софья, — но теперь мы с тобой вместе ей родственниками будем.

Молчит кондуктор, но тетка Софья стоит рядом, не отходит. И Марии велит стоять. Когда кончилась посадка, кондуктор говорит:

— Пусть лезет, где пристроится.

Обняла Софья Марию, поцеловалась с ней, перекрестила и говорит слова пустые, каждому доступные и многими произносимые, не Божьи, а человечьи.

— Храни тебя, — говорит, — Господь наш Иисус Христос.

И кондуктору тоже говорит. А тот отвечает:

— Брось ты, тетка, Христа твоего уж давно отменили декретом, а ты лучше за девчонку проси, чтоб ей контролер в пути не повстречался...

Ведь прав он, кондуктор вагона номер семь. Не Божьим словом, а Божьим делом силен простой человек. Божьим же словом сильны лишь пророки.

Так, Божьим делом посудомойки Софьи и кондуктора вагона номер семь Мария доставлена была в город Воронеж, куда поезд прибыл затемно, в самый разгар ночи. Думала сначала Мария дождаться утра на вокзале, а потом передумала: «Все-таки сестра». Спросила Мария у милиционера, дежурившего на вокзале, улицу, и оказалась эта улица совсем недалеко от вокзала. «Пойду», — решила Мария.

Улицы в Воронеже шире, чем в Льгове, и вообще Воронеж с первого взгляда ей понравился. «Чем-то на Изюм похож, — думает Мария, — в Курске плохо подают, а в Изюме хорошо подавали. Если не найду сестру, здесь в Воронеже перезимую. Если же найду сестру, тем более перезимую

с ее помощью». Идет Мария, так раздумывая, по улице, входит согласно адресу, ибо читать-писать она умела, до голодовки выучилась, входит в какой-то двор, где все тихо, темно, поскольку ночь, и народ весь спит. Подходит она к дверям, опять же согласно адресу, и начинает в эти двери стучать. Стучит она стучит, только никто не отпирает. Неужели уехала сестра, думает Мария с тоской, а может, не слышно, может, в окошко постучать, которое за углом.

Вдруг окошко это само собой распахивается и выскакивает оттуда человек в белых штанах, в валенки заправленных. Только как побежал он изо всех сил мимо нее, точно гонятся за ним собаки, поняла Мария, что это он не штаны, а кальсоны в валенки заправил. Растерялась она, а тут слышит, дверь отпирают. Быстрее к дверям — и видит, стоит ее мать, но очень помолодевшая и красивая, чем-то на молодую тетеньку похожая, которая Марию от станции Андреевка везла. Губы у матери накрашены и сама бледная, одной рукой свечу горящую держит, а другой ворот синего в золоте халата.

— Кто там? — спрашивает.

И как заговорила, сразу Мария поняла, что не мать это, а богатая, красивая сестра Ксения.

— Ксения, — говорит Мария, — это я, твоя сестра Мария.

Тут Ксения как крикнет, свечу уронила, обняла Марию, заплакала и повела ее в дом. И все оправдалось, как Мария предполагала. Дом богатый, в одной комнате шифоньер, диван — все это Марии было знакомо по домам, где широко подавали. А в другой комнате постель широкая, раскрытая, с двумя огромными подушками.

— Я думаю, кто это стучит ночью, — говорит Ксения и плачет. — Как же ты, сестричка, нашла меня?

Начала Мария рассказывать и про отца, который помер в прошлом году, и про хату, которая завалилась, и про Васю. Ксения спрашивает:

— Какой это Вася?

— Это братик наш, — отвечает Мария.

— А разве у нас есть такой братик? — говорит Ксения. — Я Колю знаю, и сестру Шуру, и тебя, но как уехала, ты совсем малая была, по полу ползала.

— У нас еще маленький братик Жорик есть, — говорит Мария, — только его сейчас дома нету. — И про Жорика тоже рассказала.

Что Мария ни говорит, Ксения плачет. Обо всем Мария рассказала, но про то, что сотворил с ней Гриша ночью в сарае, не рассказала, утаила. И про то, как видела человека, который в кальсонах из окошка выскочил, тоже утаила.

— Ладно, — говорит Ксения, — ладно, сестричка. Утром приедет мой муж Алексей Александрович, железнодорожный техник, он человек хороший, добрый, уговорим его, оставим тебя возле нас зимовать, а там видно будет...

И верно, утром приезжает Алексей Александрович, железнодорожный техник. Видит Мария, человек этот тепло одетый, в полушубке, в ватных штанах, в валенках, а как стянул меховой треух, голова лысая. Начала его Ксения обнимать и целовать, да так обнимала, что Алексей Александрович говорит:

— Дай мне сперва, лапушка, умыться, поскольку от меня мазутом воняет.

— А это, — говорит Ксения, — сестра моя Мария приехала к нам погостить.

— Пусть живет, — отвечает Алексей Александрович, — квартира просторная, места хватит.

Начала Мария жить. Встает на рассвете, темно еще за окном, ночь, и на теплой кухне, где Мария спала, приходится свечку зажигать, чтоб уборку начинать. Свечи где-то Алексей Александрович дешево доставал целыми ящиками и с их помощью электричество экономил. Первым делом Мария с полу свою постель убирала — старые теплые платки да пиджаки, чтоб пол на кухне мыть, потом обувь чистила, а уж как рассветет, она в комнаты идет, за стол садится вместе с Алексеем Александровичем и Ксенией, сладкого чаю попьет, хлеба поест со смальцем свиным или повидлом и опять за уборку, уже в комнатах... Незаметно время обеда прибли-

жается, когда Алексей Александрович приходит. Обед всегда был сытный и вкусный. Ксения хорошо готовила, она ведь в доме отдыха поваром была. То борщ, о котором, наверное, мечтала нищая старуха с их хутора, что ей когда-нибудь такой борщ подадут в богатом доме, то макароны с мясной подливкой, то котлеты с пшенной кашей, а то блины. Ест Мария и думает: «Эх, Васю бы сюда... он ведь тощий совсем. Да и мать нашу не мешало б сюда... И Шуру с Колей...»

После обеда начинала Мария посуду мыть и мыла долго под наблюдением Ксении. Сначала бак горячей воды вскипятит, чтоб с тарелок и вилок-ложек было чем жир смывать, а потом каждую тарелку, вилку-ложку холодной водой споласкивает.

И зимует так Мария в свое удовольствие. Как свободная минута — или с Ксенией на базар идет, или так просто на Воронеж смотрит. Хороший, думает, город Воронеж, не то что Курск, здесь не то что возле сестры, здесь и подаянием проживешь, не похудеешь. Зимует так Мария, зимует, и вот однажды говорит ей Ксения:

— Почистишь рабочие сапоги Алексея Александровича, поскольку он в командировку уезжает.

Начала Мария чистить сапоги, а они тяжелые, кожа толстая, двойная, плюс подкладка байковая, и к подошве железные подковки прибиты. Уж намучилась Мария, уж столько ветоши извела, столько гуталину, пока сапоги заблестели и кожа смягчилась. Надел Алексей Александрович сапоги, постучал ногами об пол и говорит:

— Ну, теперь я ноги не замочу. А то, ядрена корень, там иногда бывает — трубы прорвет и в валенках ноги промокнут.

Уехал Алексей Александрович, Ксения говорит:

— Ты, Мария, сегодня больше пол не подметай, а то плохая примета. Хочешь, пойди погуляй, а потом спать ложись.

Пошла Мария, погуляла немного по Воронежу, пока начало смеркаться, потом возвращается, видит — Ксения перед зеркалом сидит и лицо у нее такое красивое, что, пожалуй, молодой тетеньке, которая везла Марию со станции Андреевка, не уступит. Вот бы, думает Мария, мать наша Ксению сейчас увидела, то-то бы порадовалась.

— Мария, — говорит Ксения, а сама веселая, что-то напевает. — Мария, поешь котлет с хлебом и спать ложись. Сегодня уборкой заниматься не надо.

Поужинала Мария в кухне сытно и улеглась на мягких старых платках, быстро уснула. Проснулась она среди ночи от тихих разговоров и тихого смеха.

Алексей Александрович, думает, вернулся.

Разговор между тем вовсе притих, и вдруг слышит Мария — застонала Ксения. Заболела, думает Мария, заболела Ксения. Встала она к дверям, а двери заперты, из кухни не выйдешь. Стоит Мария у двери кухонной и слушает — стонет Ксения. Да так напевно стонет, словно от сильной боли радостную песню поет. И вспомнила вдруг Мария, как стонал Гриша в темном сарае, когда творил он над ней насилие. Неужели, думает Мария, и я такого не испытаю. Пропитание можно выпросить и ночлег для умелого человека добыть можно, а попробуй выпроси такое удовольствие. И охватил вдруг Марию озноб, будто она на морозе среди поля, хоть была она в доме на теплой кухне. И захотелось ей оказаться опять в темном сарае на соломе, если не с красивым молодым дяденькой со станции Андреевка, то хотя бы на худой конец с тем же Гришей. Второй раз, в лихорадке думает Мария, и я, может быть, научилась бы так приятно стонать.

Однако тихие стоны Ксении вдруг разом прекратились, и сразу начался шум неописуемый, точно кто-то хотел шифоньер из дома вынести, а тот в дверях застрял. Слышит Мария — кричат сразу несколько голосов и среди них Ксения. Причем, если бы разбиралась Мария в музыке, то поняла бы, что кричат эти голоса одну и ту же ноту и на членораздельную речь не переходят. Вдруг кухонная дверь распахивается, и на кухню врывается знакомый уже мужчина, которого Мария в первую свою ночь по приезде своем в Воронеж видела и который в окошко из Ксениного дома выпрыгнул, а Мария это от Ксении утаила. И опять он в белых кальсонах, заправленных в валенки. Ворвался — и к окошку. А следом за ним Алексей Александрович ворвался, тепло одетый, в ватных штанах, заправленных в вычищенные Марией сапоги. А следом Ксения вбежала совершенно голая. Хоть и страшно Марии от всего этого, но так она голой Ксенией поражена, что глядит на нее, глаза вытаращив, и с собой невольно сравнивает. Груди у Ксении молочные, тяжелые, торчком, а в конце каждой груди длинный красный сосок, точно пальчик у Жорика-младенчика. У Марии же вместо грудей — бугорки, которые нащупывать надо, и сосок, словно прыщик. Тело у Ксении тоже молочное, без костей, живот и ноги крепко между собой соединены, и как она от стыда сейчас отказалась вследствие беспощадной драки между двумя одетыми мужчинами, так не срам обнажился, а красота ее обнажилась, нет-нет, да и посмотрит то один дерущийся на нее, то другой, и дерутся уже не так беспощадно. Вбежала Ксения голая, а точно одетая, выбеги же голая Мария и осталась бы голая — засмеяли бы. Ноги у Марии костлявые, а живот ниже ребер, и там, где у Ксении красота, у Марии обнаженный срам. Раньше Мария о том не думала, а как сотворил с ней насилие Гриша в сарае, начала думать и вот теперь поняла, глядя на Ксению, что ежели она, Мария, в будущем кого-либо к себе допустит, то только в темноте. Ксения же и на свету может...

Так через Гришу и через дальнейшее приобщилась Мария к третьей тяжкой казни, которую посылает Господь на людей и о которой говорил пророк Иезекииль. Третья тяжкая казнь Господня — зверь, ему же имя похоть. Третья казнь Господня особая, ибо меча, и голода, и болезни пророки не страшатся, а зверя страшатся. Царь Соломон, праведник, казним был третьей казнью. И Дан, Аспид, Антихрист, знал, что, идя дорогой земной, первой казни — меча — ему страшиться не надо, ибо он бессмертен, второй казни — голода — страшиться не надо, ибо пастушья сумка его полна нечистого хлеба изгнания, четвертой казни — болезни земной — ему страшиться не надо, ибо лишь карам Господним он подвластен, а третьей казни — прелюбодеяния земного — ему надо страшиться.

И Моисей, который вел народ из египетского угнетения, говорил, что третья казнь будет, и Неемия, который много веков спустя вел народ из вавилонского угнетения, говорил, что третья казнь уже была. Ибо если Моисею еще неизвестна была судьба царя Соломона, праведника, но Неемии уже была известна, и была она уже для него притчею.

— Не из-за них ли, — говорил Неемия, — грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех и его...

Однако в чем же тайна третьей казни Господа? Почему подвержены ей не только грешники, но и праведники? Потому что меч, и голод, и болезнь лишь терзают, а дикий зверь, терзая, плодоносит. Потому что в третьей казни не только плевел, но и пшеница. Потому что ни разум, ни праведность от нее не спасут. Насильники над телом, аскеты, не спасут: они ведут лишь к уродству, видному на примере александрийских монахов, которыми средневековые христиане подменили облик Иисуса из колена Иудина.

Третью казнь в негодовании на женщину за яблоко из Эдема передал Господь в руки сильному нечестивцу, и потому бороться с ним можно лишь непротивлением злу насилием, как учил пророк Иеремия и как укрепил это учение спустя семь веков Иисус из колена Иудина. Однако спастись можно лишь при оговорке пророка Иеремии — отдать все нечестивцу, но от нечестивца унести в качестве добычи собственную душу. Любовь и придумана, чтоб взять добычу от нечестивца — прелюбодеяния, взять собственную душу. Чтоб отделить пшеницу от плевел и, отдав дань зверю — похоти, сохранить плодоносность. Но ради такой любви необходимо исполнить Божье проклятие и преодолеть свой, соблазненный змеем разум. И если разум этот велик, то и праведник изнемогает, как изнемог царь Соломон, в котором женщина победила Бога. Однако малый разум еще более препятствует духовному труду, поскольку с уменьшением разума уменьшается и потребность его преодолеть и возрастает тяга к праздности. А высшее проявление духовной праздности есть зверь — похоть. Так было и в древности.

— Подними глаза твои на высоты, — говорил с тоской пророк-мученик Иеремия, — и посмотри, где не блудодействовали с тобою? У дороги сидела ты для них и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим.

За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего; но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд.

— При начале всякой дороги устроила себе возвышения, — говорил и пророк-изгнанник Иезекииль, — позорила красоту твою, и раскидывала ноги для всякого мимо ходящего, и умножила блудодеяния твои.

То же, но на свой воронежский манер думал и Алексей Александрович, железнодорожный техник. Размахнулся он и ударил мужчину в кальсонах по зубам.

— За что бьешь? — спросил мужчина в кальсонах, вытирая кровь.

— За подлость твою, — пояснил Алексей Александрович.

— Ее бей, — сказал мужчина в кальсонах, — я лишь ее просьбу исполнял.

Тут Алексей Александрович ударил сапогом, тем, который Мария чистила, с подковами железными, тяжелым, словно камень-булыжник. От такого удара мужчина в кальсонах, заправленных в валенки, пошел, как на параде, мелким церемониальным шагом спиной вперед, ударился об окошко, вышиб стекло и нырнул в оконный проем валенками кверху так, что его на кухне мгновенно не оказалось, а остались на кухне только тепло одетый и в сапогах Алексей Александрович и голая, босиком, Ксения, поскольку Мария, всеми забытая в углу на полу, была не в счет. Остались муж и жена фактически с глазу на глаз. Минуту-другую смотрел налитыми глазами на Ксению Алексей Александрович, даже треуха не сняв. Потом протянул руки свои, чтоб схватить ее для расправы. Ксения этому не препятствовала, только лишь увернулась движением полных бедер от захвата за горло, и вместо горла Алексей Александрович в беспамятстве, очевидно, начал душить тяжелую, молочного цвета грудь Ксении, отчего сосок, длинный, как пальчик младенчика, напрягся, второй же рукой Алексей Александрович подхватил Ксению за пышную красоту ее, гикнул, оторвал от пола, как тяжелый ящик с путейским инструментом, упираясь ладонью в низ круглого Ксениного живота, и унес из кухни, причем Ксения, которую несли, своей полной рукой, с ямочкой на локте, плотно заперла по ходу движения кухонную дверь.

Некоторое время за этой дверью слышен был шум, Ксения всплакнула, но ненадолго. Вскоре стало тихо, а потом Ксения вдруг застонала опять напевно. Так, потеряв любовника, Ксения соблазнила мужа... И опять Марию охватил озноб, но озноб гораздо более сильный, чем ранее, озноб от всего произошедшего, да и от выбитого окна дуло.

Мария всю ночь не спала, стараясь согреться, и все старые платки, которые на пол стелила под себя, на себя намотала, ходила из угла в угол. Утром, поздно уже было, входит наконец Ксения на кухню, лицо мятое, заспанное и некрасивое, а каждый день до этого оно всегда красивое было.

— Вот что, — говорит Ксения, и некрасивое лицо ее морщится, — решили мы с Алексеем Александровичем тебя домой отправить в деревню. На поезд тебя посадим, денег дадим и провизию... Согласна?

— Согласна, — отвечает Мария.

Только сказала она «согласна», как и впрямь захотелось ей свою хату повидать да хутор свой, где против их хаты цветник для сбора ягод и грибов. Дальше церковь и рядом клуб, а под бугром течет речка и водяная мельница на ней. Речка течет в другое село — Ком-Кузнецовское, и идет тамба в город Димитров, а через тамбу — заказ.

— Я и раньше, — говорит Мария, — стремилась домой попасть, только мы с Васей никак села своего найти не могли. Во многих селах были, а своего не нашли. И провожатый у нас был специально назначенный, — но больше про провожатого Гришу Мария распространяться не стала.

— Как же, — говорит Ксения, — разве ты не знаешь — село наше Димитриевского района.

— Что в город Димитров по тамбе можно дойти — знаю, а что это район — не знаю, — отвечает Мария. — Родители наши с нами никогда не занимались, им было не до нас.

У Ксении узнала Мария, что мать их зовут тоже Мария, а отца звали Николай, как брата.

— Однако меня пугает, — говорит Мария, — что брат Коля и сестра

Шура будут упрекать меня, почему я оставила Васю в чужой стороне и недосмотрела за ним.

— Не виновата ты, — отвечает Ксения, — не ты виновница, что раскидало нас всех и нашу судьбу.

Сказав это, она оглядывается на плотно закрытую кухонную дверь и говорит шепотом:

— Вот возьми, и, чтоб никто не знал, спрячь поглубже и береги, поскольку здесь деньги. Тебе я деньги особо дам и провизию по договору с Алексеем Александровичем, а это деньги лично от меня матери. Если же матери дома нет, то передай их Коле и Шуре. — Протягивает она Марии пакет и говорит: — Спрячь это себе в трико, но, как будешь ходить по нужде, — не потеряй.

Так и сделала Мария, и проводила ее Ксения на поезд прямо из кухни, так что Мария более в комнатах не побывала и с Алексеем Александровичем не попрощалась. С Ксенией же попрощалась душевно. И обнимала ее Ксения, и целовала, и плакала, и махала рукой, пока не исчезла из виду. И вместе с ней исчез и красивый город Воронеж.

Поехала Мария на собственном месте и собственных хлебах, причем меж ног ее резинкой прижат пакет с деньгами для матери от Ксении. Едет Мария и ни с кем не общается, чтоб деньги сберечь, и хлебом с колбасой не делится. Ежели б кто попросил, поделилась бы, а самой от себя — не хотелось. Лучше Коле и Шуре остатки привезу, думает. У них там на хуторе голодно. Но у Марии никто хлеба не просил, и про деньги никто не догадался.

Приехала Мария в город Димитров, явилась среди знакомых мест, и от радости даже слезы потекли. Всюду по-разному, думает, Курск — плохой город, Льгов получше, Изюм и Воронеж совсем хорошие, но как у себя дома — нигде. Пошла Мария по городу Димитрову и узнала дом, где мать их, тоже Мария, им соломки подстелила и оставила, пока на базар сходит за сушеными сливами, а в это время чужая тетка забрала брата Жорика. Вышла Мария за город, пошла по тамбе и узнала место, где чужак им хлеб подал, а мать чего-то испугалась, забрала этот хлеб и выбросила его в поле. И чем дальше идет, тем больше родного узнает. Вот он заказ, белый весь, блестит на солнце, ветви под снегом гнутся. Вот речка, и колеса водяной мельницы ко льду примерзли. Вот уже церковь видна на бугре. Ничего чужого не увидела Мария, как тогда, когда искала свое село с Васей и провожатым Гришей, изнасиловавшим ее в сарае. Тогда только чужое видела, незнакомое, теперь же все свое. Вот оно, село Шагаро-Петровское, зимнее, заснеженное, красивое, из хат дым. А на улице народа уйма с флагами, все толпой идут. И слышит Мария такой разговор меж человеком, которого она смутно признает, но не до конца, и местным мужиком, которого она в лицо знает.

— Что это за праздник? — спрашивает человек.

— То, товарищ, не праздник, а партийные похороны, — отвечает мужик.

— Кого же хоронят?

— Петра Семеновича, бригадира, хоронят после убийства, — отвечает мужик.

— Кто ж убил?

— Мельник и убил, больше некому, — говорит мужик, — мельник и младший его сын Лешка, за старшего сыночка Митьку, которого Петро Семенович удавил... Да так убил, что лежал Петро Семенович не как мертвец, а как говядина или свинина на мясном прилавке в городе Димитрове в богатое время. Теперь мельника с сыном Лешкой к расстрелу судить будут, в Харьков повезли.

Слышит все это Мария, но кто тот, кто спрашивает, не признает. А Петра Семеновича вспоминает. И хоть жалеет его, но не плачет. И замечает, что все вокруг жалеют Петра Семеновича, но никто не плачет, а несут его молча в закрытом гробу. Мария мимо прошла, и вот уже хутор Луговой, забор санатория, цветник в снегу, против него хата родная. Ох как сердце забилось, как захотелось, чтобы открыла дверь мать Мария, обняла, поплакала, как Ксения, когда провожала, а рядом с ней брат Вася, который кинул свое воровство и вернулся домой раньше...

Но дверь открыла сестра Шура.

— Ты откуда? — спрашивает.
— Я в городе Воронеже была, — отвечает Мария, — у сестры Ксении.
— А Вася где?
— А Вася, — говорит Мария, — в городе Изюме потерялся.
И случилось то, чего Мария больше всего боялась, упрекнула ее сестра Шура:
— Квк же ты могла оставить Васю на чужбине? — говорит.
И молчит Мария, нечего ей ответить. Брат Коля тоже из хаты голос подал:
— Кто там?
— Это Мария вернулась, — говорит Шура, — а Вася в дороге отстал.
И Коля тоже упрекнул:
— Как же ты за Васей недосмотрела? Что ж мы будем в письме отвечать матери нашей, которая спрашивает про тебя и про Васю?
Мария как услышала про письмо матери, сразу свою обиду забыла.
— Где ж наша мать? — спрашивает.
— Мать наша, — отвечает Коля, — в городе Керчь... А ты почему у Ксении не осталась, что она, бедно живет, не прокормить ей тебя?
— Нет, — отвечает Мария, — Ксения живет не бедно, даже вам денег прислала, я же вернулась, поскольку по родной хате скучаю. — И после этих слов достает она из трико пакет и отдает его Шуре.
Взяла Шура пакет, и начали они с Колей деньги считать. Шура говорит:
— Ксения всегда устроится сытно и в богатстве, а тут пропадай... Она как в двадцать третьем году убежала в четырнадцать лет с фотографом проезжим, так и не была с тех пор дома... Она что ж, и теперь с фотографом живет?
— Нет, — отвечает Мария, — она живет с Алексеем Александровичем, железнодорожным техником, а до этого работала в городе Льгове в доме отдыха... Мне мать о том рассказывала.
— Мать ее всегда больше других баловала, — говорит Шура, — и отец, пока был жив, ее любил, я помню... А ты, раз пришла, садись, я тебе борща налью.
И налила Марии борща холодного, то ли горького, то ли соленого, думая, что Мария и за это будет благодарна, поскольку перед отъездом и такого борща не ели, а как начали ходить Шура и Коля на колхозное поле, хоть какое-то питание появилось, но, конечно, лишнего не было.
В том Мария убедилась очень скоро, поскольку начала она жить опять впроголодь, а просить не у кого, здесь тебе не Воронеж и не Изюм, здесь, на родине, еще хуже подают, чем в Курске. Красивы родные места летом, красивы и зимой, только осенью и весной, когда дожди, плохо, а зимой, как и летом, хорошо...
Перешла Мария заснеженную тамбу, на которой колеи от машин и телег, по тропинке к заказу пошла. Валенки и платок, которые Ксения ей подарила, греют, и ватник, который тетка Софья, посудомойка, в Льгове подарила, тоже, идти приятно, дышится легко. В заказе птица вспорхнет, снег с еловых ветвей посыпется, и так хорошо станет, так приятно. Только голодно и тоскливо одной. Раньше тоже ни мать, ни отец, пока жив был, ею не занимались, ни Шура, ни Коля, но с Васей они всегда вдвоем были, Васю она, можно сказать, вместо матери воспитала, а он ей, пока малый был, радость доставлял. И стала Мария сама себя в мыслях упрекать, что недосмотрела за Васей. Может, в Андреевке надо было не к молодому дяденьке приставать, а в Изюм пробираться, Васю искать...
В такой тоске вышла Мария из заказа, и видит она — над белым полем солнце малиновое горит. И стала она на колени, чему ее никто не учил, повернулась лицом к малиновому солнцу, протянула руку, как делала она, когда просила хлеба, и сказала:
— Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий!
И вспомнила Мария сказку доброго старика, ночного сторожа в конюшне города Изюма, про то, как евреи-жиды убили Божьего Сына, и плакала Мария навзрыд, ибо не знала, кто поможет ей спасти Васю, поскольку хоть и жив Сын Божий, но теперь на небе, а Вася ее на земле, в городе Изюме...

Меж тем по снежному полю шел человек и спросил Марию, как тогда на станции Андреевка спросил ее молодой дяденька.
— Девочка, — спросил он, — чего ты плачешь?
Ответила Мария:
— Я плачу оттого, что евреи-жиды убили Сына Божьего, и он теперь на небе, а Вася, брат мой, на земле, в городе Изюме, но помочь ему некому.
И сказал Дан из колена Данова, Аспид, Антихрист, словами Господа, произнесенными через пророка Исайю, небесными словами, в которых смысл всего, которые он берег на самый конец, но, идя мимо, вдруг понял, что пришло время употребить эти слова и позднее лишь многократно повторять их.
— Я открылся не вопрошавшим обо Мне, — сказал Дан через Исайю слова Господа. — Меня нашли не искавшие Меня... Те же, кто ищет, — добавил Дан, помолчав, — не найдут... Я открылся тем, кого избрал сам, а не тем, кто избрали меня... Те же, кто избрали меня, пусть вспомнят слова Брата Моего, Иисуса из колена Иудина, о своих злых детях и чужих добрых псах... Не отнять псам у детей куска, хотя бы и у злых детей... Только через веру они свой кусок получить могут... Детям же и без просьбы их кусок подают... Так говорит Христос... Поскольку либо у тебя есть стая сильная, которая отнимает, либо есть Бог, который подает...
И, сказав, пошел через поле в сторону заказа, и не стало его видно. И только не стало его видно, как Мария по памяти узнала чужака, два раза подававшего ей хлеб, и пожалела, что не попросила у него хлеба, поскольку бригадир Петро Семенович убитый, а мать в городе Керчь и отнять хлеб было некому, можно было насытиться. Ведь неизвестно, даст ли поесть Шура хотя бы горького холодного борща или постной каши. А воспоминания о сытой жизни на чужбине еще больше усиливали голод на родине. Нищего, который ходит не вокруг своего хутора, который по миру ходит, никакой едой не удивишь. Он от всего пробует — и от бедного, и от богатого. «Жалко, не попросила у него хлеба, — еще раз подумала Мария. — Что он сказал мне, я не поняла, видно, совсем издалека этот человек, но хлеб его я бы поела».
Потемнело быстро. На Харьковщине зимой ночи морозные, а как высыпят звезды и луна засверкает, еще холоднее становится.
Поторопилась Мария домой, встречает ее сестра Шура, говорит:
— Ложись, Мария, спать, поскольку утром вставать рано... Решили мы с Колей тебя к матери в Керчь отправить. Согласна?
— Согласна, — отвечает Мария, а сама думает: «По матери я сильно соскучилась, да, может, и не так голодно будет».
Утром в темноте, еще при холодной луне, собралась Мария, поцеловалась с Колей и Шурой и вышла из хаты. Вроде бы и грустно ей и вроде бы не очень... Искала она свое, добивалась она родного и вот покидает без тоски, уезжает на чужбину в город Керчь, к матери. Но к матери хорошо ехать, мать и пожалеет, мать и накормит чем может. Прощай, заказ, прощай, церковь на бугре, прощай, водяная мельница... Не видно больше села Шагаро-Петровского, как не видно его и в городе Изюме, где ей было хорошо, и в городе Курске, где ей было плохо, и в городе Воронеже, где опять было хорошо возле Ксении. Пошла по тамбе Мария в обратном направлении, к городу Димитрову, на станцию. Деньги ей на билет Коля и Шура дали, а хлеба не дали, и на тамбе не выпросишь, поголодать придется до города Димитрова. У нищего какой закон — если голоден, запасись терпением. И верно, в городе Димитрове выпросила сухарей возле какого-то богатого дома. Поела Мария сухарей на станции и купила билет до Харькова, поскольку до Керчи не продавали. Поезд был теперь для Марии делом привычным, да и Харьков неудивителен, как в первый раз. В Харькове выпросила она еще хлеба у богатых пассажиров, купила билет и поехала в город Керчь, о котором думала, что он либо на Изюм, либо на Воронеж похож, поскольку мать ее, Мария, для жительства дурной город, подобный Курску, не выберет.
Едет Мария в город Керчь день, едет в город Керчь ночь, наутро просыпается, смотрит в окошко, а снега нет, солнце светит, и за полотном без краю и конца синеет поле.

— Это море,— объяснили ей,— вода в нем до самой Турции, чужого государства.

И видит Мария — земля в небо упирается.

— Это гора Митридат,— объяснили ей...

Совсем город Керчь не похож ни на Изюм, где хорошо подавали, ни на Курск, где плохо подавали, ни на Воронеж, где хорошо жилось около Ксении... «А как же здесь будет?» — думает Мария, слезая с подножки вагона на теплую землю. Идет Мария и всему удивляется, почти как первый раз в Харькове, когда они с Васей бегали среди диковинных деревьев в кадках. Улицы не такие, как везде, каменистые и крутые, море издали, из вагона, тихое, чистое, большое, словно поле, а вблизи шумное, дымное, даже не большое, чуть побольше реки, другой берег виднеется с множеством домиков, которые не на земле стоят, а один на другом. Как такое может быть, думает Мария, что ва диковина? И спросила.

— Это не море,— говорят ей,— это бухта и порт. А море вон за углом.

Прошла Мария каменистой улицей, и верно — море без края и конца... Хоть и непривычный, думает Мария, город, но хороший город, мама удачно завербовалась.

Однако непривычным город Керчь был, пока Мария согласно адресу к окраине не вышла, где мать ее жила. В Керчи дома веселые, из белого камня, а на окраине, где мать жила,— дома сердитые, закопченные, из красного кирпича, словно в Воронеже у железной дороги. Вошла она в один из корпусов и спросила, где Коробко Мария живет. Ей объяснили. Не потому, что все знали мать, а потому, что случайно была там женщина, которая ее знала. Подходит Мария к дверям, стучит, и ей голос матери отвечает. Как услышала она голос матери, руки и ноги у нее задрожали, слезы сами собой из глаз брызнули и вбежала она с криком: «Мамочка!» А мать в тот момент сидела на своей койке и мужскую рубаху-гимнастерку латала. Увидела она дочь свою Марию, побледнела лицом и говорит трем другим женщинам, которые тоже на своих койках сидели и личным делом занимались:

— Это дочь моя, Мария...

И заплакала мать еще громче, чем Мария, и плакали они так, что все три женщины, тоже утиравшие слезы, не могли их успокоить. Но когда успокоили, мать говорит:

— Будешь жить возле меня... Вон в котелке вчерашняя каша, поешь...

Одну женщину звали Ольга, другую — Клавдия, а третью — Матвеевна. И каждая из них что-нибудь да дала Марии... Кто хлеба, кто леденец, а Матвеевна — два яблочка.

— Бери,— говорит,— здесь Крым, здесь фрукты — главное питание.

Потом все три женщины куда-то пошли.

— Пойдемте,— говорит Матвеевна,— бабы, погуляем... Пусть мать с дочерью поговорит.

Начала Мария матери свою жизнь рассказывать, обо всем рассказала, но про насилие, которое сотворил над ней Гриша в сарае,— утаила, и про то, как муж Ксении Алексей Александрович застал у Ксении среди ночи человека в кальсонах,— тоже утаила. И упрекнула мать Марию:

— Как же ты могла оставить Васю на чужбине?

— Я знаю,— отвечает Мария с печалью,— что виновата. Недосмотрела за ним.

— Но хоть Ксения, старшая моя дочь, своего добилась,— говорит мать,— и то радостно... Ксению я родила, еще когда хлеба вдоволь было и сала вдоволь, как сядем обедать — фунт сала съедали ва раз... Была я молодая, сытая, и отец твой Коля был еще молодой, красивый, а Шуру и Колю я хоть и рожала еще при сытой жизни, растила их уже при голодной... Но тебя и Васю, и особенно Жорика я уже совсем от голода родила...

Тут в дверь стучат, и заходит мужчина пожилого возраста.

— Ты,— говорит,— гимнастерку мою залатала?

— Залатала,— отвечает мать,— а вот радость у меня, Савелий, неожиданная... Дочь моя приехала, Мария...

— И хорошо,— говорит Савелий,— дети возле матери должны находиться, пока малые...

Начала Мария при матери жить, и привыкла к такой жизни, и привыкла к городу Керчи. Ох и красивый же город Керчь, вряд ли после него где-либо жить захочется. Хоть до смерти живи в таком городе, не затоскуешь. Народ вокруг хороший, жалели Марию. Дядька Савелий хорош, и Матвеевна хороша, и тетка Клавдия добрая, только тетка Ольга чуть неприятная. Мать Ольгу тоже не любила. Слышала как-то Мария, сказала мать Матвеевне:

— Ольга недовольна, что дочь ко мне приехала. Говорит, у нее тоже три сына в селе, так что ж, она их должна сюда брать... Тесно здесь...

— Ничего,— отвечает Матвеевна,— не Ольга здесь хозяин, а общество... Пусть поживет Мария... Только с осени будущей надо ее школьным образованием охватить, а то живет она, как при старом режиме... Разве за это боролась большевистская революция и покойник Ленин?

— Да она у меня три класса окончила,— робко отвечает мать.

— Мало это,— говорит Матвеевна,— я и ты вот малограмотные... Чего мы добились — землю копаем... А дети наши должны в доктора и инженеры выйти...

— Одна дочь у меня, Ксения, богато живет в Воронеже,— похвасталась мать.— Красавица, как я в молодые годы... Муж у нее железнодорожный техник. Мария у нее гостила, так она кормила ее сытно и платок подарила, и валенки, и ватник.

— Ватник мне не Ксения подарила, мне ватник тетка Софья подарила, в городе Льгове,— сказала Мария.

— А ты не перебивай, когда старшие говорят,— сердито сказала мать.— Она ведь у меня, Матвеевна, балованная... Поехала она вместе с братом Васей, сыночком моим младшим, так не усмотрела за ним, затерялся он в дороге.

— Младший не Вася, а Жорик,— говорит Мария,— которого чужая тетка забрала в городе Димитрове, когда ты нас оставила, чтоб на ярмарку пойти, платок продать и сушеных слив купить.

— Вот отправлю я тебя завтра в село,— говорит сердито мать,— поездила ты, вижу, баловства набралась...

И Матвеевна мать поддержала:

— Ты родительницу не серди, она ради тебя трудится.

Тут начала Мария перед матерью извиняться за грубости, и мать простила ее, и Матвеевна простила ее.

Был этот разговор где-то на третий месяц жизни Марии при матери, и впервые мать на нее сердилась. Чтоб упрекать Васей, то и раньше упрекала, но сердилась впервые. На следующее утро, как мать на Марию сердилась и после простила, отправилась Мария в город Еникале, который также рядом с Керчью, как Димитров рядом с селом Шагаро-Петровским. И надо заметить, что Мария к тому времени уже частенько похаживала в город Еникале просить, ибо хоть и при матери жила, но было голодно. В Керчи Мария боялась, вдруг Матвеевна увидит, в Еникале же Марию никто не знал. Выбирала дома побогаче, где евреи, греки или татары живут, и просила, и ей подавали. Шла она берегом по мокрому песочку, вдыхала морской ветер и радовалась, и силы в ней были, поскольку даже и у тифозного возле моря лицо здоровое. К тому времени научилась Мария купаться в море не хуже, чем в реке. Было у нее место на дороге между Керчью и Еникале. Песок там, где море не достает, мягкий и теплый, а где достает море — твердый и прохладный, вода чистая, каждый камешек на дне видно, подальше — две скалы торчат, а еще дальше гора Митридат виднеется. Решила Мария искупаться в тот день, поскольку была уже весна, а весной здесь солнце печет, как на Харьковщине летом. Оглянулась Мария — никого, сняла с себя платье, а трусов она не носила, поскольку тепло, побежала в воду и вдруг заметила, что груди у нее хоть и не такие, как у Ксении, но уже не бугорки, и сосок торчит, а не лежит прыщиком. И ноги с животом покрепче соединились, красиво, так что самой ладонью погладить хочется, и не стыдно на это при свете смотреть... Но не видела Мария, что на нее действительно смотрел грек, бывший владелец кофейни в городе Еникале,

а ныне работник общепита. Грек этот любил после завтрака ходить с морским биноклем вдоль берега, вдруг бесплатно увидит голую женщину. И увидел грек Марию и захотел ее. Как кончила Мария купаться, одела платье, свежая вся, чистая, пахнущая морской водой, подошел к ней грек и спрашивает:

— Девочка, куда ты идешь?

— Я иду в Еникале, — говорит Мария, — просить хлеба.

— Как не стыдно, — говорит грек, — такая красивая девочка... Ай, нехорошо... Пойдем, я тебе дам жареного мяса, хочешь мяса?

Смотрит Мария, мужчина нерусский, красивый и богатый, и захотелось ей поесть у него жареного мяса. Приходит она к нему в дом в городе Еникале. Все в коврах и не по-русски приятно пахнет сладким. Внесла какая-то старуха блюдо горячего жареного мяса, красным порошком посыпанного. Укусила Мария кусок, и ожгло ей горло, а грек смеется.

— Это греческий перец... Это сухой огонь...

Поела Мария много мяса и опьянела она так, что грек велел старухе унести бутылку сладкого вина, которое оказалось лишним. И легла Мария на мягкий ковер, и грек лег рядом. И добилась своего Мария, выпросила то, что имела Ксения, взяла от грека то, что брала Ксения от любовника и от мужа и что взял от Марии в темном сарае Гриша-проводник. И услышала Мария свой голос, поющий, изливающийся в радостных стонах, вцепилась она в грека, мужчину сытого, красивого, нерусского, и пользовалась его силой в свое удовольствие весь день, и весь вечер, и всю ночь.

— Как истомлено должно быть сердце твое, — говорит Господь через пророка Иезекииля, — когда ты все это делала, как необузданная блудница!

С младенчества испытала на себе Мария вторую казнь Господню — голод, но вкусно утоленный голод пьянит, возбуждает, разжигает тело, и вместо второй казни идет третья казнь Господня — дикий зверь — похоть, прелюбодеяние.

Не отпускала Мария от себя грека до утра, не отпустила бы и дольше, но грек сказал:

— У нас мужчина должен насиловать женщину, а не женщина насиловать мужчину... Ты глупая девчонка, поела моего мяса и хочешь насиловать меня, греческого мужчину...

И выгнал Марию грек, даже не покормив ее на прощание. Пошла Мария назад в город Керчь в тоске и голоде, поскольку сытость от жареного мяса она потратила на то, что делала с греком до утра. Приходит Мария в рабочую казарму — общежитие из красного кирпича, где жила она с матерью, и страшится встречи, и думает случившееся утаить половчее, как утаила она от матери и насилие над ней Гриши в сарае, и мужчину в кальсонах, которого у Ксении застал муж. Однако то утаить легче, что произошло, когда Марии было одиноко на чужбине, а сейчас она при матери. Приходит с такими мыслями Мария в казарму, поднимается по железной лестнице, и встречает ее в коридоре Матвеевна заплаканная, говорит:

— Где ты была? Мы тебя искали, поскольку мать твоя попала под поезд, и ты теперь сирота.

Сначала не поняла Мария, о чем говорит Матвеевна. Когда же поняла, села Мария на пол в коридоре возле своей двери и сидит. Мать ее лежала меж тем в сосновом гробу, который установлен был на обеденном казенном столе меж четырех казенных коек. И вокруг народа множество с ней прощалось, главным образом, женщины, но были и мужчины, друзья Савелия, который и сколотил сосновый гроб.

— Ты почему сидишь здесь? — сердито говорит Марии тетка Ольга и в платочек сморкается, глаза утирает. — Почему с матерью прощаться не идешь?

Но Мария без ответа сидела на полу в коридоре у двери, и не было у нее ответа ни для кого. Только приоткроет немного дверь из коридора, щелочку, и видит самый конец, макушку неподвижной головы матери в белом платочке Матвеевны. Посмотрит так минуту-другую и закроет. Много прошло, может, час прошел, пока она щелочку расширила, чуть сильнее дверь приоткрыла и видит белый лоб матери под платком Матвеевны. Закрыла опять Мария и сидела так без ответа еще долго, потом приоткрыла дверь больше и видит: свеча у матери горит в сложенных на груди руках. Опять закрыла Мария, и, как ее ни упрашивали тетка Матвеевна и дядька Савелий войти попрощаться с матерью, не пошла, осталась в коридоре. И еще три-четыре раза открывала Мария дверь, все шире и шире с каждым разом, пока не увидела мать свою, лежащую в гробе в белом платочке Матвеевны со свечой в руках, в черном своем платье суконном, которое одевала по праздникам еще дома, на хуторе Луговой... Вспомнила Мария, что, когда шли через заказ в деревню Поповку к бабушке и дедушке на Пасху, и отец еще когда живой был, и Вася дома был, но малый, как Жорик, а Жорик еще не родился, была одета мать в это черное суконное платье... Только увидела Мария мать всю целиком, привыкла она, распахнула дверь настежь и вошла в комнату прощаться. Ноги у матери во гробе были босые и белые, как лицо и руки. И пришло множество детей, которые жили в общежитии при родителях, даже из других корпусов, и всем им раздавала тетка Матвеевна яблоки, пряники и маленькие крымские орешки фундук.

Так не стало у Марии матери, и, что с Марией делать дальше, никто не знал. Хоть и хороший вокруг народ, но чужой, и Мария им чужая.

— Надо ее к сестрам-братьям отправить, — говорит дядька Савелий. — Хочешь к сестрам-братьям? — спрашивает он Марию.

— Нет, — говорит Мария, — Шуре и Коле, которые на хуторе, самим голодно, а у Ксении, которая в Воронеже, муж меня невзлюбил, Алексей Александрович, железнодорожный техник.

— Тогда в детдом, — говорит Матвеевна, — здесь, в Керчи, хороший детдом.

Заплакала Мария.

— Я, — говорит, — детдом больше всего в своей жизни боюсь.

— А чего ж ты хочешь? — говорит Матвеевна. — Возраст твой такой, что никак нельзя тебе без присмотра, поскольку ты на дурную дорожку собьешься и займешься либо воровством, либо проституцией, а может, и тем и другим вместе.

Отвечает Мария:

— Я сроду у людей не воровала, а только лишь просила у людей. Васю, брата моего, я от воровства не уберегла и за это я, верно, виновата. Но, что такое проституция, даже и не знаю.

Дядька Савелий смеется и говорит:

— Это когда женщина гулящая делает за деньги то, что женщина законная делает бесплатно.

— Фу, бесстыжий, — говорит Матвеевна. — При девочке такое говорить.

Однако Мария поняла, о чем речь, она теперь в таких вещах понятливая была, и подумала: «Значит то, что Ксения с Алексеем Александровичем делала — это одно, а то, что я с греком делала, — это другое... То разрешено, а это к воровству приравнивается, это утаивать надо особенно сильно».

И вышла она из комнаты в страхе, что догадаются про грека из города Еникале, и вышла в тоске: как избежать ей детского дома в городе Керчи. Но жить решила в Керчи, поскольку Керчь — город хороший, теплый и при море, о котором перед приездом своим сюда Мария представления не имела. Она до того, как в первый раз с матерью и Васей из города Димитрова выехала, даже, и что такое поезд, не знала, хоть что такое паровоз — знала. И что такое пароход — она теперь знала, и что такое шаланда, и многое другое, поскольку ходила в порт просить. Несколько раз она делала с матросами то, что следовало утаивать особенно сильно и что приравнивалось к воровству, но потом ее побила какая-то женщина гораздо сильнее, чем в Курске, и Мария перестала ходить в порт. Да и матросы все это делали впопыхах, на твердых скамейках или на полу, и Марии ни разу не удавалось больше использовать их мужскую силу в свое удовольствие, как использовала она силу грека. Платили же ей не жареным мясом, а хлебом или сухой рыбой, которые можно было выпросить и без таких дел, что приравнивались к воровству. Когда же Марию в порту побила женщина, то и вовсе заниматься таким

делом расхотелось, но желание осталось хоть еще раз испытать и застонать от испытанного напевно, как стонала сестра Ксения от мужа и любовника и как стонала она от грека, который почему-то под утро рассердился и остался ею недоволен.

В общежитие, где жила до смерти ее мать, Мария не ходила, боялась, что Матвеевна поймает и отведет в детдом. Ночевала Мария где придется, поскольку весна в городе Керчи теплая, а при дожде всегда можно найти навес.

Раз в теплую ночь решила она заночевать на берегу моря под навесом, поскольку иногда со звездного неба брызгал ночной короткий дождь, минуту-другую пошумит над навесом и перестанет, потом опять минут пять-десять пошумит. Луна над морем ничем и близко не напоминала харьковскую, постную, голодную и вялую, которая если и блестит, то как в тифозной лихорадке, и которая может нравиться только от отсутствия другой, и которая, если и играет, то лишь в сравнении с курской, вовсе тощей и строгой. Морская луна по жирности не уступает полтавской, но размерами в несколько раз превосходит ее. И полтавская, как, впрочем, и харьковская, и курская луна то над полем, то над лесом-заказом прочно висит, а морская луна словно все время в падении находится. Вот-вот плеск услышишь от ее падения в море. Но не падает, и от этого ожидания, что вот-вот упадет, сердце волнуется.

В ту ночь пребывала Мария в таком сердечном волнении, может, оттого, что накануне плохо подавали и была она голодна, а может, оттого, что дождь шумел сегодня как-то по-особому, словно поговорит по навесу и замолчит, подумает, потом опять поговорит. И небо было все в больших южных звездах, луна же так неустойчиво находилась на небе и так велика была, что, казалось, приблизилась вплотную и закрой глаза, услышишь плеск, а открой — не будет больше луны на небе. В таком состоянии находилась Мария, и спать ей не хотелось. Вдруг слышит она, идет кто-то вдоль самой кромки моря, и мокрые морские камушки у него под ногами шуршат. Посмотрела она — мужчина идет. Пойду, думает Мария, попрошу у него хлеба, а если так не даст, может, лягу с ним под навесом, и за это он даст хлеба или сушеной рыбы. Подошла Мария к мужчине и узнала в нем чужака с ее родной Харьковщины, но здесь, в городе Керчи, где она была после смерти матери в полном одиночестве, он ей чужаком не показался. И сказала Мария, протянув руку для подаяния:

— Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий!

И ответил ей Дан из колена Данова, Аспид, Антихрист:

— Не меня ты зовешь, но Брата моего из колена Иудина. Я же Дан из колена Данова, Антихрист, Сын Божий, посланный для проклятия, которое произнес впервые на горе Гевал. Для благословения же, впервые произнесенного на горе Гаризим, еще не время, и потому не ответит тебе Брат Мой Иисус из колена Иудина...

Не поняла ничего Мария из сказанного, поскольку не имела разума, и не было в этих словах Дана, Антихриста, того, что без разума можно понять. И заплакала Мария. Тогда спросил Дан, Аспид, Антихрист:

— Чего ты плачешь?

— Отец у меня умер давно, — сказала Мария, — а мать недавно. И старшие братья и сестры отказались от меня, младшего же брата, Васю, я потеряла в городе Изюме, и некому теперь присматривать за мной, и не за кем теперь мне присматривать... Одинокая я...

Ответил Дан:

— Жалей мать, плачь по ней, но не будет тебе от этого плача облегчения. Она умерла не от человеческого, ибо Господь и бедного судит, и не потворствует в тяжбе бедному... И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а дщерь народа моего стала жестока подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им.

Так сказал Дан, Аспид, Антихрист, через пророка Иеремию, и вынул из пастушьей сумки нечистый хлеб изгнания, завещанный пророком Иезекиилем, протянул его Марии. Никто наконец не отнял у Марии этот хлеб, о котором сказал Господь:

«И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым Я изгоню их».

Но упросил пророк Иезекииль Господа печь нечистый хлеб изгнания не на человечьем кале, а на коровьем помете.

И приобщилась Мария, нищая девочка, через этот кусок нечистого хлеба изгнания к Божьему помыслу, и все, кто знал и развращал ее даже по Божьему велению, стали Господу отвратны, и все, кто ей помогал, даже и не от Бога, а от себя, стали Господу приятны. Через нечистый хлеб изгнания приобщилась Мария к народу чужому, как Фамарь к Иуде и Руфь Моавитянка к Воозу из Вифлеема, города иудейского. И не избирала Мария, но была избрана. А Дан, Аспид, Антихрист, приобщился к Марии через третью казнь Господню, единственную из четырех казней, от которых на земных путях он не был защищен.

И лежали они под навесом, во тьме шумело море и дождь иногда что-то пошепчет минуту-другую — и замолчит, а Мария на все звуки, с разных сторон к ней доходящие, отвечала лишь радостным напевным стоном. Но вдруг услышала она плеск, точно тяжесть непосильная обрушилась в море. Смотрит Мария снизу, из-за костлявого плеча Дана, Антихриста, смотрит — нет на небе Луны. Тихо сразу стало, море замолкло, и дождь замолчал, точно задумались оба, и Мария, свернувшись калачиком, как спит под утренний холодок все бездомное, уснула, заботливо согревая чуждое славянской утробе своей, свежее еще семя шестого сына Иакова. А Дан, Антихрист, встав от спящей девочки, пошел дальше вдоль берега моря.

Отсюда недалеко было до родных мест, и Дан чувствовал это, и сердце его стучало, как у блудного сына перед отцовским порогом. Он шел по Эллинской земле, Пантикапее, где еще до рождения Брата его, Иисуса, эллины построили у горы Митридат свои селения. А где эллинское, там уже и свое чувствуется, ибо эллины были народу Данову соседи враждебные, но не чуждые, в то время как есть народы чуждые, но не враждебные и есть народы и чуждые, и враждебные... Ибо как нет равных людей, но каждый для себя хорош, так и нет равных народов, и народы зависят от судеб своих, как и люди. И есть народы, которым приятно друг с другом, как и людям, а есть народы, которым друг с другом неприятно, хоть и сведены они друг с другом, как это и с людьми случается, судьбой...

Утро еще не наступило, но работа утренних сил шла в полной мере, когда Дан из колена Данова, Аспид, Антихрист, остановился передохнуть неподалеку от города Еникале. Это было то самое место, где купалась Мария, впервые любуясь своим налитым женскими соками телом. Место действительно было превосходно, прозрачное утреннее море придавало блеск драгоценностей видневшимся подводным камням на отмелях, но застывшая сила скал, встающих из вод напоминала тем, кто обманчиво залюбовался ласковым плеском утреннего штиля, что в морской красоте, как во всякой безграничной красоте, преобладает жестокость, а любоваться жестокостью можно лишь в моменты упадка души. Красота моря античеловечна, как и красота космоса. Духовное величие для человека не в море и скалах, не во вселенском море, а в поле, траве, речушке, небе земном... Библия рождалась рядом с морем, но почти все ее действия происходят в стороне от моря, среди долин, рек, на пастбищах, в глубинных, а не приморских городах. И случайно ли, что уделы главных колен сыновей Иакова, разыгравших между собой основные библейские страсти, были в стороне от морского берега... Господь явился Аврааму на холме, Моисею в терновом кустарнике, а беседовал Моисей с Господом на горе Синай в пустыне, и Иакову Ангел явился в терновом кустарнике... Рядом с морем человек живет, морем он живет, морем любуется, а научить оно может лишь сильному, но жестокому, красивому, но злому, величественному, но лишенному сердца... Недаром из всех колен Израилевых колено Дана, которому суждено было родить Антихриста, имело удел свой у моря. От Хетлона, ведущего в Емаф, Гацар-Енон, от востока до моря удел Дана, созданного для проклятия людских дел. А через пять уделов — удел Иуды, из которого выйдет Христос, посланный для благословения. Лишь от беды пришел к морю Иисус из колена Иудина, для чу-

дес пришел, для хождения по воде, как по суху, но в пустыне была душа его, у реки Иордан была душа его, в Святом Городе была душа его...

И Брата Его Дана из колена Данова, Антихриста, удел которого был возле моря, море не успокоило. Ибо без разума можно лишь радоваться у моря, разум же берет от моря беду.

Посмотрел Дан, Антихрист, на гору Митридат и видит — из-за развалин средневековой генуэзской крепости солнце поднимается узким острым лучом, и рассекает этот луч тучи, словно меч, и тучи от этого кровью пропитаны, так что надави на них, и потекут они кровавым дождем в море, пока не истощатся и превратятся в невесомые облачка... И унесет эти облачка даже слабый ветер. Видит Дан: избыток крови с меча в море капает, и на волнах кровавые утренние полосы. И сказал Дан, Аспид, Антихрист, в себе через пророка Иеремию:

— Утроба моя! Утроба моя! Скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать; ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. — И опять произнес он через пророка Иеремию: — Они солгали на Господа и сказали: «Нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода». — И сказал Дан, Антихрист, еврейский ребенок, возмужавший за земные пути свои и ставший юношей: — Уже несколько лет казнит их вторая казнь Господня — голод, всегда беззащитны они перед третьей казнью — зверем-прелюбодеянием, мучает их четвертая казнь — болезнь, но вот опять возвращается к ним первая казнь Господа — меч, и она ведет за собой все казни вместе... Ибо так сказал Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю.

Сказав, отправился далее Дан, Антихрист, исполнять предначертанное Господом проклятье. Путь ему был указан в город Ржев, в другой совершенно удел, к иным людским судьбам. И хоть предначертано было явиться в город Ржев спустя шесть лет, к 1940 году от Рождества Брата его Иисуса из колена Иуды, быстро исчез он из этих мест, и, как ни искала его Мария, не могла найти.

Уже осужденная за проституцию и бродяжничество, родила Мария в тюремной больнице сыночка от Дана, Антихриста. Думали, что согласно медицине не выживет мальчик, поскольку мать была несовершеннолетней и истощенной, однако выжил, и нарекла его Мария Васей по потерянному брату своему. Был этот младенец Вася не в меру черноглаз, и неславянский носик его почти касался верхней губки, когда мальчик улыбался матери. Когда же вкладывала ему Мария в жадный ротик сосок груди своей, отдавала все соки тела, с трудом полученные от скудной тюремной похлебки, то стонала она радостно, напевно, и тюремный врач говорил:

— Это что-то нездоровое... Уж не больна ли она скрытым сифилисом.

— А пацана своего она или от жида, или от грузина-армянина нагуляла, — говорила тюремная санитарка, которая невзлюбила Марию за еврейского младенца Васю...

Отняли у Марии черноглазого Васю и отдали его в приют. После этого не захотела больше жить Мария, умерла пятнадцати лет отроду в тюремной больнице 23 февраля 1936 года и похоронена была без гроба. В тот же день снята она была с тюремного довольствия, дело ее было закрыто и сдано в архив.

(Продолжение следует).

Петр ВЕГИН

Ноша

* * *

дожил я до того, что могилу отца
на погосте нашел с трудом
то ли дождь то ли волосы мертвеца
слепок горя снимая с моего лица
над землею стоят под прямым углом

геометрия жизни вполне проста —
вертикаль и горизонталь
их соединенье — обретенье креста
это та единственная высота
на которую не взовьется спираль

здесь я вижу что жизнь промотал свою
точно так же как мой отец
так что нечего спрашивать How are you?
и могила ложится в ладонь мою
тяжела и вязка как свинец

1989

* * *

За полночь, с Богом наедине
слышу, как бьются на веретене
парки — моя судьба.
Крепкая нить, шершавая нить,
хочется думать, что перекусить
ведьма будет слаба.

Обувь сними и пыль отряхни...
Мать закрывала глаза на твои
чертовы чудеса...
Матери нету. Не хочется знать,
что на меня, но не как мать,
Бог закрывает глаза.

Смерть умерла. Жизнь не живет.
Только два мальчика гонят вперед
коней на водопой...
Тихо зеленая речка течет.
Вот и меня к этой речке ведет
ангелов белый конвой...

1990

* * *

забываю о счастье, привыкаю к кочевью,
сон становится все короче, короче, короче —
это способ удлинения жизни, а почерк
становится мельче. Как трамвай вечерний

приближается то ли смерть, то ли любовь — нету
разницы, ведь любовь — всегда умиранье
и розы смерти и любовные раны —
это два лица на бубновом валете.

медленный, безбилетный трамвай вечерний
и сиреневый звук невидимой флейты...

1990

* * *

Моей стране везло —
она одолевала
большое зло и малое.
Но вот родное зло

пригрелось, приросло,
прикинулось судьбою.
Хоть и внебрачно зло,
но все-таки родное.

Зубами гложет грудь,
хотя и не грудное.
Что вытворяет — жуть!
Но все ж оно родное.

Сил не осталось жить.
— За то, что ты такое,
убить тебя, убить!
Но как убьешь родное?

И родине моей,
заплаканной зегзице,
и горше, и больней,
чем римской той волчице,

которой все равно,
кто ей сосцы кровавил,
и Каин ей родной
не менее, чем Авель.

И родина, венцом
своим терзаясь снова,
стоит, уткнув лицом
родное зло в паневу,

и левою рукой
жест делает неясный,
чтоб отошло добро
туда, где безопасно...

1989

* * *

Река остывает.
Деревья холодного цвета
уже тяготятся прибрежною дружбой с водою...
Тебя еще нету, и нас еще нету, но где-то
в проекции Бога уже мы сомкнулись с тобою.
Река остывает.

Пора, чтобы кровь, словно лава,
остыла, но Божьей ведомая властью
кровь требует страшного права, последнего права —
использовать древнее право на счастье.

И слово for ever переводя как «навеки»,
ни в чем не винясь, перед Богом хочу повиниться
и страшно влюбиться,
когда остывают все реки,
но кровь говорит,
что намного страшней —
не влюбиться...

1989

* * *

Мечтаю увидеть страну,
которой на свете нет,
лицо которой давно не видно
из-под кровавого слепка.
Эта страна похожа на гигантскую репку,
которую из преисподни
пытается вытащить дед.

Я люблю ее сильно, но эта любовь — боль.
Никто никогда не разгадал ее зодиака.
Из-за какого глада
кормилась она кровавою кулебякой:
люди — тесто, люди — начинка, люди — соль?..

Крест оловянный елецкий ношу на шее,
рву самодельной молитвой сердце,
дырявлю висок:
всяк потерявший да станет нашедшим,
только бы впрок тебе, родина,
дедка да бабка, Пушкин и Блок...

1989

Сосед

Смешно сосед живет,
за стенкою факирит.
Когда не пилит — пьет,
когда не пьет — он пилит.

И вряд ли кто поймет
и разумом осилит —
чего он столько пьет
и что так долго пилит.

На убыль век идет,
но мой сосед не сгинет.
И как же он запьет,
когда свое допилит...

1982

* * *

я поселился напротив старого
ухоженного кладбища в центре зеленого
городка где белки доверяют людям
больше чем люди друг другу
дочка кормит белок, я кормлю
дочку, сочиняю, рисую, старею,
перехожу дорогу, между кладбищем и домом,
и понимаю: жить — это быть напротив
кладбища, а потом перейти дорогу
и все.

1989

* * *

Пускай я сгорю в преисподнем огне,
но выкрикну на повороте:
крест,
поставленный на стране —
плюс,
поставленный на народе!

1989

Трамвай везет нас в Рождество

Покуда «Аннушка» бежит,
покуда звякает звоночек,
я чувствую, что я еще не труп живой,
верней — не труп,
точней — живой, и позвоночник
своею хвастается прямизной.
Покуда «Аннушка» бежит,
покуда люди к Стратилату
идут, в снегу не оставляя ни следа,
отсчитывает память мне
мою тринадцатую зарплату,
где мелочь — радости,
а крупные — беда.

Трамвай везет нас в Рождество...
Куда судьбы направлен вектор,
круша вчерашнее и новое верша?
Склонюсь над жизнью,
как над версткою корректор
с огрызком красного карандаша.
Как удалось мне, Боже мой,
такие совершить ошибки
и перепутать божество и бабжество?
Покуда «Аннушка» бежит,
мой красный карандаш крошится,
наверное, не хватит мне его.
Беги, трамвай,
звени, трамвай!
Москва — январская кувшинка...
И беззаботно, и волшебно на душе,
хоть на две жизни впрок моих ошибок,
но на три жизни
красных впрок карандашей...

1988

Сорок строк

1

Снега не ждут никогда.
Так же, как и любви.
Сила берет города.
Мир стоит на крови.

И потому роз
я не люблю — пас.
Столько я прожил, что слез
полон — до самых глаз.

2

Мне страшна бирюза
неба — над кровью рощ.
Единственная слеза
сладкая — это дочь.

Ночью снится — Мазай,
дед — плывет по слезам.
Люди сидят, как зайцы, дрожа
по пенькам.

3

Мир повернул шнз
явственно не туда.
Паводок слез — жизнь.
Выплыть — стоит труда.

Я потому не сдох,
что однажды в снегу
ко мне подошел Бог
и прошептал: не могу...

4

Может, пошло все на..?
Или послать все в..?
Если придет Сатана,
я обращусь на «вы».

Вы, скажу, негодяй!
Что вы сделали из?..
Он оборвет: Ай-яй-яй,
я — всегда коммунист.

5

Стойкости ста друзей,
художников и актрис,
медленно, нараспев
я говорю: please,

мир не совсем раскис,
может, еще споем...
Быстро идет жизнь.
Смерть смотрит за окоем.

1989

* * *

Оказалось, что у меня спина
мукомола, таскающего мешки.
От вдохновения, которым живет страна, у ее граждан
под глазами мешки.
Моя жена — не моя жена.
О правде вещают вруны.

Жизнь похожа на пацана,
теряющего штаны.

Реальность, включающая нас
(to be или просто — дать?),
напоминает противогаз,
который охота сорвать.
Обретая в небе свободу, ас
не хочет на аэродром.
Сила, освобождающая нас,
порабощает потом.

И если
зараженные сталинской паранойей
твердят, что они здоровы,
то стройность заключается в отсутствии строя
государства, роты, строфы...

1989

* * *

Звезда далекая, дрожащая,
над головой моей нависшая,
ты искра страшного пожарища
иль искра счастья наивысшего?

Как женщина, в ночи лежащая,
своим присутствием излечивающая,
где — непонятно — настоящая:
дарующая иль калечащая?

Куда тебя несет нелегкая,
твое сиятельство, высочество,
ты тоже, может, одинокая
и светишься от одиночества?

Я помню — звался свет по имени,
был женщиной, спасал от нечисти...
Не опускайся к нам, не вымокни
в слезах ночного человечества.

Прости меня, что свет твой пользую,
звезда дрожащая, непознанная,
прости меня за все несозданное
и Господа — за все, что создано...

1989

Саша СОКОЛОВ

Палисандрия

РОМАН

Переоценить значение Руссо-просветителя в свете его влияния на развитие ботанических чувств — вообще затруднительно. Стоило ему в сердечной связи упомянуть в своей «Исповеди» цветок taraxacum officinale — и публика просто ринулась в окрестные тюильри. Полюбоваться им заспешили клошар и гризетка, матрос и прачка, барышня и шевалье: всем хотелось пустить по ветру летучий галантный пух. Вскоре, прозванный в честь своего певца жан-жаком, одуванчик становится эмблемой ВАМ — Всемирной Ассоциации Мемуаристов. Ежевечно съезжаясь в Женеве, они проходят перед трибунами ипподрома своими сутулыми, благородно лысеющими легионами, украсив петлицы цветком просвещенной искренности. Звучит менуэт.

«В каком равелине?» — спросил я Андропова единственно уголками губ.

«Это не архиважно,— ответил полковник.— Думаю, впрочем, что Петропавловский — или как его там: Алексеевский, что ли? — вас навряд ли устроит. Мрачновато там, сыровато, казематы проветриваются нерегулярно, провизия скверная, часто с душком, интендант приворовывает. Короче — не посоветую. То ли дело кремлевская наша тюрьма, что в Архангельском: любо-дорого».

«Помилуйте, Юрий Гладимирович, не мы ли минуту тому толковали касательно замка Мулен де Сен Лу, что как раз в Бельведере? Вы непоследовательны».

«Владеете ль вы оружием?»

«По преимуществу прободающим. Помните некую Долорес Ибаррури? Она занималась со мной испанским, а попутно и фехтованием».

«Ибаррури? Которая жила в Водовзводной башне?»

«Не путайте, в Водовзводной жила Клара Цеткин, преподаватель немецкого, тоже, кстати, большая моя приятельница. А Ибаррури жила в Москворецкой. О, каким только фокусам не обучила меня сеньора Долорес!»

«Вы не поняли,— сухо проговорил Андропов.— Я спрашиваю об оружии огнестрельном».

«Что ж, монтекристо я не чураюсь. Да и на охоте малый не промах: бью влет».

«Похвально. Только на сей раз придется прибегнуть к боевому калибру. Есть мнение, что пора устранить со сцены одно слишком действующее лицо».

Прямота дяди Юры располагала к отваге, и я заявил, что, конечно, готов пострадать за правую часовщическую идею, однако позволил себе усомниться в резонности собственной кандидатуры. «Почему вы решили задействовать на этот предмет меня, окрыленного чемоданными настроениями? Разве нет на примете менее занятых единомышленников? Дооцените и то обстоятельство, что если меня ненароком сгноят в застенке, то в Бельведере, наверное, огорчатся. Не знаю, как вы, а я не желал бы разочаровывать вероятных родственников».

Юрий Владимирович улыбнулся. «Во-первых, мы постараемся, чтобы вас не сгноили. А во-вторых, когда наш человек уезжает в послание, ему в первую

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 9 с. г.

голову следует обзавестись порядочным реноме. Иначе он — персона нон грата и ни в какие внуки не гож».

«Позвольте, но у меня такая генеалогия!»

«На голой генеалогии далеко не уедешь,— заметил полковник, расхаживая у самой воды. Очки его запотели, и он различал меня смутно, однако, увлекшись беседой, смотрел на помеху сквозь пальцы.— Настоящее реноме обеспечивается громким процессом, предосудительными деяниями, скандалом в прессе. Бросьте взгляд на картину нашего Зарубежья. Кто выехал тихой сапой, сам по себе, без нашей поддержки, тот сам по себе, тихой сапой там и живет, перебивается на подачках. А подопечные наши, то есть те люди, кому мы способствовали, создавали рекламу, оказывали достойное преследование,— они в послании благоденствуют. Иные даже в пророки выбились, рассуждают. И все что-то пишут, пишут, печатают. Жестокий все-таки, это недуг — графомания».

«Не говорите,— посетовал я,— так и косит».

Мы выпили сельтерской, закусили. Затем воспоследовали водные процедуры, в ходе которых стороны пришли к обоюдовыгодному соглашению: во имя настоящего реноме путь мой в послание ляжет через террор и острог. Причем с моей стороны промелькнула немаловажная нотабена, что мне недосуг засиживаться. И поставлено было условие: «В какой бы острог вы ни выписали мне путевку,— сказал я Андропову,— позаботьтесь о персональной ванне. Другие удобства меня практически не волнуют. Я ведь неприхотлив до смешного,— сказал я ему. И добавил, печально шутя: — До смешного сквозь слезы».

«Ванна будет»,— сказал полковник и произвел часовщический клятвенный пасс — знак тайны и скромной твердости.

После чего приступили к деталям.

«Итак,— молвил давно знакомый вам я,— вы хлопочете об аннигиляции какого-то лишнего деятеля».

«Государственного»,— уточнил Андропов.

«Хм, кто бы это мог быть? Просто теряюсь в догадках. Да знаю ли я обреченного?»

«Даже очень».

«Тогда разрешите мне угадать».

«Угадывайте,— сказал качающийся в своем вольтеровском кресле-качалке Председатель Совета Опекунов моих, или, как я скаламбурил бы по-английски, my rocking-chairman.

«Ягода».

«А вот и не угадали. Ягода уже на отдыхе».

«Маленков».

«Промашка. Он тоже теперь в удалении».

«Георгадзе!» — одушевленно воскликнул я, увлекаясь.

«Мимо!» — сказал и в подражание пуле присвистнул полковник.

«Тихонов!»

«Перелет! — возражал Андропов, и сам, входя в ажитацию.— Не та фигура».

Перечислив в запальчивости чуть ли не все кремлевское руководство, я сдался.

«Б.»,— подсказал мне А.

Не берусь изложить весь сумбур обуявших меня в ту минуту душевных протуберанцев. Во всяком случае, освежительная бассейная зала вдруг показалась удушливей душегубки, и я заспешил в направленьи окна в побужденьи открыть фрамугу.

Урбанизм разверзавшегося из окна пейзажа предстал кромешен. Дворовая свалка банно-прачечного заведения, загроможденная грудами бросовых ржавых шаек, стиральных досок и мыльниц смыкалась со складскими задворками какого-то воздуходувного предприятия, заваленными в свою очередь приспособлениями для нагнетания и отсасывания газообразных веществ. Гудок данной фабрики, поминутно выдавливаемый кем-то из горла ее сифонообразной трубы, отзывался

сухой омерзительной фистулой сифилитика. Между тем где-то сбоку, умело используя курослеп предвечерья, печально набычась, вдоль вывески «Магазин мужского и женского верхнего и нижнего готового и не вполне готового платья» крался куда-то нечистый проулок.

«Вам не надует?» — не оборачиваясь, смашинальничало дерзающее лицо. «Навряд ли,— сказал Андропов.— Я надену чепец».

Лицо потянуло веревку: фрамуга с грохотом отвалилась. Ранние эмские сумерки хлынули в зало.

Народ, проходивший в тот час проулком, был большею частью народ-весовщик, кладовщик, конторщик. Шагал там народ-проходимец, пройдоха. Шел народ-забулдыга, народ-инвалид.

Шел ветер.

Всмотревшись, мне сделалось по преимуществу больно: «Россия, родная, когда же придет настоящий день твой? Доколе, терзаема неотесанным мужичьем, ты будешь влачить крест своей незлобивости и долготерпения? Чрез непогоды. Печально набычась. Брось! — И взволнованная моя голова патетически заторчала из форточки. Там, снаружи, вступала в свои непосредственные обязанности весна. Она вступала в юродивую городскую природу, как боль в поясницу: внезапно — и словно бы навсегда. Шел, как я указывал выше, ветер. Растения в палисадниках, оголтев, шумели, как оглашенные. Описание припустившего вскоре косого дождя с предварительным кособреющим летом ласточек, почитающихся в столовой Сената лучшим лакомством наряду с вампирами-табака, могло бы занять до полутора рукописных страниц. Однако мой кожаного переплета с ляпис-лазуревыми вкраплениями, тиснениями и застежками фолиант, куда я своей сухожилистой и без каких бы то ни было украшений рукой ригориста заношу настоящие поверительные наброски, увы, представляет собою гроссбух в откровенно прямую клетку, а не в косую линейку для прописей. Отчего опускаем описание именованного дождя как невписывающееся. И, подставив под струи его париком окудрявленное чело — «Вы надели чепец?» — озаботился я о Юрии, стараясь перекричать шум стихии. Привычка к резким температурным сменам, которыми я по рассеянности муштровал организм, давала все основания полагать, что простуда меня не коснется. Но за Андропова было не по себе. Несравненно моложе его годами, я испытывал по отношению к опекуну беспокойство ответственности, свойственное многим потенциальным родителям. Своей непрактичностью в бытовых вопросах, физической неуклюжестью и наивностью в сфере абстрактных тем он вызывал во мне это чувство систематически.

Совершенно иным человеком предстает в моей памяти другой ветеран часовщической организации — тот, кому по соображеньям товарищей предстояло пасть от руки, составляющей данные строки.

Леонид Ильич Брежнев! Местоблюститель! Как все же в свои за семьдесят бывал он по-диккенсовски остроумен, по-чаплински находчив и бодр.

Возвратившись с охоты в Кремль и стягивая с себя в передней зеленые болотные сапоги, чтоб обуть расшитые мелким бисером шлепанцы, Леонид полагал, что на сей-то раз то была, несомненно, последняя вылазка на природу. Пора и на угомон, ведь уже не мальчишка. В его лета Черчилль с Рузвельтом едва ли даже вставали с дивана. А ему б, Леониду, все баловаться: пороша да листопад, иней первых утренников и туманы последних, покашливание егерей и покрякиванье воронья, быстрый пролет живой и грузные гроздья набитой дичи — зачем бы это ему, неглупому и ответственному работнику, солидному семьянину. Забросить. Забыть.

Но миновала неделя, другая, максимум третья, и Леонид начинал не находить себе места: в Кремле ли, на выставке, на премьере ль в Большом. Раздумья, казалось, больше не увлекали его, и прием в честь очередного арабского «чурки» исключительно тяготил. Сославшись на нездоровье, Б. оставлял церемонию: шел на псарню и на конюшню, шутил с псарями, с конюшими, подолгу гладил животных.

Путь его нет-нет да лежал и в отдел охотничьих ружей Оружейной Палаты, где засидевшийся допоздна Устинов, дядька нашего ремесленного училища, а в будущем — марсовых дел министр, был рад показать ему образцы старинных дробовиков и мушкетов — как в собранном, так и в разобранном виде. Шло время. На Спасской било двенадцать, час, два, полтретьего, а они все сидели там, разбирая и собирая и путаясь в чертежах: член правительства, Местоблюститель, герой войны — и обычный мастер, Устинов Николай Дмитриевич, скромный, кряжистый и в бухгалтерских нарукавниках человек.

И снова проходили недели, и Леониду становилось понятно, что неприкаянность его нисколько не уменьшается, а возрастает. И причина ее — охота. Как-то там, без него, на тяге, на гоне? Благоприятствует ли погода? Хватает ли дроби да пороху, пороху да тенет, тенет да чучел, чучел да разных ошейников, ошейников да манков? Излюбленное Новодевичье манило и бередило Брежнева, и мысли его на собраньях мешались с речами. И наступали моменты, когда противиться застарелой страсти делалось по-мальчишески невмоготу и нелепо. Тогда Леонид подходил к шифоньеру — распахивал инкрустированные сердоликом и костью резные створки — доставал амуницию. И если ягдташ его был немецкий, из патриархального Марбурга, то патронташ подарил Леониду давнишний приятель Урхо, заядлый тоже охотник, державший на вилле под Гельсингфорсом перворазрядную сауну. По обычаю прадедов хозяева паривали там гостей в компании с белобрысыми дамами из числа своих секретарш. Не всякий, впервые гостивший в стране Урхо Кекконена, знаком был с этим обычаем. Не подозревал о нем и лауреат крепостного конкурса блиц-поэтов Брежнев.

Загнав на закате большого оленя, участники благополучно вернулись на виллу, и уже пали сумерки, когда им в гостиную подали темный, как кофе, туборг.

«Попаримся?» — обронил нестареющий лыжник Урхо.

«Распорядись, коль не лень,— рассудительно отвечал Леонид.— Только веники есть ли?»

«Веники?» — не понял премьер.

«Веники»,— перевел на финский наш консул.

«Ах, веники! — аккуратно расхохотался Кекконен.— Да у нас кое-что похлеще имеется»,— объяснял хозяин, меж тем как они торопились вниз по тропе, направляясь на берег Балтики, где нахохленно чахли сосны, небрежно валялись какие-то валуны и виднелись подсобные сооружения.

Факельщики в казацких папахах, шедшие впереди, расступились и остались снаружи. В сенях Леонид обернулся: море темнело, пенилось и шипело за спинами факельщиков, словно туборг. За горизонтом угадывалась родная Эстония.

Друзья разделись. Проводив Леонида за некую переборку, Урхо набросил себе на плечи купальный халат и уверил, что скоро вернется. И вышел. Б. сел на одну из тех деревянных широких ступеней, что вели в тупик потолка. Начал ждать. В помещении было тускло. На теле выступил пот.

Вид собственной обнаженной натуры давно не радовал Леонида. Изучая ее, он всегда констатировал, что годы минуются не напрасно: тут — новая складка, там — словно бы пролежень, а здесь, возле щиколотки,— петушиная шпора. И ни утренняя гимнастика, ни микстуры не могли отвратить увядание. Бренность тканей наличествовала во всей полноте.

Как вдруг Б. почувствовал, что не только он сам, но и кто-то помимо участливо всматривается в его наготу. Он поднял взор. Долговязая, юная и тоже нагая пред ним, разглядывая его, стояла какая-то незнакомка чухонского вида. Охотник насторожился. Подобного с ним не случалось даже в период военных пертурбаций, когда вопреки уставу случалось все что угодно.

«Попариться заглянули?» — обратился он к даме с галантным вопросом, но, осознав всю убогость его дежурности, стушевался.

«Массаж, массаж»,— безбожно коверкая это слово на иностранный лад, залопотала та.

«Вот она, заграница!» — мыслил Местоблюститель, млея на топчане под ласкою настоятельных рук.— А мы, недотепы, все ветками хлещемся. Эх, язычество, понимаешь!»

Руки эти, все их ухватки, были такого рода, что несмотря на телесную свежесть специалистки выдавали в ней опыт бесстыжей блудницы, гулящей игривицы.

Голова приятно покруживалась. На ум приходили волнительные картинки из тех неприличных журналов, которые сын его выписывал из заморских стран. Под предлогом незнания языков Леонид никогда не просматривал их в домашнем кругу: застенчивость в данных вопросах была у него пятою Ахилла. Но тут — он не выдержал. Он привлек массажистку к себе и, походя растрепав ей белесые лохмы, сделал с ней то, что, ссылаясь на занятость, давно уже не проделывал ни с супругой, ни с посторонними женщинами.

Смущенье, которое испытывал Леонид, с лихвой окупалось развязностью массажистки. Поэтому он легко подавил угрызения совести, с легким сердцем вернулся на родину, быстро прошел в кабинет и вызвал Косыгина. Тот пришел.

Угостив его хельсинкской папиросой, Леонид нетерпеливо спросил: «Послушай, что там у нас в Новодевичьем делается?»

«Кладбище функционирует нормально,— рапортовал Алексей.— Хороним, охотимся».

«А монастырь?»

«Типичная пустынь. Раззор, запустенье. И нового ничего там в действительности не делается. Одно название».

«А что если нам туда и вправду девчушек каких-нибудь поместить? — дерзнул Леонид.— Возобновить, понимаешь, традицию».

«Девчушек? — зарделся Косыгин, тоже в сущности, не избалованный эротикой человек.— По этой части ты лучше с молодежью переговори — с Романовым, Пономаревым, а я, знаешь,— пас».

«Напрасно отказываешься: здоровая вещь. Приобщились бы иной раз, отдохнули б. Да и гостям развлечение. А то что получается? Прибывает ответственная делегация, а ее, кроме театра, и повести некуда. Несолидно,— сказал Леонид,— несолидно». И дал отчет о визите в Финляндию. Брикабраков же, впоследствии пересказавший эту соблазнительную историю автору строк, стоял, как всегда, за портьерой. Он был вездесущ.

Выслушав Леонида, Алексей совершенно преобразился, воскрес. Его лихорадило. Тогда, не тратя времени попусту, они пригласили прораба, составили смету на реставрацию монастыря, провентилировали вопрос в Сенате, согласовали план действий с Митрополитом и выбили необходимые средства. Так был учрежден негласный Дом Массажа правительства, сыгравший такую заметную роль в воспитании, а позже и в перевоспитании моих чувств.

Новодевичье! Вольница! Я ль не люблю твоего подворья, твоих лукоглавых храмов, лукавых калек, лупоглазых паломников, облупившихся стен и повитых чем-то ползучим, колючим и колокольчатым стен и башен? Не я ли играл в твоих парках, садах и скверах, мечтал по твоим читальням, мужал в твоих кельях и закоулках? Не ты ли, обитель царицы Ирины, дышала в лицо перегаром древности, сквозняками своих подворотен, застойным духом неприбранных усыпальниц, грибною духмяностью свежих захоронений? Признайся, не юность ли Командора бродила аллеями помпезного твоего погоста, звенела твоими ключами и ключевыми болванками, скрипела рассохшейся обстановкой твоих меблирашек и караулен стрелецких?

О, нам есть что припомнить на старости наших лет. До чего ж, например, незапамятны самые первые вылазки в пределы твои совместно с опекунами моими. Поверите ли? мы выезжали засветло — затемно — в полдень — когда угодно. Даже зарею, когда в злачной лавке на станции Эмск-Кабацкий откупоривался последний пивной бочонок, а мимо, визжа полозьями и тугими, упругими девками, проносились куда-то тройки. Случалось это всегда спонтанно. Наскоком. Без всякого перехода. Так бьют навскидку. Это — сбывалось! Случалось, у нас в Александровском вертограде, сурово насупив брови, еще только тужатся под

присмотром прислуги кремлевские пудели и болонки, а Ваш покорный слуга в развевающейся хламиде уже направляется по пешеходной дорожке брандмауэра в Пыточную башню-клинику — сдать на анализ щепотку кало, несомую в спичечном коробке сопутствующей няней Агриппой; иль попросту вышел пройтись по делам искусств и ремесел, из коих важнейшими ему всегда представлялись пластические (см., например, мои собственноручные записи в гроссбухах кунсткамер).

Пытаюсь, но не могу припомнить такого периода, когда бы их судьбы не волновали меня. И часто заглядывал я то в музей восковых фигур, расположенный в Грановитой Палате, то к его вдохновителю и директору чучельнику Вучетичу, то в полуподвальную мастерскую скульптора Неизвестного. Вращаясь в кругах крепостной богемы и создавая надгробия членам правительств и орденов, он снискал себе всенародную славу и тем посрамил фамилию. Незабываемо было спуститься под своды его ателье, ощупать фактуру новых произведений, вдохнуть ароматы мрамора, алебастра, извести, пристально вглядеться в размашистые повадки художника [1].

Однако приятная утренняя прогулка в клинику или в художественное ателье могла быть безапелляционно оборвана шедшим навстречу мне Леонидом Брежневым. Одет в таких случаях он бывал, между прочим, по-загородному, с напускным небрежением. Но если одежда еще могла оставлять в отношении его намерений те или иные сомнения, то берданка, висевшая на плече, их развеивала.

«Собирайся! — кричал он мне издали.— Едем!»

Достаточно Вам спуститься особой лестницей в наши винные погреба, пройти одним из боковых лабиринтов, соединяющих зал полусладких с залом полусухих напитков, наискось пересечь последний, открыть дубовую, круглую, замаскированную под дно бочкотары дверь в освещенный газовыми рожками сужающийся коридор, миновать его — и Вы попадаете в своеобычный тупик: на конечную станцию подземной конки негласного типа. Линия конки одноколейна, с разъездами, тоннели ее узки, а вагоны малы и грохотны. Зато какие-нибудь полчаса — и Вы на месте: четверка пегих веснушчатых пони, запряженных классическим цугом, развозит вас — членов правительства и ваших семей — в самые противоположные уголки города — на Ваганьково, Новодевичье, в Востряково, другие места активного отдыха граждан.

«Поди-поди!» — лихо трогает с места в карьер Климент Ворошилов, восседающий на табурете вагоновожатого. Человек-легенда, прошедший путь от простого питерского извозчика до казачьего маршала, он держится строго, степенно, себе на уме. Остальные охотники настроены благодушно, непринужденно. Все — в шапках, папахах, а если весна — в фуражках. Речь заходит о чем придется. Рассказываются пикантные происшествия, обсуждаются виды на урожай, беседуется о стихийных бедствиях, говорится о пользе локальных войн и репрессий. На поворотах сильно мотает, и то и знай сидящие слева валятся на сидящих справа. Начинается куча-мала, все смеются, дурачатся, ставят друг другу рожки, а непременный маэстро наш Ойстрах наигрывает задорную фугу. Поездка проходит в обстановке товарищества.

Я взглядываю на Хрущева. Голова его свесилась, рот приоткрыт, а глаза прикрыты. Думает ли Никита Сергеевич над моим вопросом, забыл ли о нем?

---

[1] Будьте любезны дать сноску. Памятник, установленный мне напротив ночлежного учреждения «Метрополь» на месте чуждого нам по духу немчуры Маркса, изваян именно Неизвестным, и я, безусловно, склоняю голову перед сим атлетического сложенья талантом, хотя идею памятника Эрнст позаимствовал у оригинала. Вернее, я просто набросал ему на салфетке примерный проект, в двух словах уточнил детали, и через несколько месяцев ансамбль замаячил на площади Эволюции (бывш. Революции). Он причудлив. Мои современники были особенно эпатированы тем фактом, что колесо двухколесного катафалка не то чтобы еле держится, а совсем уже отлетело и, снабженное парой орлиных, растущих из ступицы, крыл, уселось на вспомогательный постамент. Такое решение выдвигает на первый план ощущение высокого динамизма конструкции и, несмотря на очевидную неполадку, точней — вопреки ей, заставляет почувствовать, как нарастает скорость повозки, как ритм бешеной скачки, символизирующей агонию поступательного движения, попирает все основные законы механиков — пародирует их — рядит их в шутовской колпак, околпачивая заодно и косного зрителя. А в целом скульптура выполнена с ошеломляющей искренностью и теплотой. На северной грани цоколя выбита проникновенная надпись — цитата из книги моих же избранных эпитафий: «Не плачь по мне, Россия!».

«Дядя Ника,— опять тереблю я его рукав.— Вы почерк мой разбирали?»

«Чего? Не слышу.— преобразился он в слух.— Повтори».

Повторять не хотелось, и мы вернулись к этому разговору позже, когда дядя Ника был уже не у дел, а я, сиротливый недоросль, все еще не при них. В те дни Лобное место осенили куполом шапито и открыли там для элиты оздоровительное кафе-шантан с виртуозками живота, стриптизками и прочей экзотикой. Кафе располагало широким ассортиментом блюд. Фирменными считались гланды тапира и аденоиды кабарги. Мы договорились о встрече и заранее задержали столик. Довольно массивный, он стоял в центре зала и в выгодное отличие от походной ванны моей ножками не обладал. О небо! какой Нострадамус мог бы предугадать, как обернется вся эта история с яйцами.

Ведь тогда, пытаясь извлечь их оттуда, куда они закатились, я взываю — стучу в переборку — звоню в свой серебряный колокольчик: вотще: извиваясь механическим серпантином, мы озабоченно мчимся во чреве Аркос-де-лос-Фронтерийского тоннеля. Шум поглощает мои звуковые сигналы: никто ничего не слышит и не приходит. Утратив терпение, я перевешиваюсь через борт таким образом, что мгновенно терплю фиаско, читай — утрачиваю равновесие. Причем не только свое, но и ванны. Вы поняли, что я имею в виду: но и ванны! И, опрокинувшись, та словно бы выблевала из себя всю воду вместе с нашей в ней утренней процедурой и португальской эскадрой, завтракавшей на рейде. Да что там эскадра: выплеснуло даже мои нейтральные субмарины.

«Экое дурное предзнаменование!» — обрушиваясь, осенило меня. И, пав еще одной жертвою гравитации на пол купе, я лежу, ужасаясь подняться, страшась свидетельствовать остальные последствия катаклизма: разрушения, причиненные им, могли быть поистине впечатляющи.

Первое поползновение мое было в сторону двери — открыть — позвать Одеялова — только не колокольчиком — и не криком — а воплем ушибленного гамадрила. И уже не столько насчет яиц, сколько насчет распоряжения об отмене похода. А то и просто на помощь. Но добрался до двери — мне было поразительное видение: в зеркале! Вы тоже, возможно, езживали в таких озеркаленных сплошь салонах. Не думаю, чтобы их упразднили — зачем бы? В конце концов не так уж они и плохи, как принято почему-то считать. Объемны, светлы, одноместны. Конечно, на первых порах, может быть, и случается одиноко, однако если Вы обратили внимание, ванна в любом из таких помещений встает без проблем — ну, а это уже немало. А зеркала при желании можно задрапировать: что и было предпринято накануне отправки. Впрочем, ткани, как водится, не хватило: дверное зерцало продолжало зиять. И, взглянувши в него, дерзающее лицо отшатнулось.

Нет-нет, не помыслите ерунды — я вижу себя, лицезрю и, следовательно, наличествую. Я — есть, клянусь Вам. Клянусь и подчеркиваю. Иными словами, я хорошо понимаю, в чем именно Вы желали бы усомниться, читая читаемое. И вообще — оставьте в покое Вашу иронию, этот тон недоверия, эту платоновскую ухмылку. Боюсь, они не идут Вам. Сомнение здесь не полезно. Оно на манер коррозии разъедает творимый Вами же миф. Вами, мой незнакомый дружище,— не мной. Ибо что я на самом деле — если уж разбираться — такое с точки зрения бестии Вечности или себя как стороннего наблюдателя? Опасаюсь, я не больше того, чем себя сознаю и помню, чем полюбил полагать. Я есмь клейкий росточек генеалогии. И только. И лишь. Сколь непомерно бы ни занесся. А вот для Вас, для Биографа, я — в силу обратности исторической перспективы — несравненно выше любого меня, пусть даже и вознесенного, мрамореющего уже при жизни. Я — миф. И Вы творите его.

Короче, уж как Вы там смеете себе фарисейничать — понятия не имею. И если Вы все же, ехидствуя вымышленным мною ликом, проскрипите скептическое: «А был ли мальчик?» — ибо эта банная шутка, наверно, еще не изъята из обращения — я бесстрашно отважусь на позитивный ответ: «Был, правда, прежде, когда-то. А ныне вместе с водой и калошами на пол ванного, если угодно, купе — вдали от родных берегов — было выплеснуто одинокое, забытое

денщиком существо в отсырелой пижаме. Существо, горделиво прячущее виноватую улыбку в монокль. Большое. И в чем-то глубоко уязвленное. Этакий, извините за наукообразность сравнения, престарелый выкидыш. В зеркале!

И говорю себе, внутренне отшатнувшись: «Отнюдь! Отставить! На помощь звать теперь невозможно. Услышат — сбегутся. Проводники, дрезинщики, канцелярия. Поднимут, станут внешне сочувствовать, а внутренне, про себя — улюлюкать: дескать, стыд-то какой: Свидетель Хронархиата, а практически не одет, да еще и в бирюльки играет, в кораблики. Чернь, умишка на грош, а ведь не оправдаешься перед ними, не обелишься. Не будешь же им стратегию морского сражения излагать: бисер, батенька, бисер. Немало званых, да с горстку призванных».

Так, рискуя простыть и окончательно слечь, слабый, но гневный на Одеялова, что он ни о чем не догадывается, не идет, я лежу один на один с отражением, не сумев позавтракать, в луже, пока он все-таки не является, осознав, что к яйцам, видите ли, соли неплохо подать. Но, когда он пришел с ней, придя, я уже совершенно остыл и ничуть не бранил его. И вместо того, чтоб наставить,— лишь мирно расстроился я у денщика на груди. И вспомнилось детство, когда, рассадив, бывало, колено, я коридорами власти прибегал к утешениям вот таких же усатых и важных опекунов моих. Дядя ль Иосиф, Серго ли Орджоникидзе, Буденный ли — они никогда не отказывали мне в ласке. И сколь худо о них ни писалось бы задним, давно загробным числом, я никогда не поверю в эту бессовестную, суесловную чушь. Смею уверить вас, дамы и господа борзописцы, то были довольно прекрасные люди присущего им периода. Во всяком случае, не хуже нас с вами. И я не вижу, как сложились бы мои обстоятельства, если бы не они — не забота их и внимание. Убежденный интернационалист, я, разумеется, возлюбил сих великих кавказцев. Возлюбил, несмотря на всю их гортанность и взвинченность. Так и знайте!

«Что? Почерк? — переспросил спустя много лет дядя Ника.— Да-да, разбирал».

«Ваши выводы?»

«Я нахожу тебя человеком крутого замеса. Ты создан руководить».

Годы неопределенности и становления перешли. Мнение Хрущева оказалось пророчеством. Но тогда, в средоточье России, на Лобном, автор строк лишь взмахнул руками: «Ах, что вы, что вы, какой из меня политик». И как умел — рассмеялся. Смех мой был хрупок, рассыпчат и нередко переходил в аллергический кашель, а вскоре и вовсе рассеялся, словно бы папиросный дым.

Ветер, дувший в прорехи шатра со стороны Исторического музея[1], весьма освежал. Освежало и пиво. Ника по вредной привычке много курил, стряхивая пепел в кадушку, откуда росла смоковница.

«Человек! — обратился Хрущев к молодцеватому половому в мундире от медицинских войск.— А верно ли сказывают, что головы тут рубили?»

«Так точно,— рапортовал тот навытяжку.— Отнимали».

«Мерзавцы!» — посетовал мой визави, в сердцах откидываясь на спинку петровского трона, заимствованного в Грановитой палате на летний сезон. Я же, если не ошибаюсь, непринужденно откинулся в елизаветинском.

«Топором»,— пояснил половой, услужливо ударяя себя по шее ребром ладони. Но боли он не почувствовал, только тело его сразу словно б увяло, стало ненужным, чужим. На вид казненному было за пятьдесят, тогда как в действительности не сравнялось и сорока. Если верить архивным источникам, он переживал очередную молодость с одной из мадьярских стриптизок, этих весьма темпераментных и лохматых лахудр: отсюда и мешки под глазами.

«А где? — разволновался Хрущев, с зоркостью близорукого осматривая кафе.— Где конкретно?»

«Разрешите побеспокоить?» — сказал военный. Сказав так, он переставил все со стола на поднос и хищным движением сдернул скатерть.

---

[1] Ныне музей Безвременья.

Предмет, открывшийся нашему взору в тот по-летнему незабываемый вечер, Вы можете наблюдать ежедневно за исключением выходных в лавке своего излюбленного мясника, если только мясоедение еще не отменено декретом вегетарианского кабинета министров, каковая мера давно назрела и висит в перспективе клинком Дамокла. Разумеется, мы не настаиваем ни на чем ином, кроме обыкновенной дубовой колоды, на которой особыми секирами и ножами глумятся над трупами наших ни в чем не повинных собратьев по фауне. Причем наиболее деликатной частью телятины и конины всегда почиталась грудинка, или, как в честь фаворитки-графини назвал эту вырезку Лжедмитрий Второй, Челышко-Соколок [1].

Никита Сергеевич осторожно рассматривает сплошь иссеченную поверхность нашего неполированного стола, трет затылок и, словно что-то соображая, долго молчит.

«Плаха, что ли?» — роняет он наконец.

«Плаха, плаха,— угодливо, словно снятую с плеч долой августейшую голову, подхватывает на лету половой.— Та самая. На ней и рубили».— Ища отличиться, он щелкает каблуками.

Никита Сергеевич вздрагивает.

«Историк один разыскал»,— говорит военный.

«Историк?» — вступил, оживясь, я в беседу.

«По древностям спец, сочинитель. Искал по подвалам икону какую-то, а набрел на плаху».

«Фамилию помнишь?» — спросил я официанта.

«Солоухин»,— ответил тот.

Тогда имя это мне ничего не сказало, однако впоследствии он нашумел своими речами и манифестами так, что даже и мне, человеку без политической подоплеки, случалось почитывать его сочинения. Горяч, задирист, автор их не лишен был известной публицистической жилки. В послании, куда его удалили за антиправительственные дерзости, мы познакомились лично. Правда, там его знали под несколько видоизмененной фамилией — Солженицын.

«Добрый день, дорогой мой».— сказал я ему, по-прежнему делая вид, будто рассматриваю в трубу следующих за нами дельфинов, поскольку догадывался, что пароходы подобного класса кишат агентами всевозможных служб.

«Палисандр Александрович? Вот так встреча!» — воскликнул он, также не оборачиваясь. И раскольничья борода его обрадованно взметнулась.

Мы шли на персидском судне «Звездочет Низами» рейсом Порт-о-Преис — Гибралтар. Огибая Азорские острова с подветренной стороны, беспрестанно качало. Подробнее наши взаимоотношения отражены в моем томе «Неизгладимое». Полистайте: весьма любопытно.

«Вы свободны»,— сказал я официанту.

Он повернулся идти.

«Погодите,— поймал я его за лацкан с гремучей змеей.— Я должен вручить вам ряд денег за оказанные услуги. Вот. Только потрудитесь не пересчитывать».— И выдал ему несколько золотых «палисандров» — квадратных монет с профилем Вашего корреспондента [2].

---

[1] Свекор Клавдии Митрофановны Челышко-Соколок приходится мне прародителем пятнадцатого колена по материнской ветви. Пришлась мне в пору и его музейной редкости епанча, найденная в ходе моих отроческих похождений по запасникам Платяной палаты. Это дает основание утверждать, что род наш не оскудел еще плотью. Находка ценна и в другом отношении. Она свидетельствует, что организм шубной моли tinca pellionella иммунитет к нафталину успешно выработал. Не успел я составить дистих «Вот надену себе епанчу — и помчу, и помчу, и помчу!» — как ворс в основном осыпался, ткань распалась, и при свете керосиновой лампы Павла Петровича из екатерининского псише (род старинного зеркала на высоких подставках), где каких только прелестей не отражалось когда-то, на меня загляделся один мой до боли знакомый, одетый, однако, почти инкогнито: столь преобразили его пращуровы лохмотья. (Вдобавок на нем была критская маска Орфея, одна из ценнейших в его огромной коллекции). Впрочем, пристало ли нам кичиться знатностью происхождения! Оставим сие на откуп тем, кому ее не хватает,— и в путь. Как заметил старик Ларри Дальберг своему королю Карлу Первому, когда у того на помосте сдуло и покатило шляпу и оба пустились ее догонять и догнали, «Делу время, потехе час. В. В.».

[2] Автор что-то определенно путает. Описываемый эпизод относится к эпохе иного профиля, иного чекана, когда на денежных знаках фигурировал один из моих предшественников. «Палисандры» же появились значительно позже. Хотя в остальном с подлинным все справедливо: на чай полагалось давать во все времена. И давалось.

Проводив полового взглядом, я оборачиваюсь к Хрущеву. Облокотившись на плаху, Никита Сергеич рыдает: он явно навеселе. Наверно, уместней было бы не заметить слабости бывшего педагога, выказать такт, не спрашивать — мало ли, о чем может скорбеть стареющий мемуарист под мадьярскую скрипку. Тем не менее я не выдерживаю: «О чем вы?»

«Да видишь,— салфеткою утирался Никита Сергеевич,— люди тут кровь проливали, историю делали, а мы тут, значит, едим, распутничаем, классику слушаем. Непочтительно это все, некрасиво. Иваны мы, сударь, непомнящие».

Я киваю. Не успевший уйти окончательно половой приносит еще пару рижского.

«А особенно,— продолжал Хрущев,— особенно стрельцов я жалею. Верно Суриков их, художник, показывает. Василий Иванович: жены, матери их кругом — печалуются, кричат, а ребят все одно, понимаешь, под руки — и на казнь. А утро — ну такое, значит, хорошее, такое раннее — живи-не хочу. Нет, изволь расставаться»,— описывал дядя Ника и топал ногой.

Стриптизка визжала. Смычок экстатировал.

И было уж за полночь, когда вдвоем с половым мы вывели Х. под открытое небо. Повозку подали. Я усадил воспитателя. Сел и сам. Конструкция тронулась.

В связи с капитальным ремонтом Кремля мы временно жительствовали тогда за мостами, в Замоскворечье, где, судя по некоторым данным, должно было поселяться купечество, но я что-то ни разу не обращал внимания, так ли это на самом деле, а если и так — так что же? Меж тем ремонтировали и мосты, и везли нас долго, кружным путем. Зато я нисколько не утомлю Вас описаниями погоды, если с присущей мне сдержанностью констатирую, что погода была. Конечно, Вы вольны добавить какую-нибудь отсебятину, я не против. Рисуйте и дорисовывайте. Передайте, кстати, что вызвездило. Заметьте, что на небе вместо дежурных Рыб заказали отличного Рака. Что по мере езды катафалк все шибче дряхлел, кучер необоримо обнашивался — и осень кончилась разом, словно бы оборвалась остывшая водевильная связь. Назад уносились засиженные белыми мухами тумбы, киоски, вывески и другой реквизит городского спектакля, к восхищению модного зрителя расставленный исключительно нехаляво — как если бы упразднили цензуру.

Попутчик мой спал. Его наполеоновская шинель, подбитая средиземноморским мистралем, грела плохо, и сны ветерану виделись из рук вон, да, наверное, броские, яркие, полные хитросплетений: он вскрикивал и подергивался. А я, изведя уж изрядную сумму страниц, нисколько не удосужил себя мало-мальской фабулой. Пропасть моей вины перед Вами — неизгладима. И пусть в бесчисленный раз оглянувшись, я нахожу, что жизнь моя была бессюжетна, скушна и непередаваемо хаотична, а снов я, увы, не усматриваю в силу какой-то патологической ненаблюдательности, это не избавляет меня от необходимости упорядочить данное бытоописание, изукрасить его, сделать удобочитаемым и, если потребуется, обратиться к энциклопедическому соннику. Словом, пора завязать интригу. Но прежде чем я поступлю так, пообещайте, что в книге моих посмертных, или, если угодно, Ваших прижизненных обо мне записок (что, по сути, одно и то же, поскольку я разрешаю Вам пользоваться моими набросками широко, без стеснения, до неиспользования кавычек включительно, иначе Вы станете это делать без разрешения и испытывать естественную неловкость, а я не хочу налагать Вам охулки на руки ни в каком отношении) не будет помещено никаких материалов, касающихся моих взаимоотношений с Надеждой Сергеевной Аллилуевой.

Я позаботился, чтобы вся переписка наша была сожжена. Сожжены и совместные фото. Но, может, что-то еще осталось. Найдя — уничтожьте. Прошу Вас. Пусть память о ней пребудет безупречно светла — а? Безумица! Я до сих пор не могу набрать для ее поступка весомых мотивов. Ведь дядя Иосиф души в ней не чаял. А обо мне, кому она заменила умершую мать, а затем и ушедшую в лучший мир няню Агриппу,— и говорить не приходится. Я обожал ее всесторонне. Став другом семьи, мне открылись страницы ее истории.

Иосиф встретил Надежду, когда она была фигуранткой императорского варьете. Подружились, сошлись характерами, решили венчаться. Возникло нео-

жиданное препятствие: против церковного брака вообще и в особенности выступили троцкисты. Тогда, чтобы не дать нежелательной пищи для политических кривотолков, повенчались тайно, а Троцкого под благовидным предлогом выслали в Уругвай, где он и почил от укуса тарантула. Брак же случился на зависть радужен. Пролистывая в порядке ознакомления безответственные мемуары Светланы, их беглой дочери, я благодарил Провиденье за то, что чаша родителя меня счастливо миновала и дети мои — вероятно, лишь в силу отсутствия — не нагородят подобной обо мне несусветицы. Насколько же нужно не уважать мать с отцом, живших, что говорится плечом к плечу чтобы на потребу сенсации намекать на какие-то страсти-мордасти в духе шекспировского «Отелло».

«Простите меня, старика, Светлана Иосифовна,— писал я ей, в частности.— но боюсь, Вы не ведали, что творили. Ваш батюшка ревности был восхитительно чужд. Да и к кому — среди сборища маразматических мозгляков и гнид, которые его тогда окружали и были расселяны[1], лишь с приходом Лаврентия,— мог бы ее ревновать этот ладный и годный еще хоть куда Дон-Кихот без упрека и страха? Переберите весь добериевский Кремль: среди сколько-нибудь любвеспособных мужчин не отыщется ни одной достойной кандидатуры. Правда, был еще я, но я был вне подозрений. Всегда. Во всех случаях. Ни одному крепостному мужу не взбредала на ум абсурдная мысль ревновать супругу к ребенку, пусть и необычайно крупному. И Ваш батюшка, милочка, исключения тут не составил. И не оспаривайте, пожалуйста, я знаю лучше». Иначе говоря, Надежда Сергеевна оставила нас добровольно, по собственной инициативе, и я неоднократно рассказывал соответствующей комиссии, как. Раз, играя в серсо у дверей ее будуара, я услышал отчетливый выстрел и заглянул посмотреть, не нужна ли помощь. Увы: все было кончено. Иосиф склонился над еще теплым телом жены сжимая в руке ее с о б с т в е н н ы й дамский браунинг. Завидя меня в дверях, уронил: «Финита.» И сразу добавил: «А как ты думаешь, почему она это сделала?» Недоуменно пожав плечами, я наскоро распрощался и скорбно выбежал. Прощайте и Вы, Светлана Иосифовна. Остаюсь, с удивлением, Ваш Палисандр Александрович.

Что же касается так называемой загадки смерти собственно Сталина, то спешу заверить любителей помистифицировать публику вроде некоего Авторханова Абдурахмана, оставившего Отчизну в годину ее затруднений и настрочившего несколько псевдоисторических детективов, что там, где есть факты, загадкам — бой.

Как-то летом дядя Иосиф наметил круг пограничных реформ. Речь его шла о поднятии «железного занавеса». Кавычки здесь не случайны. Ведь никакого такого занавеса на границе не было и быть не могло, иначе то была бы, наверное, не граница, а балаган. Впрочем, как и на всяких суверенного государства рубежах, там в небольших полосатых будках селились добропорядочные чиновники определенных ведомств, обуреваемые сомнениями и тревогами. Сталин, однако, не разделял опасений сих осмотрительных служб; он считал, что настороженность по отношению к соседствующим державам служит к обоюдному уничижению и конфузу.

«Слушай,— не раз сокрушался он Берии по пути на рыбалку в Парк Горького,— для чего нам на этих заставах людей держать? Неудобно. Давай отзовем».

«Слушай, что говоришь! — отвечал Лаврентий, прилаживая поплавок.— Народ уезжать начнет».

Насаживая на крючок мотыля, Генералиссимус возражал: «Что худого? Поедет — посмотрит, вернется — расскажет. Зачем неволить? Народ — птица вольная».

«Нельзя, дорогой,— Лаврентий забрасывал удочку.— Неприлично, чтоб люди без денег ехали».

«Что деньги, Лаврентий! Неужто кредиток тебе для народа жалко? Напечатай — и обеспечь». Клевало. Генералиссимус подсекал.

[1] Более точно — расстреляны.

Аргументация Сталина оказалась настолько емкой, что уже к Сретенью в расположении крепости появились партии отозванных с пограничья псов — первые ласточки знаменитой «оттепели», инициатива которой приписывается кому угодно, только не дяде Иосифу. Собак оказалось масса. Вольеры реконструировали исподволь, и в ожидании новоселья животные содержались в подвалах Большого дворца, куда мы, кремлевская детвора, безусловно имели доступ. В ход шли пирожки, мармелад, пирожные и другая нехитрая снедь, в обилии остававшаяся после приемов. Понятно, что дружба наша с четвероногими состоялась и крепла. Мы регулярно водили их на прогулки, купали, чесали за ухом. Зима же происходила своим чередом, и снежинки подолгу не таяли и на собачьих лохмах, и на наших бобровых воротниках, розовея при свете рубиновых звезд. Было очаровательно.

Раз под вечер, кубарем накатавшись на ледяной горе, заливаемой Главным Дворником в районе Соборной площади, мы продрогли и направились отогреться в бревенчатую избушку, перенесенную в Кремль из Филей в качестве дома-музея Кутузова и войны восемьсот двенадцатого года вообще. Затерялась эта крестьянская хижина на самом юру, меж Палатой Телесных Наказаний и виселицей декабристов, рачительно сберегаемой для потомков. Но если никто не видел, мы использовали ее как «гигантские шаги» и качели. Правда, под сорок девятым годом группа подростков употребила эту реликвию чуть ли не по назначению. Дело получило огласку. Но его наверняка удалось бы замять, если б не выяснилось, что казненная кошка была не бродячая, а была презентована китайским правительством русскому и отзывалась на кличку Мао. Слух о казни дошел до последнего как такового, и, оскорбленный, он требовал извинительных грамот и выдачи озорников по этапу. Следственная мельница встрепенулась, взмахнула крыльями, и, звеня кандалами, по Сибирскому тракту в Пекин потянулись колонны причерноморских скифов, ни в чем, казалось бы, не повинных. Разбирательству, да и нашим проказам, не видно было конца.

К сожалению, в многочисленных обо мне мемуарах приятелей того времени постоянно встречаешь неточности в описаниях нам присущих игр и прочих рассеяний. Сын Л. И. Брежнева — Брежнев Ю. Л.— в трехтомнике «Палисандрово детство» писал: «Кремль был полная чаша. Все жили весело, увлекательно, без особых забот». Это верно, но не поленимся процитировать далее. «Из аттракционов,— рискованно утверждает он,— недоставало разве что каруселей».

Обидно, когда хорошую книгу портят такие, казалось бы, незначительные, а по существу непростительные ошибки, способные навести на мысль о намеренной фальсификации прошлого, о попытке если не повернуть обратно, то уж, во всяком случае, застопорить его маховик. Да, формально Вы правы, Юрий Леонидович. Отсутствие каруселей в строгом смысле имело место и на сторонний взгляд отзывалось откровенным лишением. Но разве не заменяло их нам своеобычное колесо, на котором колесовали когда-то наиболее рьяных крестьянских политиков типа так называемого Петра Третьего, прозванного Пугачевым? С лихвою. О, колесо! Сколь сладко подчас заскрипит оно на ночном ветру. И терпко затеплится, трепетно засвербит, заноет в нас грусть по схлынувшему. И колобродим. Не спится. Звеним в гостиной бокалами, вилками. И щупальцами изветшалого мозга все шарим и шарим в туманных провалах былого. И нечем дышать. И рыдаем. Припомните, не оно ли хранилось тогда под навесом конюшни. Оно! Тушуйтесь же; не к лицу Вам, кремлевскому старожилу, вольтижировать фактами. Ученый обязан быть точен и бережлив, а тем паче ученый с такой фамилией, как у Вас. Вы знаете басню о граблях? Один человек был небрежен и часто бросал их в траву как попало. Порок его был наказан. Однажды он сам наступил на их зубья. Удар черенка, пришедшийся лентяю по голове, заставил о многом задуматься. Так и минувшее. Блистательные калейдоскопы правительств и их народов, коронации и восшествия, походы и битвы, казни и покушения, расцвет ремесел и закаты цивилизаций — такими, мой милый, вещами нельзя разбрасываться в равной мере. Минувшее, не устаю повторять я своим приверженцам, следует уважать хотя бы уж потому, что мы сами, к несчастью, становимся его достояньем. Точнее не мы, а вы: вы становитесь, госпо-

да. Да, пружинится возразить нам завзятый скептик, но есть в минувшем и теневые стороны. Что ж, если вглядеться в глаза Истории надлежащим образом, то заметишь под ними и тени усталости, и морщины — следы терзаний, бессонниц. Взять прошлое русского трона. Издревле к нему на подступах творилась нездоровая атмосфера взаимонепонимания и нетерпимости. Смотришь — этот удавлен корсетным шнуром одалиски, тот — заколот стилетом гардемарина, третий гильотинирован, четвертый как раз четвертован, пятый отравлен или затравлен— you name it [1]. А я возвращаюсь к смерти дяди Иосифа. Я расскажу, как все было в действительности. Без умолчаний и без прикрас. Им нету здесь места.

Мы знали, что в той лубяной обители, где осенью восемьсот двенадцатого вершилась за ведерным самоваром судьба России, теперь вместо фельдмаршала К. коротает свои овдовелые ночи Генералиссимус С. И шумной, привилегированной, но по-своему демократичной гурьбой вбежали мы в эту избу в упомянутый выше вечер. Дети, внуки, племянники маршалов и министров, работников дипломатических и специальных служб, донельзя изнеженные приевшейся и постылой кремлевской роскошью, мы, нередко бывая здесь, находили немало прелестного в скромном убранстве старинной хижины, в ее неструганой обстоятельности, домовитости, в домотканости ее занавесок, в скупой, как мужская слеза, меблировке. Вот — стул и стол чтобы было на чем и за чем сидеть, закусывать, мыслить и все набрасывать и набрасывать конспиративным бисером памятку, тезис, приказ. Вот мыло и умывальник — умыться. А вот и то, что у нас в отчизне пятеро из десяти назовут кушеткой, один — оттоманкой, а прочие — топчаном: спать? «Какое там спать, в Мавзолее выспимся,— кротко отшучивался дядя Иосиф в ответ на укор своего денщика Абакумова, отчего же он, дескать, все бодрствует. И, наконец, этажерка. И все это совершенно невзрачно — некрашено — ненаглядно.

Вбегаем. На столе еле теплится спиртовая лампа. Гвоздь в шифоньере, который мы не упоминали прежде, чтобы упомянуть сейчас, бездействует: привычная шинель с него не свисает.

«Прогуливается!» — вскричал кудрявый и слабонервный племянник Молотова Илья, имея в виду Иосифа. Без него было скучно. Слонялись, листали рукописи, в подражанье хозяину попыхивали его коллекционными трубками, рассказывали неувядающие притчи про Ленина, ковыряли шпаклевку.

Вдруг вспомнили о собаках, оставленных на морозе, пошли впустить, но те уже убежали ужинать. Остался и был приведен в музей только верный Руслан, длинная пограничная такса лет четырех. Само собою явилось решение сделать дяде Иосифу небольшой сюрприз, для чего Руслана заперли в шифоньере, а сами залезли на печь и притихли. Задернутый полог ее пах Филями, Мытищами и маленьким Паганини пиликал сверчок.

К моменту, когда, ни о чем не догадываясь, взошедший в избу Иосиф скинул шинель и шагнул к шифоньеру повесить ее на гвоздь, спирт в лампе выгорел, пламя заколебалось, угасло, и остаток земного пути Сталин проделал ослепью. Ослепью же он нашарил торчавший в замочной скважине ключ.

Дверца скрипнула. Возликовавший о вольности волкодав благодарно кидается освободителю на грудь. «Засада!» — мнится последнему. Аорта Генералиссимуса переполняется кровью жил, не выдерживает и рвется. Тело падает, а фуражка, слетев с головы, откатилась. Комета, мутнеющая в окне на манер бельма, подчеркивает всю фатальность свершившегося. Животное выло и скалилось, и, оскользаясь, бежали мы обледенелой брусчаткой вестниками всеобщей беды, и лица наши были перекошенней лун.

«Он умер, умер, и черты его заострились!» — смятенно бился косноязык изреченной мысли в колоколе головы.

Осознание своей без вины виноватости, ядовитый осадок косвенного соучастия в преступлении века до сих пор разъедают мне память сердца, и без того истерзанную. И мне не хочется вспоминать в подробностях компликации воспоследовавших дней. Буду краток.

---

[1] Перечислите сами (англ.).

В четверг всю компанию посадили под домашний арест, а в пятницу РКК — Родительский Комитет Кремля — совместно с моим Опекунским Советом приговорили нас к ссылке и лагерям. Приговор привели в исполненье немедленно, и на похороны полководца мы не попали. Обидно. Ведь так мечталось набрать по оврагам подснежников, наплести венков, постоять в почетном карауле у саркофага. Не привелось. Уложили мы в немудрящие гробики их зубные щетки свои, иное рассовали по рундукам и разъехались по предписаниям кто куда. Илюша Молотов, например, уезжал в бальнеологический Баден-Баден. В Крым, в Артек, отправлялся сын Кагановича Никанор. Внучку Суслова хотели везти поначалу на грязи, однако врачи настояли на минеральных водах. Учитывая ее чистосердечное раскаяние и что Катя сходила с ума по Лермонтову с его демоническим идеализмом, Ессентуки заменили ей Пятигорском. Мне ж показан был Дом Массажа. Как старший по возрасту и практически ладный собой и здоровьем, я отдавался туда в работу на должность ключника, или — говоря языком плутовского романа — поверенного в келейных делах [1].

Нежеланный отъезд детей омрачал и без того невеселый дух крепости. Мы еще не успели убыть, а по нам уж, казалось, соскучились. Навещали, кормили разными вкусностями и, журя, желали скорейшего возвращения.

Помню сцену разлуки на росстани зимы и весны у Кутафьей башни: объятья, слова приязни и преданности, обещанья писать, позванивать [2].

Высылка! Помню длинный кортеж, эскорт, помню талые лужи и отраженные в них траурные хоругви, штандарты, портреты. Лик виновника невеселого торжества, обрамленный аспидным крепом, глядел на меня с укоризной. Я отворачивался, и плечи мои сотрясались.

И вот уж я в Новодевичьем.

И меня встречают.

КНИГА ДЕРЗАНИЯ

Меня встречают уснувшие до тепла фонтаны, пруды в ледяных мундирах с катающимися на них грациозками. Меня встречают какие-то вековые деревья со скачущими по ветвям небольшими животными. И встречают киоски, решетки: встречает осунувшийся, по-пушкински ноздреватый снег. Встречают и статуи, на зиму предупредительно замурованные в гробоподобные ящики. Меня, наконец, приветствуют и кое-какие служащие. Почтительно избавляют от багажа и ведут непосредственно в трапезную.

«На обед подавали рябчиков,— констатирую я в своем неукоснительном дневнике в тот же вечер.— Столики были сервированы на двоих».

Испросив позволения и не получив ни его, ни отказа, подсаживаюсь к незнакомой даме. Витал еще в путевой прострации, и вид ее показался знакомым. «Я только что видел ее в среде конькобежек»,— думаю я. И сказал ей:

---

[1] Литературная участь постигла и незадачливого Руслана. Хотя сам он сгнил на мыловарне, его биография, составленная сочинителем В. и изданная где-то на Западе в серии «Жизнь замечательных собак», вызвала большой политический резонанс.

[2] Замечу, правда, что лично я никому ничего подобного не сулил, поелику был не слишком коммуникабелен. Отсутствие родственников и знакомых вне крепости (многоюродных теток в расчет не берите: их экзистенс элегически затерялся в Тверских-Ямских, Староконюшенных и Кривоколенных; не имеет тут смысла учитывать и закавказских огнепоклонников: они все равно неграмотны) ставило меня перманентно вне почты, вне рабской зависимости от нее, а с другой стороны, лишало корреспондентских навыков, всей ценной коллекции таковых, как губка, впитавшей в себя: регулярное приобретение особых бумажных листков и марок, блокнотов для содержания адресов; умение пользоваться специальным ножом для распечатывания конвертов и клеем для их заклеивания; умение вписывать в узкие графы пункты предназначения и адресатские ФИО, абракадаброй велеречивости коих мы столь чураемся; и, конечно, умение компилировать тексты посланий — придавая им некий смысл, украшая их датами и реверансами. Плюс, если только не минус, я был беспомощен в отношении бэлловского аппарата с его иерихонской трубою для уха и рта, с его дырчатым диском. Когда, услаждая жену Брикабракова, я бормотал ему из своей процедурной, что и мизинец мой не проходит в те небольшие отверстия, то душой не кривил. Члену Ордена Часовщиков по праву рождения учеба на часовом отделении КРУБС не была не рекомендована именно в силу величины и неловкости пальцев: в часах ведь такие тонкости, что даже и небольшой по размеру специалист постоянно трудится в лупе. Придирчиво взвесив все «за» и «против», я поступаю на смежное, погребальное отделение училища, которое в связи с высылкой в монастырь решаю закончить экстерном.

«Пленительная погодка, миледи. Типичная оттепель. Вы заметили, как помутился и матов каток? Мне неймется его уподобить старинному зеркалу, у которого потрескалась амальгама. А вам? Между прочим, у нас в Кремле тоже есть ледяные пространства. Там, видите ли, заливают аллеи. Скользишь себе на досуге, вальсируешь».

Вся в чем-то вечернем и черном, в чадре и темных очках, незнакомка не отвечала, и мне не оставалось иного, как самому поддержать незаладившуюся беседу.

«Я в зимних забавах, конечно, не дока, не спец, но, по-моему, вы фигурируете на заглядение плавно. Просто что-то особенное. В вас бездна пластики, бездна. Вы истинная виртуозка». И все такое.

Как видите, тон беседы был bon, т. е. исключительно светск. Отобедав, моя незнакомка знакомого вида откинулась на спинку жесткого черного кресла и плавно отъехала в нем, манипулируя какими-то рычагами. Тогда, окликнув лоснящегося метрдотеля, которого звали З., автор строк надавал молодцу казначейских билетов и живо поинтересовался: «Скажите, дражайший, а та миловидная старушенция, с которой мы так славно потараторили только что, она вообще разговаривает?»

«Обычно без умолку,— отвечал мне распорядитель.— Впрочем, вот уже несколько лет, как — ни слова».

«То бишь — решительно ни гу-гу?»

«Совершенно».

«А что так?»

«Мадам настоятельница блюдет пост молчания».

«На какой же предмет?».

«Сожалеет о невозвратном. Вообразите, когда-то она состояла в супругах персидского головореза Хомейни. Слышали про такого?»

«Так, краем уха».

«Теперь старикан пошел в гору, разбогател, а прежде был заурядным муллой безо всяких перспектив. Жен своих содержал в беспорядке, впроголодь. Говорят, у него в серале не было даже водопровода».

«А ванна? Чем же они ее наполняли? Неужто единственно грязью?»

«Ванны не было тоже».

«Какое несчастье!»

«А за нуждою,— повествовал З. доверительно,— ходили в канаву и вместо туалетной бумаги употребляли обычные придорожные камни».

«Зачем же не подорожник?»

«Использование широколиственных трав в Персии карается по Корану,— ответил распорядитель.— Короче, рутина гаремной жизни тяготила мадам, до замужества жившую как у Аллаха за пазухой. Шутка ли: дочь Мехмеда Шестого!»

«Вахидеддина?»

«Да-да, султана Оттоманской империи. Добрейший, рассказывают, был папаша, ничего для детей не жалел. И как-то, гостя у него в Трабзоне, она говорит ему: папа, можно я покатаюсь на лодке? Ну, разумеется, покатайся, сказал Мехмед. Тогда она села в шлюпку и уплыла».

«Далеко ли?»

«В Россию. Точнее в Аджарию».

«Понтом?»

«С вашего разрешенья, Эвксинским. С ней плыл один знаменитый пройдоха — поэт, который, в сущности, и вовлек ее в авантюру».

«Турок?»

«М-м, младотурок,— уточнил метрдотель, знавший цену определенности.— Напосвящал ей стихов, обещал жениться, уговорил бежать, а по прибытии, если не ошибаюсь, в Батум, пошел да и утопился».

«Какая бестактность!» — рассерженно я сказал.

«Поразительная,— ответил З.— Бросить женщину с малолетним мальчиком на руках. Она ведь бежала с сыном аятоллы».

«С сыном? А что с ним сталось?»

«Сначала вырос, потом состарился»,— молвил метрдотель.

«О, за старостью дело не станет, время стремит искрометно»,— посетовал автор строк.— И где же сей подвизается?»

«Неподалеку. Да вы его, верно, знаете, Ваше Сиротство, у него синекура на здешнем кладбище».

«Кербабаев?»

«Он самый.»

Ах, мне ли было не знать Берды Кербабаева! Типичный персидский турок, он числился в офицерах того разряда, за коим упрочилось бравое имя запаса, и, будучи в нем капитаном, нередко нашивал не сапоги он, но валенки.

Есть люди, в чьих жестах упрямо сквозит ни на чем не основанная уверенность — в себе ли, в завтрашнем дне, в преданности ли своим идеалам — кто знает их, этих выскочек. Есть и другие, в чьих жестах сквозит неуверенность, что совершенно естественно и похвально. Наличествует, наконец, и третья категория публики. В жестах ее — даже если она по-бернаровски драматична — не сквозит ничего.

Капитан от складирования Кербабаев Берды Кербабаевич не вписывался ни в единую из перечисленных категорий, поскольку жестов за ним никаких не числилось и замечено не было. Он не употреблял их. Поэтому иногда казалось, что органами жестикуляции он попросту не владеет. Так те из нас, кто не использует бранных, или, как их еще называют, крылатых слов, способны произвести впечатление, будто их и не знают. Ведя себя таким образом, т. е. таким, что руки его постоянно висели — но не безвольно, как плети, однако и не по-солдафонски, навытяжку, а спокойно и просто висели,— Берды представал перед вами фигурой безыскусственной простоты, очевидности, был воплощенная ясность. Впрочем, не родился еще тот вышестоящий по званию командир, который отважился бы упрекнуть его в неотдании чести: прямота и спокойствие, с какими складеец держался перед любым начальством, не только делали Кербабаеву честь, но и не допускали никаких нареканий. Они же, разумеется, и подкупали. Все перечисленное обеспечило ему репутацию блестящего отставника и сотрудника, и привычка к валяной обуви не мешала ему в неслужебный ядреный денек блеснуть перламутром штиблета, брильянтом запонки, александритом галстучной скрепки, что, разумеется, не могло не питать завистливых сплетен, будто бы капитан нечист на руку и, сторожа от других, обирает захоронения сам. «Так ли это?» — бестактно расспрашивали его иногда подвыпившие охотники, соизволяя шутить. Смугловат, хмуроват и подтянут, капитан им в ответ лишь насмешливо ухмылялся, и рот его, искаженный в детстве аджарскими компрачикосами, горел золотыми коронками, как монастырь — куполами.

«А мадам? Как слагались ее обстоятельства? И если уж мы завели о ней речь, то как ее имя?»

«Мадам Шагане Хомейни. Хотя большинство клиентуры зовет ее просто Джуна. В последние годы она служила по заграницам — от Чили до Индонезии, в лучших домах нашего типа. Огромный опыт. Так что по возвращении в Эмск ее сразу направили к нам и произвели в настоятельницы».

«Строга?»

«Мегера»,— признался метрдотель.

Мысленно потирая руки, П. загадочно улыбнулся: из дамских характеров ему наиболее импонировали злые и вздорные. «А что это за спицеблещущая колесница? У мадам, вероятно, проблемы с ногами?»

«Навряд ли,— сказал мне З.— Их ведь нету».

«С чего бы это?»

«С рожденья».

В тот же день прохожу инструктаж у завхоза, расписываюсь в амбарной книге в полученьи ключей и заполночь, весь проникшись сочувствием к настоятельнице и в нарушенье всех правил, благоупотребляю один из. Вращаясь, окла-

дистая бородка ключа коснулась нижней кромки сувальды, штифт вошел в ее выемку, пружина ослабла, и ригель послушно откатился в резерв. Дверь не скрипнула. Я вошел.

Шагане почивала под балдахином. У изголовья ложа горел ночник, выхватывая из сумрака изысканно скупую сервировку прикроватного табурета: мелковатый фужер и заметно початый графин благородного саке; в нем, польщенная моей убедительной просьбой, кухарка мадам с вечера растворила немного снотворного. Лицо настоятельницы покрывала чадра. Как, должно быть, прекрасно оно в закоснелой своей порочности, подумалось мне, как неурядицы ремесла, вероятно, сказались в нем, если, даже впадая в объятья Морфея, она продолжает скрытничать. Испорченное воображенье зашлось в ознобе. В минуту мое альтер эго окрепло, взошло.

Шагане застонала. Ей снилось, будто какой-то прекрасный юноша — неискушенный, почти что невинный — изнежнвает ей межножье. Всмотревшись, я трепетно узнаю в нем себя и снимаю с лица ее сетчатую вуаль. Предо мною возник испещренный крапленинями, трещинами, траченный в азартных тасовках лик пиковой дамы — заблудшей дочери истамбульского истэблишмента.

Она разметалась. И если вам посчастливилось созерцать хоть студенческий слепок начинающего Пигмалиона, изваянный с антикварной калеки из Мелоса, и если при виде физических недостатков богини дыхание вам перехватывал спазм эстетической горечи, тогда вы поймете, что мне открылось и довелось пережить. Жалость прилила ко всем членам моим, как хмель,— и тут же перебродила в вино филантропии, гуманизма, в неутишимое искушенье принять участие — в ней, потасканной страстотерпице,— во всех ее сквернах, пороках, падениях и греховных исканиях. Мне захотелось пройти с нею вместе весь пройденный ею предосудительный путь, исследить его ретроспективно; опосредовано — методом искупительного самоуничижения — отведать лишений замужества и внебрачных мытарств, проникнуться болью ее подневольных оргазмов, цинизмом интернациональных оргий — и только потом уж дать волю мятущимся чувствам, накипевшим слезам — раскаяться и расплакаться: за нее, за себя, за нас взятых вкупе — нас, без устали, разными способами погубляющих себе души.

Осторожно я приподнял ее, подложил ей под поясницу подушку, взошел на ложе и скромно, как для молитвы, встал пред женщиной на колени. Не решаясь прильнуть к ненаглядному телу, я дерзко, но сострадательно, словно лекарь, предпринял вмешательство во внутренние ее дела.

О беглянка! Войдя моим сызнова восхищенным блудом в изнывающее в грезах лоно твое,— я вошел в эти грезы — наполнил их своим существенным содержанием — упруго овеществил — стал естественным и полнокровным их содержанием.

Очи турчанки взволнованно заметались под веками, линии лба и щек исполнились как бы сладкой иронии, но Морфей не выпускал ее из объятий своих, и Эрос бесстыдно зазыбил несчастную в люльке желания. Когда же сомнамбулическое блудодейство постигла высокая кульминация и все существо Шагане потрясла малярия катарсиса, она очнулась; однако видение продолжалось и наяву: ею пользовались. Сон оказался на редкость в руку. Настоятельнице было невыразимо приятно и стыдно вместе. Хотелось кричать. Но — о чем? От чего именно? Она терялась в догадках.

«Простите, я вижу, вы смущены,— начал П., в свой черед приближаясь к заветной развязке.— Признаться, я тоже в смятеньи. Мне мнится, я давеча вас огорчил. Только я не выдумывал: там действительно кто-то катался, а я — я дальтоник, я — дальнорук, и весь мир — вся подлунная с точки зренья меня — или, если хотите, по мне — есть пестроватое крошево. Вся вселенная аляповато расплывчата. Фигуры заскакивают одна за одну — заползают, и где же — откуда мне было знать — согласитесь. Касательно, то есть, вашего incapacité — откуда? Мне, свежеприбывшему новобранцу. Сослали, сослали в ваше распоряжение, в ключники, а сами не предуведомили, не упредили. И вот — выхожу кругом виноват. Захожу принести извиненья — загладить — вы дремлете — раскидались — вся как-то ни в чем — и я мыслил просто поправить — не ситуацию, так хоть одеяло, подушку — хотя бы погладить — нет-нет, не кричите — теперь уже поздно — уж заполночь — ваши уста скреплены обетом — и вот — не взыщите — такая оказия — я на грани — на грани прекрасного!» — задохнулся П. в пароксизме раскаяния и прильнул к ее туловищу всем своим.

Ночь пришлась нам не в пору — была коротка. Коротка, как ночная сорочка для легкого поведения. И когда темнота начала кончаться, я продлил ее, плотно зашторив бойницу кельи, имевшую непристойную форму овала.

Мы познавали друг друга, не зная устали. Мы были решительно разные, но это-то и сближало нас — огромного русского отрока и небольшую пожившую женщину оттоманского происхождения. Ей нравилось во мне все: и голос, и внешний вид, и переизбыток страсти, и расцветка моего пижамо, и величина моего альтер эго, которое в продолженье всего визита практически не оставляло предмет восхищения своими заботами. Да и я отмечал в ней немало приятного: пожилой, нездоровый багрянец щек, крючковатый костистый нос, полноватый живот и вислые, очень длинные груди с пупырчатыми наперстками синеватых сосцов: ими я упивался, как тибрские братья. Выше всяких похвал оказалось и лоно...

...Не отставала и Ш. Мы оба были настойчивы, бескомпромиссны и беспощадны друг к другу, словно маньяки, купнодушно ищущие философский камень. И наши совместные поиски сближали нас и сближали: мы обретали друг друга. И упиваясь горячечным бредом соития, я причащался грехов ее, становясь человечнее, проще, а значит — прелестнее. А Ш., вкушая моей относительной непорочности и юной любовной влаги, прочувствовала, осознавала глубины своих минувших падений и — очищалась, раскаиваясь.

«Мы родились, чтобы встретиться, и встретились, чтобы переродиться»,— горит моя дневниковая запись от марта девятого дня.

О, как целительна была наша связь, как искупительно и отрадно было это взаимное унижение. И на исходе следующей ночи и сил мы не могли больше сдерживать слез и детьми разрыдались в какой-то сквозной истерике: пытка счастьем казалась невыносимой.

Так, сударь мой, вспыхнуло — полыхнуло — хлынуло первое настоящее чувство дерзающего лица. И точно так же началась его служба в качестве рядового ключника на каторге эротических буйств.

Должность ключника, насколько я ее понимал, считалась почетной, однако в ваши обязанности что-то все же входило. Во-первых, Вы были обязаны быть им считаться, числиться, что уж само по себе докучало; а во-вторых, знать и помнить об этой обязанности, для чего и носили на шее монисто их ключевых болванок, перебирая их, будто четки. Вдобавок вы записались на монастырские курсы ирландской чечетки и много практиковались в уединении. Причиндалами Пана — призывно! — бренчало ваше монисто и клацали ваши голландские клоги — то тут, то там — по зацветающим закоулкам подворья вы звали — и она приезжала. Спицы ее партикулярного кресла, отлично подтянутые мастером на все руки отцом-привратником Никоном, воспаленно сверкали, и им навстречу сияли ролики моего самоката, искусно смазанные тем же Никоном. И реяли полы халата.

Съехавшись, мы немного катались по парку, нимало не прячась от монастырской челяди и гостей, ибо состояние персонального счастья, любезнейший, есть в первую голову состояние обостренного безразличия к посторонним — со всеми их кривотолками. Случалось, не вытерпев ждать до сумерек [1], мы убывали в заброшенный сектор сада, где к нашим услугам висел читальный гамак. Мы читали в те дни «Камасутру», староиндийский самоучитель фривольных утех под редакцией знаменитого сексопатолога Эриха Фромма, эсквайра. Девяти-

[1] По доброй традиции, которую мы почти никогда не смели нарушить, сотрудники заведения могли находиться в женских (Марьинских и Лопухинских), а сотрудницы — в мужских (Годуновских) палатах лишь от захода солнца до полудня.

томное руководство пестрело сотнями репродукций с картин замечательных колористов Востока. События, запечатленные на полотнах, восходили, по-видимому, к раннему матриархату и носили, что называется, групповой характер, имея место на всевозможных качелях, батутах и в гамаках. Число участников ограничивалось только рамками иллюстраций: они буквально клубились телами, но каждый был, очевидно, при деле — кто непосредственно, кто — в порядке обслуживания: подавали напитки, помахивали опахалами, покачивали качели. Но чем бы и как бы ни занимались любвеобильные древние, вас всегда остраняло выражение изображенных лиц — их спокойствие, созерцательность, кротость, их какие-то непричастные, благостные улыбки. Улыбки Будд. Отдавая дань мастерству, явленному в сих забавных буколиках, позволим себе осмыслить, что уже и античные живописцы не всегда, к сожалению, следовали этнографической правде жизни. Ибо таких малоэмоциональных улыбок в такие интригующие моменты действительности не удается приметить нигде — пусть и на самом дальнем Востоке. И тем не менее «Камасутра» доставила нам немало приятных и небесполезных часов. Конечно, мы не могли выполнять всех ее предписаний дотошно. Положим, в нашем распоряжении был гамак, но ведь не было никаких сообщников: целомудренны, мы довольствовались лишь друг другом. Но сколь по-настоящему, полнокровно довольствовались! И мимика наша — поверьте, мы специально сравнивали — не шла ни в какое сравнение с мимикой буддийских эротоманов. Наша была бесконечно естественней и щедрей.

Но лето кончалось: на кладбище звaукались первые грибники

Размышляя о русской осени, заключаешь, что та не балует человека ничем, кроме вызревших кое-как плодов, и полна отвратительной слякоти и печали. Осень негуманно ставит вас перед фактом своих проливных дождей, продувных норд-остов. У многих обложено нёбо, но небо — у всех. И хотя в бесхозяйственных наших широтах батуты и гамаки качаются меж березами и в декабрьский градобой, и мартовским буреломом, лично ваш качальный сезон завершается в августе-месяце. В сентябре же, когда безответное детство и отрочество гуртом загоняется в душегубки гимназий и бурс, а птицы шеренгами летят на курорт, вы начинаете пользоваться гостеприимством некоторых разоренных склепов.

Бывало, я извлекал Шагане из коляски, усаживал на пустующий пьедестал и скорбно, в ритме «Аве Марии», делил с ней два-три безумья подряд. А потом, приведя себя в прежний вид, мы снова катались. Неуют этих поистине нежилых помещений, подернутых мхом, как мехом, и слизью, как слизью — снаружи и изнутри, не претил нам. Точнее, мы просто не замечали его, третировали невниманьем. И тот, кому хоть единожды на веку довелось пережить бесшабашное уличное приключение, а лучше — целый бездомный роман, тот поймет, почему. Поймет, ностальгически улыбнется и скажет: «Горение и чистоплюйство — несовместимы». К несчастью, пьедесталы нередко случаются не под стать — главным образом раздражительно высоки, даже мне — и тем самым напоминают знакомые всем подоконники наших парадных подъездов, а сей ущерб интерьера игнорировать не приходится: приходится применяться. Поэтому тот, кто догадывается, чего мне стоили те тактические победы над вертикалями, как болели потом оскорбленные мускулы и зизи и как по-настоящему никогда не выветрится из цепкой обонятельной памяти запах тех нечистот, что кучами оставляют после себя осквернители склепов во всех странах мира,— тот пусть вместе с нами воскликнет: «Да здравствуют зимы, что озонируют воздух, а также возводят вас, представителя нашей дерзающей молодежи, на котурны коньков!»

И зима наступает.

Утро. На первом, за ночь выпавшем снеге появляются анонимные прокламации, суть которых сводится к самой из них незатейливой: «П. плюс Ш. равняется Л.»

В ответ поступаем не менее математически: ноль внимания. Правда, пролистывая сейчас свои новодевичьи записи, я улавливаю намеки на то, что меня в глубине души нет-нет да коробили, задевали проделки сплетников. В дневниковой заметке от третьего января, лаконичной и хлесткой, читаем: «Ничтожества!» А от четвертого: «Любопытствующее человечество напоминает нам тараканов,

питающихся грязцой чужого несвежего бельеца, и с какою-то прямо брезгливостью ежеутренне осознаешь, что и сам ты имеешь обличие гомо. И коснувшись себя — так и хочется кинуться в омут спасительного всеочищающего плескалища. Да, собственно, и кидаешься».

А не плачевно ли, к слову сказать, что все старания Брикабракова-опылителя не увенчались успехами? Годами пульверизировал он кремлевские покои и туалеты, но мухи все продолжали жужжать, комары — зудели, клопы — покусывали, а когда, преисполнены мизантропических настроений, вы устремлялись к пока еще не наполненной ванне, чтобы наполнить ее, то обнаруживали в ней безобразнейших «пруссаков». И вас начинало не то что подташнивать, а форменным образом рвать.

«Прямо в ванну?» — слышу я голос дотошного летописца.

Увы, дружище, увы. И пусть лекарь Припарко Аркадий Маркелович в своих «Рассуждениях крепостного врача», опубликованных в латиноязычном журнале «Аурора Бореалис», настаивает, будто ранние *мокроты*[1] мои выделялись на почве глистов, оставим сие безответственное утвержденье на совести тех, кто присвоил ему ученую степень. Мальтузианское омерзение к насекомости человечества и к себе, его неотъемлемой части,— вот действительная причина всех наших обратных утренних перистальтик.

Меж тем отношения Ш. и П. развивались неординарно. Мужчины давно привыкли, что женщина поначалу снобирует их притязания единственно для того, чтобы с пущим эффектом вступить в связь впоследствии. Мировая драматургия и синема отполировали этот унылый фарс до блеска общего места, до лоска заерзанных зрительских фалд. Но тем-то и примечательна жизнь, что, игрива и взбалмошна, предлагает нам более исключений, чем правил. Довольно активно отдавшись на первом же, если так можно выразиться, рандеву, Ш. по прошествии кое-какого времени стала словно бы сожалеть о содеянном. В один из последующих февралей П. заметил, что Ш. избегает встречаться с ним — поначалу лишь взглядом, а после и личным образом. А если общение оказывалось неизбежным, то все чаще оно отзывалось голой платоникой. Последняя близость в склепе относится к середине марта. Действующие лица — все те же, привычен и антураж, однако П. откровенно неистовствует, а Ш. безучастна, как мумия. Соитие разочаровало обоих. Когда они покидали кладбище, снег сыпал типичной известкой, следы колес и коньков исчезали тотчас, а наступившей весною Ш. так охладела, что относительно гамака не могло быть и речи.

Недоумевая, П. жаждет выяснить отношения, но и это оказывается проблематичным. По вечерам Ш. у себя не бывает, ночами ключ П. не входит в замочную скважину настоятельницы, а точнее — в скважину дверного замка в двери ее кельи, т. к. Ш., запершись изнутри на свой, оставляет его в замке до рассвета, а на рассвете ее навещает пить чай заведующая гримуборной Ф., типичная молодящаяся пожилуха. Подобных ей дам вы найдете в домах массажа любого правительства. Все они вроде бы высоконравственны, недоступны, все одеваются разнообразно, крикливо, пестро, только, как бы они ни оделись, вам чудится, что помимо туфель на них — только розовый пеньюар — пеньюар да и только — подумайте! И разве подобное не выводит из равновесия? не томит? не выбивает вас из наезженного? не толкает на малообдуманные поступки? С целью вызвать у Ш. чувство ревности и тем воскресить былое П. решается на один из.

Довольно ярким апрельским утром, в день тезоименитства небезызвестного Ленина — уж так почему-то совпало — П. в разгар чаепития является в опочивальню Ш. и на глазах еще сонной хозяйки откидывает Ф. на софу. Он срывает с гримерши опостылевший пеньюар и явочным, как говорится, порядком овладевает ею.

Обе женщины бурно, хоть совершенно по-разному, переживают эту мимолетную связь: Ш. бьется в глухой бессловесной истерике, Ф.— в экстазе. Финал психодрамы классически зауряден: с горящими на мясистых щеках пощечинами незадачливый интриган выставляется вон. Вопреки его ожиданиям случай в

---

[1] Читай, разумеется,— рвоты.

келье нисколько не послужил к воскрешенью былого. Напротив — при встрече Ш. не подаст провинившемуся ни руки.

П. в отчаянии. Он проклинает тот час, когда впервые вошел в ее грезы, овеществив их. Он желает забыть и ее, и свою к ней привязанность. А напрасно. Когда-нибудь, оглянувшись, он осознает, что их взаимоотношения достойны отнюдь не забвения, но всяческого о себе напоминания, ибо были прекрасны во всех нюансах. Впрочем, что значит — были? Ведь: «Истинные взаимоотношения,— набросает П. на каком-то случайном клочке бумаги, вступая в третье тысячелетие от Рождества Христова,— взаимоотношения в лучшем значении слова не прекращаются и за чертой неизбежности, где, по мнению маловеров, кончаются все, даже лучшие, начинанья». И ниже: «Роль, которую в воспитаньи незрелых эмоций моих довелось сыграть сей благочестивой магометанке, огромна и подобна дрожжам: бросьте их куда следует — и зелье забродит». И на обороте того же клочка: «Как наивная барышня из чудесной провинциальной семьи, приехавшая в столицу причаститься шекспировской страсти,— та самая барышня, что с вокзала обольщена артистическим прощелыгой — ничтожнейшим щелкопером — смазливым щеголем — свезена в номера и обманута — и в сумятице закулисных оргий отмстительно сыплет гребенками по все новым подушкам — и тратя остатки скромности — и не чураясь самоновейших позиций — лихорадочно плещется в нечистотах общественных ванн — так и я же: обманут — оставлен — задет в возвышенных чувствах — кипел и безумствовал, юношествовал и дерзал!» [1]

Когда какие-то вялые, изможденные голоса негромко, но внятно зовут вас по имени-отчеству, а на всей перспективе бульвара, как вам, дальнозоркому, представляется — ни души, не убеждайте себя, что сегодня вы попросту не в себе, не выспались, утомлены и гонимы и что, в сущности, то никакие не голоса, а лишь вспорхи и перепархивания пернатых выводков в кронах очаровательно, что там ни говорите, метлообразных и долговязых вязов нашей Эмской провинции, а лишь ненавязчивый и бессвязный лепет подземных вод, а только шуршание листопада, падающего дождя или выпавших из плевательниц облигаций казенного золотого займа; не убеждайте. А также не сетуйте на слуховой аппарат и спичками с ватными наконечниками не ковыряйте в ушах, ибо если вы даже проткнете себе в сердцах барабанные перепонки, то и тогда голоса не угаснут: вы будете слышать их не ушами, но всем существом, как слышал свои хоралы оглохший Иохан Себастиан.

Вот, вот — опять. И опять по имени-отчеству: «Палисандр Александрович, а, Палисандр Александрович,— отзовитесь! Да-да, отзовитесь», а то никогда не угаснут и, словно пернатые выводки, станут клевать вам коленную чашечку вашего черепа. «Палисандр Александрович, помните? помните? а?».

Будьте же, сударь, мужчиной, каковым вы претендовали быть в те бесславные залихватские поры,— не трепещите. Ведь это не более, чем голоса — отголоски тех глоссалалий, истошных сладостраданий, любовных одышек и блудливых речей, которые вас некогда столь умиляли — вас, тогда похотливого хохотливого жеребца, а теперь непотребного сентиментального мерина. Словом, внемлите и возражайте: мол, да, я — Палисандр Александрович Дальберг, уважительно прозванный своим благодарным народом Палисандром Прелестным. И это именно я, Прелестный, стою на бульваре, взволнованно опершись на чугунный с бриллиантовым набалдашником зонт, что в тысяча пятьсот восьмидесятые годы метнул в своего непослушного недоросля Иван Васильевич Грозный, один из моих кремлевских предтеч. Зонт, а вместе с тем — посох, причем отличнейший: и остер, и увесист. Таким, доведись, не только от сына — от своры собак отобьешься. Простите себе эту горькую самоиронию, но с чем идти по миру вы уже обрели. Только не теперь, потерпите. Такое всегда успеется. Нынче — время бестрепетно отозваться взыскующим голосам: дескать, припоминаю, припоминаю, правда, не все и не досконально. Еще бы, еще бы вы удержали в памяти всех

[1] О молодость, ты ли не отболела!

поверивших вам старушек — из тех, что имели обыкновенье гулять аллеями Новодевичьего.

А голоса все отчетливей. Мол, Палисандр Александрович, а, Палисандр Александрович, а помните, как вы стали захаживать к нам, вашим многоюродным теткам, и как мы, дескать, доверились обаянию вашего отрочества, и как вы не то чтобы не оправдали доверия, но как бы превратно истолковали его? А ведь мы, Палисандр Александрович, ждали вас годы и годы.

Вам, должно быть, известно, что в крепость, где вы появились на свет и жили, мы не были вхожи, но вследствие родственных слухов знали, что где-то там, в нам недоступных чертогах, растет способнейший якобы мальчуган — мальчуган-вундеркинд, гений чистой воды, который когда-нибудь вырастет и удосужится навестить своих дальних и как-то не слишком достаточных родственниц. Нет, судьба нас не жаловала излишествами. Периодически мы считали копейки и сетовали друг другу, что вот, мечтаешь на похороны прикопить, да все на лекарства тратишь. Однако, истые институтки, мы вынесли из своих пансионов любовь к добродетели и девизы: вперед! — выше голову! — не поддаваться унынию! Незамужние сестры, мы двигались разными тропами, но навстречу единой заре. Мы шли, взявшись за руки, и скромность предпочитали бесчестию, чем бы это последнее ни вуалировалось. И пускай мы знакомились с некоторыми из порядочных молодых людей и некоторые из них производили довольно благоприятное впечатление,— знайте: при этом никто никогда не переступал известной грани, черты, а если и выискивался излишне самонадеянный кавалер, то он немедля получал поделом — немедля!

Но вам, должно быть, также известно, что дни нашей молодости минуются исподволь, словно волны, и как-то вдруг понимаешь, что только несколько теплых очаровательных встреч по-настоящему памятны, живы, непреходяще волнительны. Словом, вот мы и не заметили, как зачастили на дорогие могилы, навещая почивших подруг. И все чаще мы, сестры, собирались своими непритязательными кружками — вязали, штопали, стряпали, играли на фортепьяно, в лото и вспоминали, как жили прежде. И что бы вы думали? Выходило, что жили мы славно: трудились, мечтали, верили, пестовали идеалы. Мы жили, как все, Палисандр Александрович, и грех нам жаловаться. И мы не любили, когда, возникая на наших девишниках, вы с какой-то такой дедоватой прямо-таки иронией утверждали, что вечно блуждаете в наших головоломных проулках и что наш ностальгический экзистенс элегически затерялся в кривоколенных и староконюшенных подворотнях. Зачем вы так говорили? Нам были обидны уколы ваших иносказаний. Мы жительствовали вовсе не в этих улицах, а в совершенно иных. В Мещанских, если угодно, в Тверских-Ямских, на Грузинах. Хотя что верно то верно: небось, с непривычки и тут заплутаешь — бедлам. Таблички на зданиях выцвели, дворников рассчитали, рожки повыкрутили, от кошек проходу нет. Купишь, бывало, колбаски, вывесишь к вечеру за окно, а зарею посмотришь — один огузок висит: вот и постись неурочно.

Но лучше бы он совсем потерялся — пусть вовсе бы сгинул, наш экзистенс,— совершенно, чтоб вам, Палисандр Александрович, никогда не найти к нам дороги — чтоб нам никогда не встретиться — не сойтись — не обмолвиться словом. Вы слышите, гадкий мальчишка! Ах, Господи, как вы нарушили нам престарелый покой. Ведь это же просто невероятно: годами — буквально годами — ждешь учтивого, благовоспитанного племянника, сына, может быть, неродного, но незабвенного брата, и вдруг — нате вам: заявляется фанфарон и бретер, фат и циник с замашками ломового извозчика. И наиболее возмутительно то, что вы решительно не желали меняться к лучшему, перенять хороших манер. Так, стоило нам тактично заметить вам, что потому-то и потому-то не следует делать то-то и то-то, положим — качаться на стуле, поскольку портится дорогая вещь, и затем, вы рискуете сверзиться и размозжить себе мозжечок,— как вами овладевали типичные достоевские бесы — конвульсии. Вы принимались нататься по полу, душераздирающе хрюкали, хохотали, лаяли. А когда мы бросались вызвать карету скорейшей помощи, вы спокойно вставали, отряхивались и заявляли, что все прошло и кареты пока не требуется. Такое фиглярство! А мы по сво-

ей наивности столь опасались за ваше здоровье — не дай Бог что случится: с нас же и спросится — что слово потом уж боялись вам поперек молвить. А вы стали пользоваться этим в своих интересах, взялись помыкать, командовать нами, покрикивать, вынуждали нас пить спиртное, петь уличного разбору песенки и вызубривать наизусть вульгарнейшие куплеты вашего собственного сочинения, которые вы беззастенчиво называли пиесами. Не смея роптать, мы ходили по струнке, иначе вы принимались пощелкивать себя по носу — часто-часто, Палисандр Александрович, часто-часто, словно вы были майн-ридовский пересмешник, дерзающий передразнить дрозда. Дрозда или барабанщика, отбивающего барабанную трель. И звук пощелкиваний, между прочим, казался пугающе звонок, будто бы вы стучали не по носу, а прямо по перепонкам. То был признак какого-то внутреннего треволнения, грозящего перерасти в неуемную бурю и натиск. И мы не смели ослушаться, мы не смели. Хотя однажды имели неосторожность поинтересоваться: мол, отчего вы так поступаете?

«Оттого,— отвечали вы, горячась,— что в детстве мне на нос упала гиря от ходиков — а?»

«Бедный малютка! Какое несчастье! Мы ничего об этом не знали, нас не уведомили. Простите».

«Простите? Мне не в чем винить вас. Ни вас, ни кого бы то ни. Разразилось стихийное бедствие. Перетерлось связующее звено, и распалась привычная цепь времен. Вот и все. Только ведайте: ваш племяш перенервничал, перетерпел, судьба распорядилась им негуманно. И ведайте также, что с колыбельных лет переносицу ему заменила платиновая пластинка и вследствие происшедшего он лишен возможности наслаждаться течением Хроноса, тиканьем его адептов — часов, а особенно — ходиков! Всех эпох и конструкций! Ибо он ненавидит — бежит — или же сокрушает их. На бегу!»

И, словно громадная кошка, вы кинулись вдоль этажерок с различными статуэтками и хищнически принялись срывать со стен наши чудные антикварные ходики, которые мы буквально годами скупали в комиссионных, коллекционировали и презентовали друг другу на вечную память. Вы срывали, швыряли их на пол и тщательно плющили каблуками своих гренадерских потешных сапог. Вы были немилосердный варвар — вандал, и зубчатые те колесики, милостивый государь, раскатились по вашей милости кто куда.

«Не отчаивайтесь! — кричали мы вам печально, как чайки.— Отныне мы ведаем, ведаем! И мы сожалеем, скорбим вместе с вами».

«Не в силу ли вышеуказанного,— кипятились вы,— не затем ли не смог ваш племяш пойти по стопам своих предков и родственников, стать достойной им сменой, продлить замечательную традицию, но вынужден был подвизаться по классу гробокопания и кремации!»

«Разумеется, Палисандр Александрович, разумеется, в силу. Такая нелепая несправедливость — кремация — ужас!»

«И если вы до сих пор удивляетесь, отчего он так поступает, то знайте: он поступает так потому, что не может не. Ибо это так называемый тик. А поскольку причина данного тика так связана с часовыми приборами, то попросил бы его называть точнее — тик так».

«Тик-так, Палисандр Александрович, безусловно, тик-так, как же иначе».

«Однако весьма заблуждается тот,— всклокотали вы сызнова,— кто считает, что ваш племяш воспитан в духе сиротского эгоцентризма и позволяет себе тик-так в отношеньи себя единственно».

И тогда, приблизясь, вы вдруг и больно-таки пощелкали тетушек по переносицам их. Только звук оказался не тот, что у вас: был не звонок, не перепончат, будто звучали мы под сурдинку, пиано.

«Ну, а теперь,— приказали вы,— подымите руки, кто читывал петербуржскую повесть «Нос» Гоголь-Моголя».

Мы все подняли руки, хотя нам стало как-то неловко за Николай Васильевича, что вы его несколько походя очернили. Ведь как-никак, а вполне уважаемый автор своих собраний, писал человек, не ленился. Но мы не смели и тут возразить, Палисандр Александрович, просто не смели. И, чтобы польстить пле-

мяннику, стали и сами вольничать — расхихикались, расшалились, словно бы в классах: дескать, у Николай Васильевича у самого нос был длинный.

«Ха! Только ли нос, дорогие тетушки, только ли нос,— отвечали вы нам, недостойно подмигивая.

Мы зажеманились, засмущались: «Ну что вы, право, конечно же, только. Да мы и не понимаем таких экивоков — ведь правда, девочки?»

«А напрасно, напрасно не понимаете,— наставляли вы.— Ибо не только сказка, но и любая писаная небылица содержит подспудный подтекст. И поэтому всякое образованное правительство цензурировало и намерено впредь цензурировать вверенных ему графоманов. А то правительство, которое наивно воображает, будто герой петербужской повести майор Ковалев в самом деле остался без носа, есть полное дуро. Нос, любезнейшие,— лишь тонкий намек на толстые обстоятельства, эвфемизм-с. Незадачливого майора оставил не нос, а — что с?»

«Фуй, какой вы шалун, Палисандр Александрович! Да ну вас прямо. Давайте мы лучше о Петербурге поговорим, о городе в целом. У нас масса открыток с видами этой Пальмиры. Сядем, будем рассматривать, припоминать имена архитекторов, инженеров, прорабов — да сколько бронзы пошло — да гранита — да извести — да при ком возвели — да зачем — да сколько рабочих погибло — да чаю согреем.»

«Э-э, разве это открытки?» — взглянули вы искоса.

«Палисандр Александрович, а карты, карты? Пасьянсом так хорошо коротается вечер, что хочется, чтобы он никогда не кончался. Вам знакомо это желанье — не правда ли? — никогда.»

«Тоже мне — карты,— надменничали вы, тасуя.— И не скушно вам так-то, с такими то есть картинками — а? С тоски удавиться можно. Вот я свои принесу тогда и разложим.»

И на следующий наш сестринник приносите вы такие уж мерзопакости, что мы даже не мыслили, что подобные вещи вообще практикуются. От стыда за этих негодников, в особенности за дам, с нами сделалась удивительная апатия, вялость, и мы просто сидели все тихо рядком и рассматривали. А потом разнервничались, разволновались, вино стали пить, пустились раскладывать, рассуждали, что вот как, оказывается, возможно — и так, и эдак, валет, мол, сбоку, король с припеку, а дама, бедовая ее голова, во все тяжкие: ералаш да и только.

Вы возникали обычно в сумерках, перед закрытием, в пору, когда очертанья предметов призрачны, а черты отошедших особенно миловидны и памятны,— в час, когда наши склонившиеся над их вечным приютом фигуры, украшенные ниспадающей бахромой оренбургских пуховых платков и башкирских шалей, нисколько не отличимы от безутешных, горюющих вместе с нами плакучих ив — о, нисколько — и наш старушечий лепет вплетается в лепетанье их листьев и в копошенье птиц, что гнездятся в их дуплах,— и черные наши ленты вплетаются в их побеги, в их косы — и наша плоть одевается их заскорузлой корой — и течение нашей крови свивается с хладными струями ивовой живицы, сукровицы — и свиваются наши судьбы и сроки — о нет, Палисандр Александрович,— неотличимы — ничуть. Правда, вы отличали нас, потому что являлись нам в образе палисандра — всегда и беспечно цветущего розами дерева роз,— чрезвычайно ладного, гибкого, сладостно веющего благодатью негаснущих вечеров нашей юности — тех томительно будоражащих, знаете, вечеров — предвечерний — предночий, в которые, кажется, недостает только крыльев — лишь оперенья, дабы взлететь — воспарить — взметнуться. Однако в саду есть качели, и можно, зажмурив глаза, вздыматься и падать и падать и вздыматься. А где-то поодаль играют прелюды, в крокет или просто беседуют, расположившись в плетеных шезлонгах, а на пруду — скрип уключин, плесканье купальщиков, и кто-то прислал вам записку: вас ждут. Но вы, разумеется, никуда не пойдете. Вы влюблены? Нимало. Просто вы замечтались улыбчиво, смотрите ласково на облака — те волшебны. И непередаваемо догорает закат. И вот тут-то в цветное стекло веранды ударяется шумный жук! Вы вздрагиваете: майский или июньский? Лу-

каво не мудрствуя, глянешь на численник и поймешь: если май — значит майский, а если июнь — непременно июньский. Но вечером тридцать первого мая по старому стилю — кто знает: такая неразбериха, сирень. Вы помните, сколько дискуссий на эту тему кипело в кружках дворянской учащейся молодежи, особенно вольноопределяющейся. «Не спорьте, голубчик, это типичный майский». «Неправда, июньский». «А я вас смею уверить, что майский». «Сами вы, братец, майский!» «А вы, а вы!» — и уж непременно стреляться. А экие страсти горели в среде разночинцев, и сколько там было вольнолюбивейших идеалистов, романтиков, незамутненных сердец. Вы помните? — где-то, когда-то, в каком-нибудь неопределенном уезде, когда вы только что поступили на курсы — или закончили их — или приехали на вакации, в доме родителей, кажется, в левом крыле, нанимал квартиру один перманентно всклокоченный телеграфист — страшный щеголь, и это, естественно, он посылал вам записки. Да-да, посылал-посылал, а потом уложился, упаковался — и в Тулу. И мы никогда уж не виделись — никогда. В Тулу, кто бы подумал. Ах, ничего-то вы, сударь, не помните, вас ведь тогда еще не было. Впрочем, являясь нам в образе палисандра, какие живые детали былого умели вы навевать, утешая словами листьев, лобзая губами бутонов и вдруг — утоляя наши печали нектаром пестиков. Но — пробужденье! Оно застигало подобно форменному кошмару — врасплох.

Вглядитесь же! Не на этих ли акмеистских скамейках кладбищенского бульвара, где ныне вы воздвигли себе прижизненный монумент в виде себя самого, оперевшегося на сложенный зонт, — не на этих ли, говорим мы, скамейках вы юношествовали с нами до зеленой зари — с нами, вашими горделивыми тетками, жившими некогда в Театральном проезде, в Старообрядческом переулке и на Собачьей Площадке. О! О такой ли заре мы мечтали, с энтузиазмом мужествуя с непогодой, борясь и шествуя в едином строю, Палисандр Александрович. «А, Палисандр Александрович, — тормошили мы вас. — Проснитесь, это становится невыносимо. У вас омерзительная наследственность: вы всхрапываете, точно дед Григорий, — навзрыд. Ничего не скажешь — хорош, хорош, наградил Бог племянничком». «Слушайте, да отдаете ли вы себе хоть малейший отчет в происшедшем? Превратно истолковав их доверие, вы совершили массовое растление престарелых. И пусть мы не знаем и не желаем знать, о чем гласят соответствующие статьи уложения о наказаниях, ибо мы не из тех, кто выносит болячки чести на поругание стряпчим, имейте в виду: вам зачтется. Ибо, скрепя сердце, мы все пожалеем мальчика и, конечно, простим, пожурив, потому что мы любим — мы до сих пор обожаем его, сына наших довольно-таки отдаленных, но все-таки родственников. И пускай он не пощадил одинокой старости нашей, он, верно, тоже привязан к теткам. Не правда ли? Хоть немного, по-своему. Так хочется верить. Признайтесь, ведь — да. Так кивните, кивните, подайте нам знак согласия. Непременно должна быть некоторая взаимность. К тому же у вас никого, кроме нас, не осталось: учтите, вы — сирота и нуждаетесь в ласке, в опеке — так навещайте нас, навещайте, право, — мы больше не гневаемся — мы простим — пожалеем — вспомним прежнее — поиграем. Во что-нибудь этакое. «Милый, милый — о, милый», — писали мы вам и плакали прямо на буквы. Ну, что же вы не приходите, бывший мальчик — чугунный старик — безобразник противный: годами, буквально годами. А Клио, о которой вы отзывались не слишком почтительно, уверяя нас, будто ее кобыла стоит на кремлевской конюшне и некоторые учащиеся вашего ремесленного училища келейно используют ее в низменных интересах. — Клио тоже скрепит себе сердце. Ах, музы, музы, все они — наши сестры, горькие и заезженные существа вроде нас — незлобивы, отходчивы. Клио тоже простит, Палисандр Александрович. Простит и остынет. И позабудет. Ручаемся. А Бог даст — и еще возвеличит. Да только вы-то, вы сами — разве забудете? Разве гарпии совести не превратят преклонные ваши дни в сплошные терзанья, а розы — в тернии? Всенепременно, всенепременно, причем уже превращают, зане преклонные дни наступили, и мы — клекот гарпий: зачтется, зачтется — воздастся! Признайтесь-ка, кстати, скольких вы совратили, бесчестный оборотень. Доверьтесь, доверьте нам ваше число по секрету. Исключительно антр ну — да ну же, честное пенсионерское, мы никому не скажем.

Уважьте, польстите старческому любопытству, побудьте хоть раз откровенны, а то — заморочим, не станем давать покою даже ночами, как вы не давали нам. Только вдумайтесь: не только белые дни, но и синие ночи отчаянья! Слышите? Дайте отчет и раскайтесь, иначе мы осеним вас своими крылами.

«Раскаяться? — отвечали вы. — Хоть сто раз, как говаривал мой до боли знакомый. Но ваше число не поддается учету». И продолжали.

Мол, помните Лопе де Вегу? Когда-то он был молодежным идолом. Пьесы этого выдающегося графомана шли на многих столичных театрах, и многие почитали долгом хоть раз причаститься его страстям, в каком бы глухом захолустье ни жительствовали. Успех драматурга весьма неслучаен. Перу его принадлежит до полутора тысяч скабрезнейших водевилей, а перьям им соблазненных особ — сборник довольно претенциозных писем — по одному от каждой. Со вкусом составил и под броским названьем «Me gusta de Vega»[1] издал этот сборник сам Лопе. И вот, когда мы с его земляком Хуан-Карлосом расставались под гулкими сводами Эстасион дель Ниньо Езус, то все не могли припомнить количества тех посланий. Тогда-то и было заключено пари, известное нам теперь по учебникам как Мадридское, или — что более точно — Вокзальное. Условия его необременительны. Та из высоких договаривающихся сторон, которая, не прибегая к услугам справочников, библиотек и советников, первой вспомнит число составляющих сборник писем, считается стороной, первой вспомнившей упомянутое число, и ей вручаются соответствующие грамоты. Стороне же, вспомнившей упомянутое число второй или вовсе его не вспомнившей, не вручается ничего.

Со стороны испанской плутократической республики соглашение подписали Хуан-Карлос с супругой и сопровождающие их смуглые лица. Со стороны новорожденной российской хронархии — я и сопровождавшие меня Одеялов и Амбарцумян, что пошел в походную кухню и быстро вернулся, неся на подносе цыпленка по-киевски и выпить на посошок. Так в который уж раз мне представился случай удостовериться в деятельной преданности нашего кашевара-на-марше. «Сей не отравит», — подумалось мне и блеснулось хорошей, хотя и кривой, саблезубой ухмылкой. Все выпили, закусили, и в знак приязни мы с королем преломили куриную дужку.

«Берите и помните, Ваша Вечность», — сказал он мне.

«Беру и помню, Ваше Величество», — парировал я.

Тут Хуан подал знак, и господ отъезжающих пригласили в вагоны. Ударили отправленье — раздался «Некрополитанский романс» Чайковского — взвились семафоры — вымпелы — поезд весь передернуло — лица моих людей прикипели к стеклам — вода в моей ванне вскипела — и яйца, яйца, что только что — впрочем, довольно о них — довольно — обрыдли — всю Западную Европу напропалую — яйца да яйца — паки и паки — круче и круче — невероятно — какая-то межеумочная — напролетная — безысходность — будто кто-то неправый, но грубый обрек вас на эти яйца, как на галеры, — приговорил к ним пожизненно — приковал — принайтовил — а? Артак Арменакович? Артак Арменакович, в сущности, ни при чем. Он не властен. Он лишь старательный повар. Вернее, слишком старательный. Спору нет, он мог бы, по-видимому, помилосердствовать — снизойти — урезать сроки варения или убавить пламя. Но разве это решенье вопроса? Nay! яйца останутся яйцами, если по всей раздираемой противоречиями западноевропейской теснине — по крайности вдоль чугунных ее путей — продают исключительно яйца — да, может быть, соль к ним — да мыло — да лезвия, слава Богу, — да, может, газеты. И все. И обчелся. Сколь унизительно оскудела и полиняла земля, подарившая миру десятки байронов, сотни фуко и — тысячи геростратов. Не уморительно ли в настоящей связи цитировать сетование Македонского, завзятого книгочея и просветителя: ах, у него, мол, видите ли, библиотека в Александрии сгорела. Уморительно, гражданин Александр. Потому что потом у вас же и в остальных империях в результате все тех же противоречий сгорело всякого барахла на мильярды драхм: ипподромы и велодромы, кунсткамеры и

[1] «Люблю де Вегу». (исп.).

рейхстаги, мосты и механические мастерские. А уж библиотекам сам черт велел: ведь — папирус. Отвлекитесь от ваших потусторонних забот и взгляните окрест: пепелища. А какая безнравственность, по каким пустякам разгораются эти сыр-боры! Однажды на вечере у принцессы Монако принц Лихтенштейна, имевший с ней ранее более нежели тесные отношения, но освобожденный от них как не справившийся с обязанностями, при всех предлагает ей куртуазный вопрос: «Как вы думаете, если бы мы условились называть свои ноги усобицами, то что в нашем случае мы разумели б под междуусобицами?»

«В вашем, Ваше Высочество, случае,— оскорбилась принцесса,— совсем немногое». И вдобавок распорядилась немедленно оскопить несчастного. Так разразилась очередная континентальная распря, получившая наименование междуусобной, или — Новой Столетней, поскольку конца ей не видно. И, когда отвращение к яйцам переходит последний рубеж, когда мы уже не чаем полакомиться чем-либо помимо оных до самых русских границ, тогда к нам судьба направляет Самсона Максимовича Одеялова с околесицей разнообразнейших яств.

«В чем дело, почтеннейший? — говорил я ему, не слушающимися от вожделенья перстами заправляя салфетку за воротник дорожного куртеца.— Вы шутите, мнитесь или навеяли сон? Развейте, развейте, это нехорошо, негуманно, я не желал бы иллюзий. А — специи? Протяните специи. А — приборы? Благодарю вас. Однако какой Лукулл посылает нам от щедрот все эти кнедлики и шпикачки? Или они — из старых, еще гвинтянских запасов? Не я ли вижу турятину и гонобобель со сливками? Но тогда — отчего не прежде? К чему же было томить, испытывать весь поход, его месяцами? Вы что — саботируете? Мешочничаете? Укрываете пищевые продукты от лиц государственной важности? Несолидно, милейший, вы все-таки интендант высокого ранга. Подумайте, что подумает Трибунал Истории. Раскайтесь, молю вас. Зачем говорить своему мешочничеству малодушное да, если можно сказать ему доблестное лейтенантское нет — навязать ближний бой — дать блистательную баталью! Иль вы хотите сказать, что купили данную роскошь на станции, у некоего легендарного Креза? Прекрасно, скажите. Правда, я не могу обещать, что поверю, но я постараюсь — дерзну поверить».

«На станции, Ваша Вечность,— кивнул Одеялов С. М.— У крестьян».

Раздернув оконные шторы[1], не тотчас узнал я ее — так она посвежела, так брызнула красками пастбищ и толп: утопически тучная и счастливая Польша, исполненная событиями чисто польского толка, свободно стелила передо мною свои полевые пределы. И подумалось мне тогда о моем стариннном приятеле Павле Иоанне Втором, которого я всегда называл просто папа. Подумалось о наших задушевных беседах на яхте Жискара д'Эстена с дразнящим названием «Лоллобриджида», что плавно покачивалась когда-то на Лаго Маджоре в виду Локарно. Подумалось и о вере, надежде, любви, о пользе религиозного возрождения в рамках не только общин и сект, но и стран, континентов. И как-то само собою вспомнилось, что знаменитый год, на который первоначально планировался Конец Времен, тысячелетье отсрочки коего широко отмечалось международной общественностью накануне отбытия моего из послания, мистическим образом соответствует сумме писем, составивших «Me gusta de Vega». И туго натянутыми проволоками железнодорожного телеграфа в Мадрид полетела моя зашифрованная депеша Хуану: «Девятьсот девяносто девять».

[1] Всеми своими складками они до странности напоминали мне шторы, задергивающие пасть крематорской механизированной преисподней, дабы пришедшие Вас проводить не смотрели, как остро нуждающиеся кочегары и практиканты от благородных училищ злорадно вытряхивают принаряженного Вас из гроба и грабят: берут одежду и обувь; пенсне и монисто, колье и браслеты, паспорт и зонт — и вконец обнищавшего, обнаженного швыряют в жар. Одна, как заметил какой-то поэт, но пламенная страсть владеет там равно и человеком, и гражданином. Вас поводит, коробит, вы корчите из себя живого, пытаетесь приподняться, восстать, но особыми вилами вас аррогантно придавливают к раскаленным колосникам. Тогда вы смиряетесь, съеживаетесь, сереете и теплым пеплом тихо сыплетесь между ними в поддон, где и смешиваетесь с останками остальной клиентуры, в частности, бродячих животных, сжигаемых в той же печи по разнарядке вышестоящих организаций. В бытность мою практикантом Центрального эмского крематория имени Патриса Лумумбы я не пользовался привилегиями остро нуждающихся, то есть не грабил, не раздевал, но прекрасно видел, как ловко и слаженно это делается. Когда-нибудь я с удовольствием поделюсь полученными там впечатлениями, а пока разрешите раздернуть только оконные шторы — шторы окна, имеющего быть окном одного из вагонов идущего на восток состава сугубого назначения.

Не знаю, как мог я запамятовать это число: ведь некогда, в мои новоденичьи годы, три деговские девятки носились в воображеньи всечасно. Три девятки! Никогда не мечтал я о титуле андалузского графа, да и литературная слава Лопе меня не влекла; но лавры, выхлопотанные испанцем на поприще будуарных нег, подстрекали будущего Свидетеля к сплошному дерзанью. Да, я завидовал драматургу. И вы, мои многоюродные ракиты-плакиты, и какие-то просто тетки — чужие, прохожие и проезжие, тетки в уличном, бытовом осмыслении слова — становились невольными жертвами этой зависти, этой азартной неуспокоенности моей. Три девятки! Что значат в сравнении с ними лишь две девятки Марины Цветаевой, слывшей когда-то кокетливой ветреницей. Не случайно в светелках наших российских скромниц портреты ее давно уступили место иконографии более умудренных, матерых, созвучных времени поэтесс. Не те же самые скромницы разовьют переплеты моих мемуаров, раздерут их поглавно и постранично и станут читать и заучивать столь же прилежно, взахлеб, сколь мамули, бабули и прабабули оных зазубривали кумиров своих эпох: мопассанов и миллеров, де садов и арцыбашевых. Я приветствую вас — пухлогубые, нежные, истерично восторженные и ужимчивые! Дерзайте и вы — терзайте — члените — зачитывайте меня до дыр. Не стесняйтесь — делайте свою интимную жизнь с Палисандра Прелестного. Только действуйте осмотрительней. Не забывайте меня под подушками, в ящиках парт и вообще учитесь конспиративным приемам. Возьмем дневники. Почитайте за лучшее не вести их совсем. А если неймется, если микроб графомании поселился и в вас, то по крайности не увлекайтесь подробностями. Не пишите, что, дескать, вчера необдуманно уступила А., нынче — Б., а завтра уж непременно отдамся В. Это худо. Полиция нравов не дремлет. Пускай статистика будет сухой. Проставляйте не имена и не инициалы даже, но палочки, галочки, крестики, нолики, разные закорючки. А будучи спрошены, что означают сии пометы и отчего их так много, скажите: считаю в небе ворон, и вот их много. Сам я использовал такой иероглиф, как запятая. Для лиц с миниатюрным воображением, из каковых, главным образом, состоит вышеназванная полиция, запятая — не более чем невинный знак препинания. Но художник, эстет, интуит иногда заподозрит в ней скрытый смысл. Запятые, которыми испещрял я беленые стены моей монастырской кельи, столь явно (для интуита) символизировали старух, согбенных в плакучем блуде своем, что гривастый иконописец и главный маляр Патриархии Илья Глазунов, по веснам производивший побелку новодевичьих помещений, при виде моих скрижалей смущенно бежал, обронив в коридоре кисть, и никогда не вернулся. Настенная тайнопись была спасена.

А Божественное провиденье вершилось своими спиралями. Моей девятьсот девяносто девятой, заветной, бабусей становится прихожанка Елоховского собора, старушка набожная и опрятная, поведавшая, что когда-то была она величайшей грешницей. За ненадобностью я забыл, что именно Пелагея Ильинична подразумевала под этим. Была ли она вокзальная девка, то ли просто гулящая, была ли воровкой, обкрадывавшей сыновей своих, или же подвизалась в какой-то мерзейшей партии — не припомню. Сейчас все так спуталось, перепелось. Да и не все ли равно — нам-то с вами, теперь-то, спустя и спустя, кто кого там обкрадывал или бесчестил, продавал или покупал — там, в старом Эмске иль в древних Афинах, в Вавилоне иль в Исфагане, в Пенджабе или в Содоме. Сами мы, слава Зевесу, одеты, обуты, накормлены, никого не обманываем, не пытаем. А то, что где-нибудь в Новой Гвиане ввели закон о всеобщем и полном ношении набедренных тряпок, или что фривольная земля Калифорния последовала, наконец, примеру загадочной Атлантиды и почти целиком провалилась в тартар, то тут мы также не властны воздействовать, отменить, помешать произволу. Принципы невмешательства святы и жестки, и наши с Вами манифестации никого не взволнуют. И, пожалуй, единственное, чем мы можем ободриться перед лицом своего исторического бессилия, это факты чистосердечного осознания Пелагеей Ильиничной прошлых грехов ее, раскаяния в них и наступившего вслед за тем благочестия. Оно-то и не позволило сбить Пелагею Ильиничну с панталыку немедленно по знакомстве. Точнее — с пути ее в церковь. Наоборот, мне потре-

бовалось идти туда с нею вместе; и, чтобы сделать приятное ей, ублажить, задобрить — пришлось раздать на паперти всю карманную мелочь, купить и расставить местами свечи, а после встать самому и выстоять всенощную напролет, слушая, как Пелагея Ильинична со товарищи выводит что-то пасхальное, и подпевая. А духота была — невозможная. Ведь экие прорвы людей сходились некогда в храмы по праздникам: пели, молились, плакали. Да и теперь еще ходят. Добрый, отзывчивый все же у нас в России народ. Таким народом и править-то совестно. Впрочем, разве я правлю? Я только свидетельствую, созерцаю. А управляет у нас, как известно, Время, с которого взятки довольно гладки. Хотя если верить теории Нипельбаума, оно изумительно вымеобразно.

Лишь утром, когда служба закончилась, уговорил я Пелагею Ильиничну прогуляться со мной ботаническим вертоградом, где приобрел ей различных конфект, шоколаду, а также любимых ее леденцов, в том числе и на палочках.

Затем мы направились к ней в Колодезный переулок. Весна была ранняя, дружная, и вокруг все блестело от слякоти. Будучи дворником, приятельница моя проживала в дворницкой, где в означенный день состоялась пасхальная вечерника в складчину в составе некоторых непримужних и пожилых швей-надомниц, лифтерш, судомоек и прочих на редкость простых, безыскусственных обывательниц околотка. Съев до дюжины куличей и напившись кагору, фиеста, как говорят, взорвалась. Играли, в частности, в фанты. Мне выпал фант покатать всех по очереди на лифте.

После Пасхи похождения продолжались, однако характер они имели уже более спорадический. Немного почив на лаврах и больше не выцарапав на скрижалях ни запятой, я сбился со счета. Поэтому кто теперь знает, любезные тетушки, сколько вас было. Ищи-свищи, говорят, в поле ветра. Да и к чему вам? Не все ли едино в Полях Ожидания? И не все ли вы прах? Милый, чудный, растленный, но — прах. И следовательно — не зовите меня оттуда по имени-отчеству. Не зовите никак. Ибо вас нету. Вы убыли. Я попросил бы принять это обстоятельство к сведению и не позволять себе также выкриков типа «зачтется, воздастся». Откуда вы знаете, может быть, мне давно воздалось. Что знаете вы вообще о пройденной мною жизни и о других, прежних жизнях моих! К тому же, как выражался мой дедоватый дядя, а ваш незабвенный братец, одно растление есть трагедия, тысяча — просто статистика. И поэтому я не страшусь вас. Тем более бледным днем. А когда сонной ночью сквозняк невзначай удушит пламена моего канделябра, то Одеялов немедля придет оживить их — придет, придя. И, бравые полуношники, мы разопьем с ним бутыль конфискованного у гвардейцев белого. За упокой ваших душ! Потому что в значительное отличье от вас я жив и не чураюсь спиртного. Жив эрго вечен. Учтите. И мы пробеседуем с денщиком до зари, до ее цветов побежалости, мастерски отраженных в лужах, в реках, в очах караула и лошадей. И не встревайте, сударыни. И прощайте. За все уж давно заплачено. Слышите? Вплоть до самой зари! До зари включительно, когда на мостах и набережных фонарщики выключают газ!

В последующие недели заядлость, азартное чувство возмездия понемногу меня оставляли. Я остывал, постепенно остепенялся, взрослел. И приходит день, когда П. говорит себе: «Что ты делаешь? Разве так можно? Какая распущенность!» — говорит себе Палисандр. И набросал в дневнике: «Никакая Ш. не достойна того, чтобы ради нее ублажать ей подобных». И перестал это делать, отдав досуг философским прогулкам, гербарию, акварелям.

Как портретист П. не жаловал мелкие планы — хотелось монументального, броского. Он возлюбил испускаться обрывистыми берегами некоторых водоемов к полоскальным сооружениям и создавать групповые портреты прачек, работающих в самых непритязательных позах. Судьбы простонародья с его эстетикой неэстетичного, с грубоватыми шутками — волновали всемерно. А как пейзажист — разрабатывал темы осени: мотивы сентябрьских шквалов, октябрьской индевелости и ноябрьского первоснежья, характеризующегося изысканной хрупкостью очертаний и черт[1]. Что же до философии, то — как и Плутарха, которого он ставил неизмеримо выше Спинозы, Декарта и Делакруа вместе взятых — его будоражат вопросы морали и нравственности в их экзистенциально-эзотерическом ракурсе.

И все-таки мы бы ошиблись, сказав, будто П. за своими искусствами совершенно оставил мыслить о Ш. Нет, он мыслил о ней, но уже не в угаре отчаянья, а в каком-то почти отвлеченном ключе. То есть не на предмет воскрешенья былого, а в плане удовлетворенья почти инфантильного любопытства: дескать, вот бы узнать, отчего она столь охладела. И если причина ее охладенья — другой, то вот бы и навести о нем справки: как звать, где живет да служит. И, не ограничиваясь полумерами, воздать по всей строгости. Застать их вдвоем, нанести оскорбление действием, словом, а то и смехом.

Кандидатура на должность частного детектива напрашивалась сама собой — Брикабраков. Мотивировка: пронырлив, вечно в карточных весь долгах, принципами не обременен. Отдавшись ходу безвременья, а точнее — току событий, неделями жду у себя в процедурной. Оле как назло не является. Подождав еще, снаряжаюсь, кутаюсь и через все завьюженное подворье гряду в направлении противоположной стены, в казематах которой гнездится семейное общежитие. Воздымаясь по лестнице, круто я воздымаюсь по ней. В коридорах — свидетельства неизжитого критического реализма; на примусах жарится какая-то дрянь, варится нечто рвотное и, ковыряя в носу, канючат печальные результаты чьих-то зарегистрированных страстей.

Костяшками пальцев стучусь к Брикабраковым. Распахивает опылитель. На нем кашне. По-русски горяч, импульсивен, П. обнимает его. В комнатах пахнет нестираными чулками, подштанниками. Интерьер отвратителен.

Палисандр. Ба, да вы, погляжу я, устроились просто отменно!

Брикабраков (польщенно). Ах, бросьте, дражайший. Вы станете что-нибудь пить?

Палисандр. Что ж, плесните, пожалуй.

Брикабраков. Чего вам?

Палисандр. А что у вас есть?

Брикабраков. Только водка.

Палисандр. Ее и плесните.

Брикабраков. Располагайтесь.

Палисандр (располагаясь). Благодарю.

Брикабраков приносит стаканы, бутылку и наливает.

Палисандр. Ваше!

Брикабраков. Будем здоровы.

Сотрудники пьют и закусывают.

Палисандр. В последнее время читаю немало научных брошюр и журналов.

Брикабраков. Журналов? Похвально. Однако к чему это вам?

Палисандр. С интересом слежу за успехами в области истребления человеческих паразитов.

Брикабраков. Успехи? Возможно ль!

Палисандр. Я тоже не верил, но факты — упрямая вещь.

Брикабраков. Приведите.

Палисандр. В далеком Заире ученые установили, что кошка домашняя, если ее подвести под гипноз, легко начинает питаться — представьте себе — тараканами.

Брикабраков. Правда? Прекрасно. Но кошка домашняя никогда не послужит к уничтоженью клопов.

Палисандр. Согласен. Домашние кошки в отличие от большинства их владельцев весьма чистоплотны. Подробней об этом находим у мистера Брема в трудах.

[1] Смотри Палисандровы залы Пушкинской, Третьяковской, Габсбургской галерей.

Брикабраков. Что же делать?

Палисандр. Бороться, дерзать, не сдаваться. Приискивать неординарных путей.

Брикабраков. Слишком смело.

Палисандр. Но смелость сулит нам удачу. Вот: в упомянутом выше Заире другая группа ученых взяла и воздействовала на группу коричневых тараканов так, что последняя съела решительно всех ей предложенных лабораторных клопов подчистую.

Брикабраков. Простите, а чем же?

Палисандр. Что — чем же: воздействовала или съела?

Брикабраков. Воздействовала.

Палисандр. Иглоукалыванием.

Брикабраков. О-ля-ля!

Палисандр. Усовершенствования африканцев скоро позволят наладить своеобразный круговорот: первые будут уничтожаться вторыми, вторые — третьими. И придет — воссияет на численниках предначертанный день, когда ваших кинншасских коллег наградят орденами Подвязки, вам же, друг мой, мизерный дадут пенсион.

Брикабраков (обиженно). Не понимаю, куда вы клоните. Объяснитесь.

Палисандр. Супруга дома?

Брикабраков. На службе.

Палисандр. Клянитесь, что все сказанное останется между нами.

Брикабраков. Слово курьера.

Достав, П. читает составленные им накануне визита тезисы. Если не вслушиваться специально, то в речи его различишь только те выражения и слова, что в читаемом тексте подчеркнуты чем-то красным. Предмет щекотливого свойства. Смущенное чувство пристойности. Увядание нравов. Келейное наведение справок. Застать вдвоем, пристыдить. Так порок оказался б наказан, а я — чрезвычайно признателен.

Закончив читать, Палисандр кладет перед графом какой-то пакет.

Брикабраков. Что это?

Палисандр. Здесь несколько незначительных ассигнаций. В счет погашения предстоящей задолженности. По мере сил. Кто знает, как в свете заирских исследований сложатся ваши меркантильные обстоятельства.

Брикабраков. Вздор. Как бы они ни сложились, я с вас не возьму ни заира. Во-первых, мы — люди чести. Затем, ваше дело мне представляется крайне плевым. А в-третьих, я не хочу, чтобы деньги хоть несколько омрачили нам отношения.

Палисандр. Слышу речь бессребреника.

Сказав так, мой рот исказился в припадке брезгливости, длань моя протянулась к каминным щипцам, и щипцами ловко пакет с ассигнациями схвачен и брошен в огонь.

Брикабраков. Вот славный поступок.

Палисандр. Пусть пепел несостоявшихся ассигнований послужит залогом нам предстоящих удач.

Брикабраков. Пусть!

Картинно обнявшись, мы потрясению — так по последним инструкциям экскурсанты обязаны лицезреть разгорающийся над Эмском рассвет — смотрели, как пламя доглатывает купюры больших достоинств, и клялись в вечной дружбе. При этом я знал, а Оле ни на йоту не сомневался, что отвергнутые им деньги — насквозь фальшивы, подобно всему, что связывало и разъединяло нас всех в ту эпоху, давно отгалдевшую галками наших монастырей, крепостей, погостов. Не следует, впрочем, думать, будто я приобрел те кредитки путем махинации и жульничества, ибо я напечатал их честным трудом.

Покуда всякие зарубежные экономы от Оуэна до Фурье ломали головы, как обеспечить рабочих и служащих по потребностям их, наше правительство, избегая красивых фраз, оборудовало на некоторых предприятиях небольшие фальшивомонетные дворики, где любой имеющий особое разрешение сотрудник мог отпечатать необходимый ему купюрный фонд[1]. Фальшивомонетный дворик действовал и у нас в Новодевичьем. Он ютился в полуподвале Смоленского собора, в одном помещении с типографией «Вестника», синодального органа. Пересиливая в себе зачарованность механизмами, я, бывало, орудовал их рычагами всю ночь. Напрасно поиздержавшись в попытке оплатить Брикабракову предстоящие хлопоты, я оказался не при деньгах и спустя известный период после описанной сцены предпринял шаги в направлении типографии.

Стояло так называемое тридцать первое декабря. Небо глядело астрально, да к счастью не пристально, и месяц едва народился. В типографии застаю кавардак, типичный для мест секуляризации: всюду что-то валяется. Вижу, в частности, кипы уже сброшюрованных индульгенций — заказ Ватикана. Вижу пачки бразильских крузейрос, египетских фунтов, португальских эскудо и прочий экспорт.

Переведя стрелку тумблера с тугриков на рубли, я настроил печать достоинств на сотни, вложил бумаги получше и, как всегда, заработался.

В цех взошел Кербабаев. «Салям, с наступающим»,— поздравлял он мемуариста.

«Берды! Дружище! Вот радость! — говорил я ему, говоря.— Присаживайся, сейчас шампанского велю принести, тут и встретим».

«Магометанам не полагается»,— отвечал лукавый Берды, обожавший выпить не менее всякого православного сторожа, однако предпочитавший, чтобы его всякий раз уговаривали это сделать.

«Известно, что не положено,— уговаривал я.— Да ведь случай-то редкий, да в компанию. Не одному же мне пить. А с другими, поверишь ли, так уж скучно, что лучше и вовсе не праздновать. Один, один ты мне здесь, Кербабанч, отрада».

К одиннадцати стол в типографии был накрыт. Провожая год, мы пили за все хорошее. Наверху, в приделе, дежурный отшельник долдонил псалтырь над некстати почившим отцом-привратником Никоном, которого мы не преминули, естественно, помянуть; а через полуотверстую фортку с уже замурованным мразом прудов конькобежная доносилась музыка. Нам было покойно, задумчиво, светлопечально, и тон беседы делался поминутно возвышенней и нездешней.

«Эх, Берды Кербабанч, голубчик,— проникновенно открылся я сторожу.— Знал бы ты, брат, как ценю я твою мамашу».

«Ну и цени себе на здоровье,— ответствовал капитан.— Разве кто не велит?»

«Да видишь, сама же, выходит, и не велит. Не дается, прячется. Третьего дня увидал ее возле трапезной — кинулся, добежал, а она, как развеялась. Нет ее. Нет и нет. А до этого года два, полагаю, не виделись. И, бывает, сижу себе в келье, и разные, знаешь, мысли одолевают. Может, думаю, что худое с ней — захворала, может, слегла. И брожу иногда в расстройстве — расспрашиваю: Шагане, мол, здорова ли. А монахи: не знаем, о ком говоришь, на тебе, говорят, на самом лица нет; ты ступай-ка теперь помолись да приляг, а заутра в соборе чтоб был, а то ни вечор, ни ныне на службу не заявлялся, смотри, как отец Ферапонт бы не осерчал, он и так уже сомневается: может, не стоит-де Палисандра Приблудного в иноки постригать — зело странный на вид, больно взбалмошный, юрод-не юрод, а вроде бы не в себе — мудрит, басурманку какую-то кличет. А я им: пустое глаголете братие, настоятель ваш, видно, сам не в себе — заговаривается, не его ума дело, кого окликаю да славлю: ему, Ферапонту, насчет меня высочайшее указание есть — я знаю, мне тут стрелец один сказы-

[1] В ряде торговых организаций и банков такие банкноты не принимали, кокетничали. Да ведь мало ли где чего не берут. Не плакалась ли мне кремлевская гвардия, что в колониальной лавке напротив не принимается стеклотара?

вал: прискакал, говорит, из Кремля опричник на конике взмыленном, от Малюты Скуратова самого депешу привез: Палисандра, мол, как побочного отпрыска благородных кровей содержать в аккурате, в теле, к работам не принуждать и лелеять примерно, стричь — как сам пожелает, а купается пусть отдельно и вволю. Монахи же: эк тебя, говорят, сироту, дурь-то мает, знобит аж всего, малахольного, и что за время такое нам выпало: от царя до последнего нищего — все припадошные. Вишь ты — не верят, ниоверкой корят да еще насмехаются. А я им: пред Богом, братие, все едины, и нет Ему ни своих, ни чужих, и никто никому не указ помимо Него, и кого возлюбил я — того и славлю, а не люблю — и не кличу. А? Берды Кербабаич, так ли?»

«Зачем не так,— отвечал он мне.— Взять, к примеру, того же коника. Разный он, коник. Тот породой берет, тот резвостью, а иной в масть пошел. Залюбуешься. А — издохли да полежали в бурьяне, растащили коников шакалики — одни только зубы валяются. И какой они все там породы, где масть да резвость — неясно. Всевышний всех уравнял».

«Плачевно, Берды, плачевно. Выходит, что Бог-то — Он смерть сама есть?»

«Смерти нет»,— сказал собеседник.

С надеждой я поглядел на него. Руки сторожа были смуглы, будто обуглены.

«Да полно, неужто нет?»

«Зря болтают. У нас на Востоке старые люди правильно говорят. Мало-мало пожил, мало-мало смотрел — много видел, а смерти не видел: якши[1]. А умер, как бы,— совсем не смотрел, совсем ничего не видел: совсем якши».— Он говорил не мигая. Он говорил: «Ты ли, я ли, в Аллахе ли, во Христе — возгордились, проштрафились перед Господом, так что даже и смерти нам нет, милок,— не заслуживаем».

«Дивно, дивно вещаешь!» — я возражал.— «Вот это я понимаю, вот это по-нашему! Да знаешь ли, Кербабаич, какую ты веру в меня вселил!»

«Наливай»,— сказал он спокойно.

Я налил, сияя. Часы колокольни заколотили полночь.

«Да здравствует бытие!» — прозвучал мой тост.

«Вот именно»,— подтвердил Кербабаев и выпил, не унижаясь до жестов. И я восхитился им.

«Едут, едут!» — с губами, обветренными, словно у маремана дальнего плаванья, вбежал Брикабраков.

Завсегдатаям Новодевичьего кладбища издавна примелькалось непримечательное, под черепичной кровлей, строение при южном въезде на Новый двор. Сторонне догадываться, чем служило это строение по преимуществу, было бы безуспешно. Сказать напрямик, то была отнюдь не сторожка, хоть сторож и грел там порою свой ревматический круп. То было и не здание администрации, пусть некоторые служащие элементы и копошились в его кулуарах. Вместе с тем то была и не лавочка мелочной похоронной коммерции, хоть для отвода глаз Вам сбывали там всякую прискорбную мишуру: искусственные растения, саваны, ленты, венки, лопатки для пепла, балетного типа тапочки и т. п. Правда, все это происходило в дневное время. После захода солнца на кладбище наступал комендантский час, лавочка закрывалась и дом начинал выполнять основную функцию — функцию входа на станцию «Новодевичья» нашей совершенно секретной орденоносной конки. А выход со станции находился на Старом дворе, под сводами реконструированной усыпальницы Александра Первого, чье загадочное исчезновение до сих пор не дает нам покою. Туда-то, в снаружи невзрачный и какой-то почти что призрачный, но изнутри изукрашенный изразцами киоск, мы втроем и направились.

Впереди, припархивая, семенил Брикабраков. За ним воплощением столбняка фигурировал Кербабаев. А — с развевающимися на ветру шнурками, шарфом и полами кимоно — я логически заключал процессию. Кимоно было новым

[1] Хорошо. (тюрк.).

и зимним, и зимний, и новый с иголочки ниспадал на подворье год. Тропы, которыми мы пробирались, вились. И змеилась, обуживая их, поземка.

Войдя в павильон, мы спустились особой лестницей на платформу и сдержанно поздоровались с некоторыми доезжачими, что уже ожидали там поезда. Позументы их ментиков, козырьки киверов, рельсы конки и фонари излучали золото. Все нервничали и зевали. Шум, который сначала казался лишь разновидностью тишины,— нарастал.

С разухабистым «Хором охотников» из бессмертного сочинения Шарля Гуно, с лаем псов, с бубенцами, с бренчаньем сбруй, с скрипом ржавых колес, скрипкой Ойстраха, с криками «с новым счастьем!» и с прочими атрибутами новогодней охоты из жерла тоннеля выдвинулись вагонетки. Из них, увешанные амуницией, выходили сенаторы Брежнев и Суслов, Пономарев и Косыгин, Шелепин и Мазуров, Подгорный и Георгадзе, гончие и борзые.

С горьковатой ухмылкой ссыльного я ловлю себя вдруг на том, что глазами ищу в толпе приехавших человека, которого явно в ней не хватает, но быть — не может. Пораженный в гражданских правах, он давно уж сюда не ездит, поскольку живет здесь безвыездно, не считая негласных отлучек по банным и другим интимного свойства делам. «Узурпаторы»,— думает он о приехавших. «Притеснители». И гонимый сознанием собственной ущемленности, поворачивается и лишает их своего приятного общества. И опально лелея обиду, ревниво вслушиваясь в отголоски кладбищенской заячьей травли, бродит древней стеной и гремит ключевыми болванками. Колокольчатый лай собак отзывался девичьим смехом, дразнящим и вздорным.

В час, в начале второго от застав к торговым рядам потянулись нордические обозы с семгой, икрой, капустой и новыми ломоносовыми. А в третьем, когда закатился Антекатин, рога возвестили отбой, и, делясь впечатлениями, охотники зашагали в трапезную.

Я возвратился в келью. Я тщательно вычистил зубы. Я причесался, прочел «Отче наш» и хотел было кликнуть кого-нибудь из прислуги, чтобы наполнили ванну, как — в который уж в рамках настоящих записок раз — в дверь мою постучали.

«Смелее!» — отозвался я Брикабракову, ибо это опять был он.

«Что поделываете?» — возник Оле́.

«Перехожу в Рубикон плескалища».

«Повремените».

«А что — разве я кому-нибудь еще нужен?»

«Не скромничайте, Палисандр. Вы — всеобщий любимчик. Вас нынче хватились и обыскались. Все правительство хором кричало ау».

«Оставьте, пожалуйста: я постоянно был в парке, но никакого ау не слышал. Вы вновь сочиняете. Я — отвержен, сослан, забыт. Лай собак — это все, что я слышал».

«Каких собак? Мы ведь охотились на летучек. И, кстати, опять недурно. Отменный сезон. Право, жаль, что вас не было с нами. Невероятно жирны. Да и в целом весна что требуется: ручьи, букашки. Впрочем, пора уже действовать. Ежели чувство пристойности в вас еще смущено, то имею открыться в прозрении. То, что вы называете увяданием нравов, нынче проявится в вящей мере, и буде угодно вам наказать порок, возможность к тому представится».

Я обулся. При этом впервые за годы и годы я не прибегнул к услугам сапожного моего рожка, висевшего на гвозде под притолокой. Минуя сарай, у которого зимами регулярно рубили дрова, мы с Оле́ зашли под навес, где они содержались. Брикабраков рассеял ближайший мрак серной спичкой, и я, покопавшись в груде какого-то барахла, извлек один из тех инструментов, на коих имели обыкновение разгораться иные утра. Решительно отрешен, я заткнул рукоять за пояс своего стихаря и подумал: не мир, но меч. Биограф! Доподлинно воссоздавая картину нашего с опылителем похождения, не сочтите за труд описать, как догоревшая спичка — как именно! — выпала из руки его и упала, шипя, на грунт. Срок горения был ничтожен, но тем драгоценнее были его мгновения. Берегите же пламя — свое и чужое: творите убористей. Пусть описание осталь-

ных событий той ночи можно будет прочесть при свете единственной, может статься, последней спички. В свете моей аскетической рекомендации разрешите запротоколировать похождение в форме скупого оперного либретто.

Акт первый. Зарницы. Подворье. Из трапезной, окна которой выходят на галерею, освещены и распахнуты, слышится гомон охотничьей тарантеллы. Ее сменяет песня восточного толка в исполнении народных певичек Зыкиной и Пугачевой. Затем начинается беззастенчивый танец чрева, который плясуньи выделывают непосредственно на столе. Маскарад рукоплещет и площадно комментирует стати правительственных куртизанок. Граф Брикабракофф и Палисандр, незримо стоящие на галерее, внимательно наблюдают за костюмированной вакханалией, постепенно переходящей в типичную оргию. Некто, загримированный под Казанову, покидает трапезную. Многозначительным жестом граф побуждает будущего Свидетеля проследовать за ушедшим.

Акт второй. Коридор монастырской гостиницы, нищенски освещенный одною свечой. Оглядываясь, коридором идет «Казанова». Он исчезает за дверью какого-то номера. Из-за портьеры являются Палисандр и граф Брикабракофф. Они останавливаются перед тою же дверью. Граф предлагает Дальбергу наклониться и посмотреть в замочную скважину. Воспитанный в лучших традициях ремесленного училища, Палисандр отказывается. Брикабраков цинично хохочет. «Если вы не посмотрите,— подстрекает граф,— порок никогда не будет наказан». Снедаем внутренними противоречиями, Палисандр наклоняется.

Акт третий. Номер монастырской гостиницы, видимый Палисандром через замочную скважину: главным образом — койка. На койке навзничь лежит обнаженный уже «Казанова». А некто в обличье римской волчицы Акки, подруги рогатого Фавстула, осуществляет массаж. Постепенно из затемнения пружинисто восстает знзи «Казановы», и лоно «волчицы» приемлет его в себя. Символизируя откровенный упадок нравственности, маска спадает с лица массажистки: юный П. узнает в ней неверную себе Ш. Не в силах будучи оторваться от разыгравшейся в номере сцены, П. ревниво нащупывает похищенный инструмент, желая выломать дверь и сломать лед взаимонепонимания. Но тут, пробившись сквозь тучи и тюль, луч все той же луны ложится на затененный прежде лик карнавального «Казановы»: то Местоблюститель Б.

Акт четвертый. Уронив топор, П. поет arioso finale.

«Брежнев, Брежнев!» — жужжа, громоздилось в моем мозгу имя Местоблюстителя, пока я бездарно бежал коридором злачной гостиницы, оставляя поле несостоявшейся брани. Так вот почему,— запоздало сопоставлял я факты,— вот почему,— не без некоторого мазохизма муссировал я свой вывод, израненно рея средн деревьев,— вот почему,— возвращался я к этой неконструктивной и ничуть не спасительной мысли, утрачивая себя в ином измерении,— вот почему Ш. зачитывалась его мемуарами,— говорил я себе, глядя, как наступает и все никак не наступит утро. А позже, походкою выхухоли мечась по келье, говорил опылителю:

«Преподайте урок. Низложите покровы. Увы, я готов согласиться, что все мы, включая власть предержащих, суть лишь люди с их слабостями. И я вынужден допустить, хоть и делаю это весь как-то сжавшись,— я допускаю возможность известных увеселений — увеселительных встреч — вечеринок — нескромных настольных канканов. Я даже могу сквозь пальцы зреть беспардонности, творимые нашими служащими в бассейнах и ваннах. Но на которую полку сознания мне списать со счетов тот факт, что семейный деятель государственного аппарата, один из немногих поистине чтимых мною кремлян, позволяет себе подобное с официальным лицом, с передовой массажисткой Дома. И не где-нибудь, а в его пределах, выказывая тем самым элементарное неуважение к зданию пусть и расформированного, но все же монастыря, к его памяти, покушаясь на его новодевичью честь. Я знаю, знаю, формально мадам Хомейни считается личной знахаркой Леонида, и все-таки это мало что объясняет и ничего — ничего! — не оправдывает».

Я говорил еще долго. Когда моя речь иссякла, Оле́ сказал, что ему неловко, но он полагает своей профессиональной обязанностью поставить меня в известность, что дом, в котором нам с ним посчастливилось сослужить, есть Дом Массажа лишь в некотором, вспомогательном смысле. По сути же это не что иное, как дом свиданий, где руководство Кремля находит необходимым встречаться не только друг с другом и не только для обсуждения очередных неотложных мер по внедрению войск в не охваченные еще районы земшара, но встречаться также и с теми, кого мы зовем «прихожанками» и «послушницами», на предмет обладания ими и отдыха в их непринужденном кругу. «Неужели вы не догадывались об этом?» — спросил Оле́.

«Не скрою,— сказал я ему.— Иногда мне казалось, что я начинаю догадываться. Но я никогда не решался повернть в свою догадку. Вместо этого я мгновенно впадал в какое-то помутнение, вставал в позу страуса и надевал моральные шоры. А если случайно видел иль слышал нечто дурное, то тотчас старался забыть. Характерно: когда по прибытии моем в монастырь З.— вы знаете метрдотеля З.? конечно, вы знаете всех — когда он меня информировал о предосудительном прошлом Ш., я воспринял слова его как недоброкачественную сторонную сплетню».

«Что не мешало использовать приобретенную информацию в ходе любовных игр,— заметил мне внутренний голос.— Не вы ли питали ею свое прожорливое половое воображение».

«Отстаньте!» — внутренне сказал я ему. И продолжал Брикабракову вслух: «Да-да, у меня невероятно консервативные взгляды на все эти вещи. Хотя, если судить по некоторым из моих экстравагантных поступков, такого не скажешь. Однако поступки со взглядами согласуются разве что у какого-нибудь неандертальского простака наподобье Громыко, нашего горе-министра. А я-то организован слегка сложней».

«Вы излишне витаете в облацех,— указал опылитель.— Вам нужно всмотреться в действительность обстоятельней, не чураясь замочных скважин. Подумайте, я ведь тоже не из простого сословия, а куда как приметлив. А вы со своей часовщической щепетильностью — просто олух Царя Небесного».

Я был до того удивлен и сконфужен брикабраковскими откровениями, что чувство обиды казалось мне неуместным; и я отложил его до следующих времен. В то же ненаступавшее утро, за кофеем, поданным коридорным расстригой в ливрее цвета коровьей жвачки, Оле́ поведал мне историю основания нашего Дома. Блюдя хронологию как зеницу ока, я изложил эту повесть прежде. А здесь остается добавить лишь следующее.

Будучи обходительно спрошен, не полагает ли он, что его Жижи при всей незапятнанности своей репутации втайне служит одним из секторов непринужденного круга, Оле́, изумленный моею наивностью, отвечал мне, что, дескать, не полагает, поскольку знает это наверное — знает о всех ее высокопоставленных покровителях, осведомлен об ее с ними сьянсах в мельчайших подробностях, ибо она ничего от него не скрывает, отчего ему и соглядатайствовать за ней нету нужды. Лишь изредка заглянет он мимоходом в массажное ателье супруги — так, в порядке контроля. «Она сообщает мне абсолютно все,— подчеркнул Оле, беззаботно кладя ногу на ногу.— Начиная от мужеспособности покровителей и кончая параметрами их органов».

«Возможно, возможно»,— сказал я как можно рассеянней и оттопырил губу.

«Э, да никак вы ревнуете! — расхохотался граф.— Перестаньте, братец, что это за пережитки еще, не годится, не та эпоха. Спешу вас, однако, утешить. Вам, батенька, попросту пары нет в данной сфере».

«По-моему, вы забываетесь, граф».

«Ах, нет же, я точно помню: Жижи исключительно высоко оценила ваши мужские благополучия. Да и сам я неплохо видел, как бурно все протекало тогда у вас в Рубиконе».

Я потупился. «К чему же вы столь облыжно винили меня в Онане?» [1].

«О Господи, Палисандр, вы нимало не понимаете шуток. То был обыкновенный розыгрыш, фарс. Видите ли,— объяснял опылитель,— мы с супругой прочли некролог накануне вечером — в той самой газете, которую я вам оставил. И, прочтя, стали думать, как быть. Как бы так сделать, чтоб известить вас и сразу смягчить известие, подсластить, так сказать, пилюлю. И вот мы решили, что я пойду в процедурную и оставлю газету на канапе. А затем, подождав, покуда вы ознакомитесь с новостью и начнете переживать, к вам заглянет Жижи и попытается вас от переживаний отвлечь. И знаете, она оказалась в смешном положении бедного, званого на тезоименитство к богатому. Что подарить виновнику торжества, который ни в чем не нуждается, у которого есть практически все. Как — иными словами — развлечь огорченного вас, который и без того пребывает всегда в какой-то прострации? Ответ однозначен: отдаться. Затея, если вы обратили внимание, удалась хоть куда. А пока она удавалась, я действовал по своим каналам: стучался, уличал в онанизме, грозил пожаловаться. Тоже, в общем-то, развлекал. Посильно».

Я посмотрел на него. Брикабраковское лицо по-прежнему было не чем иным, как лицом Брикабракова: я узнал его без труда. С другой стороны, опылитель что-то определенно носил, и предметы одежды, надетые на него в определенном порядке, в определенной последовательности, так или иначе сочетаясь друг с другом, сидели на нем с той степенью плотности, аккуратности — или с другой. Выражаясь же более четко, ясно, общедоступно, говоря языком телеграфа,— граф был одет. Итого, в моем собеседнике — даже если бы мы дополнили его портрет чертами характера, описаньем привычек, ужимок, манер и сведениями, почерпнутыми из его ресторанных счетов,— не было ничего необычного, ничего такого, на чем бы особенно хотелось остановиться пером или взглядом; как не было и такого, на чем бы особенно не хотелось. И тем не менее мне сделалось странно: о каком-таком некрологе он помянул? Но не желая услышать еще какое-нибудь малоприятное откровение, я не стал ничего выяснять: мало ль кто в наши дни умирает [2].

В бойницах забрезжило.

«Я,— сказал я тогда Оле — я посмел бы задать вопрос, который, быть может, покажется вам тоже наивным и праздным. Однако я должен его задать. Для очистки совести».

«Выкладывайте,— потягиваясь, отвечал Брикабраков.— Какие еще там очистки».

«Скажите, значит, вы — не в претензии?»

Брови его удивились.

«Ну, все-таки, как-никак, а известным образом я имел необыкновенье — неловкость — и, разумеется, честь — прибегнуть к услугам вашей жены. И пускай сей сеанс был с ее стороны актом чистого милосердия, доброй воли или, как вы утверждаете, фарса, я тем не менее не могу не испытывать угрызений. А если даже могу, то случившееся все равно накладывает на меня определенные обязательства. Мне представляется, ни для кого не было бы ничего зазорного, если бы я получил возможность так или иначе компенсировать нанесенный ущерб, оказать пострадавшей семье посильное вспомоществование — как вы мыслите? Или, быть может, вы, граф, почтете за лучшее вызвать меня к барьеру? Тогда не стесняйтесь, зовите. Хорошие отношения не должны препятствовать их выяснению — пусть и методом от противного: способом пули или клинка. Дружба дружбой, дуэль — дуэлью. Прошу вас, я не обижусь».

---

[1] Теперь, вороша свои дневниковые и мемуарные записи, я сознаю, что граф все-таки забывался. Мой контус с Жижи, на который Оле недвусмысленно намекает, состоялся вскоре после самоубийства Лаврентия; мы же беседуем явно до этого происшествия. Так что забывчивость Брикабракова, равно и мое соучастие в ней, можно смело определить как типичное воспоминанье о будущем. Подобные воспоминания посещают нас много чаще, чем принято думать. Точнее, настолько часто, что мы научились их забывать задолго до посещения, заблаговременно.

[2] А неделями позже, когда, сидя в ванне и безучастно владея графиней, я вчитывался в некролог по Лаврентию, просматривал прочие объявления и скандалил с Оле, со мною сделалось дежавю. Возникло чувство, что все это некогда уже со мною случалось — в сей жизни или предшествующей. Или случится в последующей.

«Милейший, вы меня умиляете,— захихикал граф.— Ваш вопрос исключительно празден. Поймите, я — западный, эмансипированный человек, человек посторонней формации. Я вырос и возмужал в Париже».

«О, Париж!» — завистливо задохнулся расстрига, зашедший плеснуть нам горячего кофе. Сказав так и сделав свое небольшое, но нужное дело, слуга удалился.

«Когда вам случится поехать в ту сторону,— продолжал Оле́,— вы увидите, что на Западе все обстоит по-иному. Свобода, друг мой, свобода не только выкриков, но также — и прежде всего — любви».

«Стало быть, классовые потасовки прошумели там не вотще?»

«Конечно!» — Граф встал. Ностальгически запорхал он по комнате.— «Буржуазно-демократические завоевания велики. Укажу, например, на открытые браки. Браки втроем, вчетвером. Процветает любовь групповая. Любовь однополая. Покупная. Любовь к животным. И все это узаконено, вправлено в конституции. Все в порядке вещей. А уж вверить супругу иль даму сердца в руки здоровому молодому мосье — что ж в том худого, подумайте. О каких претензиях может быть речь! Что за варварство, честное слово. Нет, право, не умиляйте».

Увещевания Брикабракова возымели на автора строк то благое влияние, что несмотря на дюжину выпитых на двоих джезвеек крепчайшей турецкой бурды, он по уходе графа лег спать и залпом проспал до самого послезавтра.

Сон праведника освежил меня. Отдохнув, я решил начать совершенно новую жизнь — жить набело, без предрассудков, на западный коленкор. Только в невыгодное отличие от Оле́ я вырос и возмужал не в Париже, и — наверное лишь поэтому — мне недоставало нравственной закаленности. Пристальный взгляд какой-то — первой по коридору — замочной скважины свел решимость дерзающего лица к нулю. Сцена в гостиничном номере, виденная позавчера, предстала в ретроспективном ракурсе. И приступ ревности — застарелой — знобящей — вынудил прислониться к простенку и медленно насползти на пол. Мне сделалось дурно. Краски чела поблекли. И несколько человек отнесло меня на диван. Вызванный из Кремля Аркадий Маркелович прописал пиявки. Уязвленный им, я подал петицию в соответствующий департамент. Дело А. М. Припарко пришлось очень кстати: его подверстали к процессу врачей-вредителей. Выездные суды процесса гастролировали той весною по филармониям, колизеям и колонным залам с большим успехом. Всего к заключению определили около семисот человеко-лет. К чести Припарко замечу, что он во всем и сразу сознался, был осужден, но вскоре его, к сожаленню, реабилитировали. По возвращении из мест изоляции эскулап принялся за старое. В том числе и за свои мемуары.

Тем временем приступы ревности продолжались. Прибегнув к самостоятельному психоанализу, я счел наиболее эффективным средством против нее — долгосрочные теплые ванны, которые, правда, я применял и прежде и применять намерен всегда как истинную и единственную панацею от всех напастей. В одной-то из этих ванн и обрел меня Юрий Владимирович Андропов. Обрел — и отвез в сандуновские термы. Было это лишь несколько сотен страниц нашей рукописи тому, а кажется — миновали столетья.

Вволю глотнув голубого вечернего воздуха, я захлопываю фрамугу окна и поворачиваюсь к Андропову. И долго мы всматриваемся друг в друга при свете кварцевых люстр.

Он сидит на краю водоема, я — стою на другом. Я в пижаме, а Юрий в шлафроке. На голове у меня — ничего, а полковник сдержал обещанье: надел чепец. Юрий видит во мне простого, искреннего, но далеко не глупого скроту и подспудно любуется абрисом торса его и отброшенной на стену тенью профиля, что — я верю — украсит фронтиспис данных набросков. «Как он взволнован,— думает обо мне Андропов,— как дерзновен». Враг бессмысленной лести, последовательно нелицеприятен и прям, я вынужден констатировать следующее. Глядя на Юрия, я во внешнем его обличье не любуюсь ничем.

«Ну, так как же? — Голос Андропова отдается в аркадах и портиках, изощренно украсивших сандуновскую цитадель чистоты. — Приступим?»

Хладнокровен, как бестия, думаю я о Юрии. Разве можно так выражаться: приступим! Экий цинизм. Впрочем, как по-иному? Сказать: обагрим наши руки кровью невинной жертвы? Вздор. Слишком высокопарно, помпезно. Заявить ли: давай-ка, брат, совершим предиамеренное убийство, убьем по первому, мол, разряду? Совсем чепуха. По разрядам ведь парятся, а не убивают. К тому же мы и не собираемся убивать. Хорошо ли убить человека почти ни за что. Точнее, за то лишь, что он кому-то мешает, не нравится или удерживает лакомый пост? Да и за что вообще — хорошо? Есть ли нечто такое, за что действительно следовало бы и было бы не прискорбно выдворить кого бы то ни было в никуда — в насовсем — где неясно что — неясно и тускло. И потом возникает вопрос о праве, о юрисдикции, юриспруденции. На каком, как выразился бы старик Плевако[1], если бы удостоил нас консультации, на каком таком основании собрались вы убивать? Словно бы уголовное право рассматривает целый свод положений, на основании коих можно бы на худой конец и убить. Словно б наличествует такой документ в принципе — уголовное право, куда записаны все права и обязанности тех, кто, встав на тропу преступлений, поставил себя вне общества. Ладно, а казнь? — спросили бы мы у Плевако. — Имеет ли право на существование — казнь? А казнь, отозвался бы он, имеет. Поскольку она оформляется юридически, в присутствии адвоката, присяжных свидетелей, с приложением всех требующихся бумаг и печатей на них. А у вас ничего не оформлено. Вы не дали себе труда завести даже папки для дела, не говоря уж о делопроизводителе. И следовательно, вы намерены не казнить, а причинить незаконное умерщвление. Нет-нет, господин Плевако, мы ничего не намерены — никого. Мы зашли пошутить, покалякать. Всего замечательного. Вечная вам мемория. Невероятно — убить дядю Леню! Какая химера — бред! Не кого-нибудь, не какого-нибудь беспутного Карамазова или, как верно подмечено литературной критикой, никому не нужную старуху-процентщицу, а как раз дядю Леню. Понятно, тот тоже немолод и в строгом смысле нисколько не Аполлон: костяком неказист, непороден, а в последние годы и вовсе сдал — обрюхател, облез. Только — что нужды! Дух-то в нем пребывает бодр. Да и разве не этот так называемый джентльменский набор добродетелей испокон снискал себе безграничное уважение и ревностное поклонение обыденного народа. Не они ли считаются признаками действительной умудренности, семейной уравновешенности, солидности общественного положения и являются непреложными качествами столпов, покровителей и отцов нашей нации, равно как и национальных героев Японии сумо — бойцов животами. Не на этих ли добродетелях и замешен тот базис, который со дней Гороха, царя и организатора государства российского, удерживает всю надстройку. Убить дядю Леню! Его, который, бывало, кричал еще издали — собирайся, мол, едем, а в конке шумел, рассказывал уморительные военные анекдоты, что позже легли в основание его эпохальных книг, а когда мелькал последний фонарь, тоннель кончался и мы въезжали на станцию, он, дядя же Леня, первый — еще на ходу — выскакивал из вагона и бежал навстречу Берды, восклицая: «Ну, что, прилетели твои летучки?» И начиналась охота. И не мастерски ли палил дядя Леня навскидку — в угон — дуплетом. Не быстро ли умел развести походный костер, зажарить на вертеле пару дюжин пролетных парных ушанов, кожанов, летучих собак покрупнее — раздать их голодным товарищам, и не сам ли при этом довольствовался какой-нибудь малой косточкой, крылышком, обсасывал худосочную лапку. Забыть ли наши привалы! Немыслимо. Чем темней становилась ночь, тем лучше она рифмовалась с дочерью, тем ярче рдели в ней головешки, тем истовее ворковали на Лужниковском болоте жабы и явственней копошились в травах кроты, поедая опавшую волчью ягоду. Изредка с низким минорным гимном скорбному своему труду пролетал над могилами крупный светляк, известный в энтомологии под именем Гробокопатель. О, как уютно было лежать у костра под ватным, беззвездным небом и, покусывая соломинку,

[1] Известный древнерусский юрист.

мыслить сонетами, главами будущих эпопей, ждать всемирной известности или потопа. А если на небе проступала звездная сыпь, недуг мой разыгрывался, и я подсаживался к дяде Лене — прижаться. Слушая взрослые разговоры о международной политике или старинные пионерские песни, что пелись нашим правительством на всяком бивуаке, я тихо задремывал у Брежнева на груди, под полою его боевой, заслуженной плащ-палатки. И после этого, после всего остального, чем нежно связала нас с ним непростая кремлевская дружба, мне в обмен на какие-то эфемерные зарубежные блага предложено — нет, я, наверное, недопонял, ослышался — о, конечно, само собой разумеется, Леонид, как ни жаль, должен быть сурово наказан. Пусть даже розгами, шомполами. Хотя — за что же? Я ведь не знаю состава его преступления. Мне говорят лишь — есть мнение: надо убрать. Чье? Кто судьи? Часовщики? Я сам часовщик, но у меня далеко не такое мнение. С другой стороны, просвещенный кремлянин обязан быть толерантен, терпим к чужому. И абстрагируясь от соображений дружбы, я готов допустить, что Брежнев достоин самой жестокой участи, и решение нашей организации бесповоротно. Пусть так. Но пускай эта кара вершится другими руками. Своих я не обагрю. Увольте. Вы слышите? Без меня!

Терзания мои были столь велики, что я даже осунулся. И собрался уже воскричать дяде Юре свое наотрезное нет, как вошли с сообщением, что в парном департаменте пар опять достигает высоких кондиций, и если угодно еще раз попариться, то добро пожаловать. Сделать это имело смысл во всяком случае. Мы направились. Однако в каком-то из переходов мне ернически подмигнула замочная скважина запасного выхода. Горло сдавило. Я привалился к Андропову и медленно уронил свое тело на руки сопровождавших лиц.

«Немедленно в ванну», — рекомендовал я, хрипя. И тихо плавая в ней, словно в бухте — полупотопленный бриг, я слышал свои слова, обращенные к Юрию: «Вы, сидящий возле плескалища хворого ревностью П., — ревностью, что свела ему челюсти, перехватила дыхание и перекроила весь быт, ведайте: он родился на свет творить не преступные злодеяния, но справедливость истории. И не убийство он совершит, но — казнь! Вы же оформите все юридически и представите надлежащие справки». И услышав, с каким выражением сказаны были мои слова, я поразился, насколько мне, все-таки, недоставало еще западноевропейского лоска, терпимости, уменья красиво и с честью вверить любимую даму другому мосье. Зато с избытком был наделен я зрительной памятью, и контус в гостиничном номере повторялся в моем умозрении со всеми интимными вывертами его, во всех нюансах. Но ужаснее и больнее прочих в память врезалась такая деталь, как культяпки: они — мельтешили, мелькали! Они! которые я когда-то лобзал и лобзал. Я был безнадежен.

Часа через два, пожертвовав подобострастным пространщикам не менее, чем на ящик столичной, мы выбыли в направлении монастыря. Город праздношатался — кишел происшествиями — суесловил — дышал миазмами. Возле Большого театра мы стали свидетелями очередной трагедии «маленького человека». Желая пройти без билета хотя бы «под занавес», на последние реверансы, несостоятельный посетитель, по виду — глубокий провинциал, столкнулся в дверях с вышибалой, и тот, раскрутив турнедверь, бессердечно вышиб беднягу обратно на холод. Стоял мороз. Не представив ни шанса на апелляцию, театральный разъезд поглотил героя подобно отливу.

«Кто сей? Что сей? — воскликнул я про себя. — До чего же он безымянен! Подумать: наверное, ни в игорных домах Вера-Круза, ни на журфиксах в Сохо, ни в борделях Бордо — никто никогда не видел и не увидит этого неособенного, с давно поредевшей копною волос гражданина. Да что там наверное — наверняка! Недалек и неловок, ненужен и невелик, он безвыездно и безнадежно жительствовал, где велела судьба — где положено: где-нибудь в Жмеринке, в Туле. Ах, Тула, Тула. Да что же мы знаем о ней? Что дорого нам в данном звуке? Почти ничего. Какие-то самовары, пряники. В крайнем случае — втулки, Толстой. Но это — максимум. Фантастически скудны, обрывочны наши сведения о настоящем

предмете, а гражданин в этой Туле всю жизнь до нитки спустил». Мне всплакнулось.

«Да, удел незавидный,— прочел мои мысли Андронов, сам смахивая слезу.— Только не надо. Не будем расстраиваться по пустякам. Ну их к черту».

«Вы думаете?»

«Уверен. Конечно, мир полон трагедий, но все они более или менее справедливы. Ведь даже истребление целых народов определено изобилующей правдой».

«Откуда вы знаете?»

«Так говорил Исайя. Глава десятая».

Эзотерические науки были коньком полковника.

И еще о театре. Как-то раз, проводя свой зимний досуг на брегах одного из фиордов той непривычно продолговатой страны, где местная публика на загляденье размашисто ходит по воду на лакированных длинных планках с загнутыми вверх концами и где отсутствие новомодных средств связи делает эту идиллическую картину совсем пасторальной, я свел знакомство с довольно известным французским подданным ирландского происхождения. Закоренелый авангардист, Беккет — так звали рассматриваемого господина — жил и творил в том же самом шале санаторного типа, где жил и творил автор строк, разве что этажом пониже да в номере поскромней.

«Зовите меня Самюэль,— насупленно рекомендовался он, подойдя ко мне в лобби шале. И добавил: — А вы — такой-то?»

Не став отрицать, я не стал и гадать об источниках его осведомленности. К той зиме я сделался исключительно славен. Мои сочинения стояли на полках даже колбасных лавок, и только совсем уж не уважавший себя журнал не пестрел моими портретами. День же неумолимо клонился к ужину.

«Знаете что,— осмелел Самюэль,— отчего бы нам не отужинать вместе?»

Его предложение было принято.

Не питая особых надежд на то, что когда-нибудь эти записки признают учеными, не могу, тем не менее, не отметить: съестные способности гомо сапиенс разительно превосходят умственные. Пищеварительный тракт клинического идиота, беромого в интервале событий с пеленок до гробовой доски, приводит к единому знаменателю столько вкусной здоровой снеди, что осмыслить истинное величие катастрофы не в силах никакие ферми. Иными словами, помимо яиц от Амбарцумяна мне за годы послания привелось отведать такую прорву разнообразнейшей кулинарии, что вспомнить, что, где и когда было съедено, не всегда удается. Короче, я не берусь утверждать, чему — кроме скотча и крембрюле — воздали мы с Беккетом должное «У Кьеркегора» — так называлась ближайшая от нашего шале ресторация. Но к счастью могу процитировать все вечернее расписание ее блюд, случайно засушенное в одном альбоме с цветками норвежского коровяка, настои которого весьма хороши как отхаркивающее.

MENU

Forretter:

— Klar Suppe med Kød og Melboller . . . . 12.50 kr.
— Hønsesuppe med Aspares . . . . 13.75 kr.

Hovedretter:

— Medisterpølse med Kartofler, sov og Rodbeder . . . . . . 18.50 kr.
— Frikadeller med sovs, Kartofler og Rødkal . . . . 20.50 kr.
— Boller i Karry med Ris . . . . 16.50 kr.
— Wienerschnitzel med sovs, Kartofler og Grontsager . . . . 22.50 kr.
— Dansk Bøf med Kartofler, sovs, Bønner og Bløde Løg . . . 25.00 kr.

Efterretter:

— Vanilieis med Chokoladecreme . . . . 8.50 kr.
— Fromage med Karamelsauce og Sukater . . . . 12.50 kr.
— 2 Pandekager med Hjemmelavet Syltetoj . . . . 10.50 kr.

Внимательно изучив меню, мы уведомили официантов о принятых нами решениях. В залах было натоплено, но Самюэль оставался в пальто.

«Нездоровится?» — бросил я.

«Застарелая лихорадка, fiévre».

«Что же вас привело в Норвегию?»

«Ибсен. Гамсун. Отчасти Григ».

«Не спросить ли глинтвейну?»

«Я не любитель».

«А может, хотите грогу?»

«Мерси. Лучше виски».

«Сейчас принесут».

«Шире шаг, ленивый Джон Уокер,— сказал драматург.— Пошевеливайся».

«Я слышал, вы балуетесь переводами?» — полюбопытствовал я.

«Так, слегка».

«Почитайте из лучших».

Он закурил. Бармен принес литрового «Джонни Уокера», откупорил и ушел.

«Невежа»,— сказал ему вслед Самюэль. Он налил в оба стакана и выдавил в свой пол-лимона.

Мы выпили. Не спеша драматург прочитал три-четыре стиха в переводе с английского на французский, а после их же в обратном. В камине горели поленья.

«Недурственно»,— молвил я.

Он не ответил. Видно было, что его что-то мучает.

«Вам полегчало?» — спросил я Беккета.

«Вне сомнений».

«Однако я вижу, вас что-то мучает».

«Мучает?» — переспросил Самюэль, пораженный моей проницательностью. Выглядел он угловато, сурово, несимметрично, словно только что от Пикассо. Пальто, пошитое в первой четверти века у какого-то прикладного кубиста, усиливало иллюзию.

Подали первое.

«А пожалуй, вы правы,— сказал Самюэль.— Что-то мучает».

«Как-то?» — Я затолкал салфетку за воротник.

«Я, наверное, понял, что заблуждался. Вернее, не я, а Годо. Вы смотрели?»

«Многажды. Впервые — в Монтевидео. Потом в Барселоне, в Афинах, в Цюрихе, на Галапагосах. Не перечесть».

«А в Рейкьявике?»

«О, Рейкьявик, еще бы! Там ведь прекрасный английский театр. Вас обносят напитками сами актеры, по ходу действия. Разумеется, можно и закусить. Чертовски комфортно».

«А как постановка?»

«Наслаждался каждой минутой».

«И декорации тоже понравились?»

«И декорации, и костюмы, а свет — сплошная феерия».

«Тем не менее,— сказал Самюэль,— мой Годо никуда не годится».

«С чего вы взяли? По-моему, вещица на ять».

«Он поступает бестактно».

«То бишь — не поступает никак?»

«Абсолютно».

«Что ж, в данном случае он, очевидно, неправ,— согласился я.— Некрасиво. Публика ждет, надеется, а ему хоть трава не расти».

«Шокинг,— кивнул Самюэль.— Моветон».

Принесли второе.

«Скажите,— сказал он мне,— разве кто-нибудь из заглавных героев того же Ибсена позволил себе хоть единожды не возникнуть, не выйти к рампе?»

«Импосибль,— отозвался я.— Такого героя просто неверно бы поняли. Вообще, удивляюсь, как вам еще верят. Вернее, не вам, в него».

«А я что ли не удивляюсь!» — сказал Самюэль.

Мы пригубили.

«Я устал,— доверительно заговорил драматург.— Я устал удивляться. Устал от того, что Годо не приходит, а зритель и персонажи наивно верят, что он придет. Я устал ждать его вместе с ними. Я стар, одинок, бессонен. Я вдрызг устал от Ирландии, Греции, Франции, от Бенилюкса и Австро-Венгрии, от Канады и Кипра, от Африки и Латинской Америки. Вы понимаете, что я имею в виду? Это ж надо так изолгаться, извериться».

«Вы устали,— ответил я.— Вы изъездились».

«И тогда я приехал сюда, к Ледовитому океану, на край всего, чтобы придумать другой конец. А точней — дописать «Годо» до того момента, когда он все-таки соблаговоляет придти. Вообразите-ка: быстро входит Годо, медленно доедая яблоко. Это ремарка. Авторская ремарка. Вам нравится? Каково?»

Беккет казался предельно взвихрен.

«Задумка сама по себе недурная.— Я выдержал паузу.— Только не лучше ль наоборот: входит медленно — ибо с чего бы ему торопиться — а доедает стремглав, ибо голоден».

«Лучше,— сказал Самюэль.— Много лучше. Я переделаю. Обещаю».

И тут принесли десерт.

«Послушайте, а зачем тут яблоко? — был мой вопрос.— Не слишком ли оно лобово и глобально?»

«Да, но как же иначе,— ответил официант.— Крем-брюле-то ведь яблочное, с цукатами».

«Я — не вам», — объяснил я официанту.

«Пардон»,— извинился тот.

«К дьяволу яблоко,— молвил Беккет.— Вы — умница, Палисандр».

«Если ж идти до конца,— тыкал я вилкой в его блокнот, куда он едва успевал записывать то, что я ему диктовал,— то Годо не дано возникать ни быстро, ни медленно, так как он может возникнуть одним-единственным образом. Набросайте-ка: снисходительно входит Годо».

«Снисходительно! — эвристически закричал Самюэль на всю ресторацию.— Снисходительно! Гений!»

На нас оборачивались.

«От гения слышу,— сказал я ему тактично. И отчетливо проговорил на всю залу: — Э-э, будьте добры, будденброков с икрой, пожалуйста». И хотя в меню их не наблюдалось, были принесены.

Мы добили надменного «Уокера», расплатились визитными карточками и вышли в норвежскую ночь — ночь Ибсена, Гамсуна, Грига, ночь Олафа Пятого и Шестого. Мы были пьяны как художники — вдохновенно, и все мыслимое и немыслимое вне ее — перед лицом ее — на лице ее фона — на фоне ее лица — представало посредственным до удушья. А над ее оркестровым провалом, зайдясь в немом исступлении, махал опахалом нордического сияния невидимый дирижер-вседержитель. О, как распахнуто чаяла щупальцев какого-нибудь грандиозного головоногого виртуоза клавиатура фиордов, украшенная беспорядочным нагромождением скал! Причем веками, веками.

Затем мы расстались. С Беккетом — в лобби шале, с Андроповым — у проходной Новодевичьего.

«Значит — договорились?» — сказал полковник, протягивая мне руку из катафалка.

«Есть»,— кратко бросил я по-военному.

Ход событий заметно ускорился. Эпоха летела на перекладных. Несмотря на то, что очередной передел мира опять закончился вничью, общество претерпевало все большие изменения, а Юрий Владимирович все продвигался по службе. Он стал Кардинальным Хранителем.

Планы наши имели тенденцию осуществиться. Не прошло и целого ряда лет, как с известной Вам целью я уже подъезжал к Александровским палисадникам. В инструкции, что мне передал накануне андроповский порученец Цвигун, которого Суслов подвигнет впоследствии на самоубийство, указывалось:

«Местоблюститель проследует из осенней резиденции (Кунцево) в зимнюю (Большой Кремлевский Дворец) обычным путем. Встречайте у Боровицких». День и час сообщались.

Вместе с инструкцией мне вручили обмундирование, пропуск в крепость и вид на жительство на имя какого-то кавалерийского подхорунжего, ордер на казнь и другие необходимые документы. Все были нотариально заверены.

Затянув портупею, я сел в ожидавший меня дормез и покинул его у Собакиной башни. Держа равнение на Вечный Огонь, правую руку — у козырька, а левую — на эфесе сабли, парадно печатал я марш к пропускному Кутафьему пункту. Огнепоклонники и другая чистосердечная публика, гулявшая во саду, испытала прилив совершенно законной гордости. Отставники вытягивались во фрунт. Влага военно-патриотического умиления остекленила им очи.

Расчет Андропова оправдался. В отличие от Якова Незабудки другой старослужащий часовой оказался типичным раззявой. Не осознав, сколько лет у меня пролетело в изгнанье и как я в нем повзрослел, он решил, что я попросту предаюсь обычной своей забаве — играю в солдатики, и поэтому не спросил даже тех фальшивых бумаг, которыми я в избытке располагал.

Я прошел за Троицкие ворота и задворками направляюсь в гвардейскую бильярдную, что при всех режимах находилась в Свибловой башне. Чтобы убить остававшееся до акта время, сгоял, как выразился один офицер, с ним партею. Звали этого морского кавалергарда Орест Модестович Стрюцкий.

Являя собой род мозглявого слизняка, он принадлежал к той довольно распространенной породе граждан, что изначально вступают на путь добра и общественного порядка. Во всем руководствуясь соображениями справедливости, чести, люди подобного склада чем-нибудь поминутно заняты. Где-то учатся, служат, куда-то долго спешат и пишут, на ком-то женятся, долго производят от них детей, о чем-то пекутся, заботятся, достигают и званий, и степеней, долго важничают, глубокомыслят. А после, когда настает этим людям пора оглянуться и вспомнить пройденное, оказывается, что вспомнить положительно нечего. Тогда-то и начинают они приискивать себе жизнесмысл и, сами того не заметив, становятся завсегдатаями притонов, рабами своих нездоровых эмоций. Они впадают в дремучий разврат, предаются вину, табаку, сальным шуткам. И это именно их, орестов модестовичей, то и знай зачисляют в пропавшие без вести, чтобы найти вдруг погибшими от припадка апоплексии в постели какой-нибудь полусветской мадам. Карьеру же их венчает итог еще менее славный. Изгнанные со всех прежних служб, граждане данного сорта кончают истопниками, курьерами шорных фабрик, смотрителями общественных санузлов, маяков или вовсе в пространство. И ежели им случается игрывать на бильярде, то ассоциации, которые вызывают у них обыкновенный кий и пара оставшихся на сукне шаров, откровенно похабственны. Тем не менее ни в какую распутицу не застанешь орестов модестовичей за чтением не то что там фрейдов, но и элементарных павловых. И что характерно? При всей их непросвещенности в вопросах известного круга, стрюцких отличает патологическая недоверчивость. Например.

Мысля по-своему монархически и любя побеседовать в ракурсе прошлого, они слегка лишь коснутся значенья земельных реформ Столыпина, но зато со всего кондачка перескажут Вам будуарные анекдоты о Екатерине Второй и со всею стрюцкою основательностью остановятся на параметрах Его Величества Петра Первого срама, длина которого, как известно, равнялась двенадцати спичкам. Правда, не наших, а шведских, поскольку измерения производились на Готланде, где молодой тогда человек вкушал европейских премудростей. Данные эти не вызывают у стрюцких ни капли сомнений. А стоит вам намекнуть, что лично ваше зизи достигает девятнадцати тех же спичек в длину, как стрюцкие заявляют, что не поверят полученному сообщению, пока не проверят его воочию или хотя бы на ощупь. Ну-с, а вы, разумеется, не намерены — не намерены доставлять орестам модестовичам подобного удовольствия и суете им под нос обыкновенную дулю. Тут стрюцким делается обидно, они протестуют, шумят —

и пререканиям вашим не видно конца. Слава Богу, что в нашем случае на лестнице раздались шаги и дыхание вестовых, бегущих уведомить о приближении брежиевского кортежа, и мы прекратили этот нелепый скандал, едва не поставивший нас к барьеру.

Слух о подъезде Местоблюстителя распространился бикфордово. Тревожно запахло сапожной ваксой, пуговичной суспензией, замелькали бархотки. Компактными звеньями и вразнобой проносились военнослужащие. Суета нарастала. Я выступил на балкон.

По Дворцовой — дерганно и откосо — маршировали отряды с примкнутыми штыками и нулевым выражением лиц. Левее, на Соборном плацу, стояло каре почетного караула. Проверку подворотничков на свежесть осуществлял маршал Захаров. Прошелестели штандарты. Пестрея тельняшками, прокатила куда-то фуры с провизией братва с тринадцатой батареи четырнадцатого отдельного дивизиона сто двадцать первой дальневосточной бригады. «Береговики»,— с теплотой отзывались об этих приморских артиллеристах. Церемониально, будто сквозь строй, провели обезумевшего от собственной бравости барабанщика. «Тик-так, тик-так»,— повествовал его полковой барабан.

Быстро и на правах офицера шагнул я за Оружейную башню. Все здесь, в сыром переулке между брандмауэром и Палатой Мер и Весов, было мне с детства знакомо. Лишь там да сям, по расселинам, сиротливо курчавились новая, неведомая досель мурава и древесная поросль. Но ящерицы были по-прежнему юрки и неторопливы улитки.

«Благоволите на эспланаду!» — крикнул мне кто-то, уже находившийся там.

«Что-с?»

«Отсюда виднее».

Степенно проследовал я под навес смотровой площадки.

Со стороны Манежа близился авангард эскорта. Из-за университета, построенного Казаковым по чертежам Жилярди, валила жирная туча.

«Оптику не желаете?» — протягивали мне спаренные бинокуляры.

«Цейс?»

«Тридцать диоптрий».

«Благодарю вас».

«А вы — из Генштаба?»

«Нет, прямо из действующей».

«Как проходит кампания?»

«Как ни в чем не бывало».

Катафалк Местоблюстителя заорачивал в Боровицкий проезд. Толпа обожателей и зевак, теснимая шпалерами полицмейстеров, осенила себя зонтами и капюшонами.

Я приставил бинокль. Дождевая испарина, шедшая от разгоряченных людей и брусчатки, легла на лупы, слегка замутив их. Брежнев сидел на заднем сиденье грузно, пожившим кулем. Глаза наши встретились. Но если мои — бликовали, его — были тусклы. Он смотрелся избыто, потусторонне, словно уже переехал Стикс. Сопутствующие выглядели немногим бодрее.

«Готовьтесь! — воззвал я к нему умогласно.— С вас причитается жизнь».

Казалось, что он не внял мне.

Разряд зеленого небесного электричества блеснул так близко, что некто, стоявший рядом со мной на брандмауэре, присел и крякнул.

«Не дрейфить! — презрительно приказал я военному, поправляя ему фуражку. И по-отечески мягко добавил: — Ведь смерти нету».

«Есть смерти нету!» — уверовал он.

Веселящий запах озона и мокрого города будил, расшевеливал вольномыслие. Я увидел, как стая студентов, начитавшихся всякого вздору, выбежала из читальни на площадь и, выкинув на шестах крамольный девиз, сбила с ног кентавра от жандармерии. «За вашу и нашу свободу» — гласил транспарант. Учащихся повязали. Озноб неосознанного протеста заставил меня сжать в кармане шинели шершавую рукоять.

История того шестизарядного кольта весьма поучительна. В ней отразилась борьба философских течений, страстей, неурядиц века.

В незабываемом девятьсот восемнадцатом знаменитая революционерка Фаина Каплан произвела из него ряд выстрелов по Ульянову-Ленину Владимиру Ильичу, в музее которого он и хранился. В тридцать четвертом году револьвер из музея похитили и при посредстве его аннулировали Сергея Кирова, после чего кольт сослали в морозную Вятку, в музей последнего. В период же так называемого Реабилитанса Фаина вытребовала револьвер к себе в Эмск, поскольку то было ее именное оружие и у нее имелась записка от Ленина, адресованная Дзержинскому: «Фанню Каплан из-под ареста освободить. Револьвер верните. Ульянов». Имелись у нее и другие записки от Ленина. В частности, к ней самой, многолетней интимной его соратнице, не пожелавшей делить любимого человека с претенциозной и недалекой соперницей, которую Фаина считала большой мелкобуржуазкой. Решив, что сначала убьет его, а потом и себя, Фаина отправилась на завод Михельсона, где выступал Владимир. Рабочие предприятия, к счастью, не допустили трагедии, и любовники отделались незначительными царапинами.

Заботами Крупской ленинские записки к Фанне мариновались в архивах десятилетиями, и опубликованы эти бесценные документы были только при мне. Смотрите собрание его сочинений, том семьдесят третий, смотрите, сколько мятущейся чувственности сквозит в буреломе упрямых строк, обращенных к подруге жизни и деятельности! Впервые случилось мне прочитать любовные те послания в тире Высшего Добровольного Общества по Спасению Утопающих. Готовясь к аннигиляции Местоблюстителя, я ходил туда упражняться в меткости, и моим приват-педагогом была Фаина Исаковна. Случайно ли? Разумеется, нет. Нанявший ее для меня Андропов знал: старейшая русская террористка и персональная пенсионерка, она как никто другой может поспособствовать моему совершенствованию. И она — способствовала.

«Чтобы стать метким,— не уставала твердить Фаина Исаковна, вновь и вновь подтягивая свои сползавшие шелковые чулки,— террорист должен кушать побольше сырой моркови, улиток, лангуст». Рекомендованная педагогом диета пошла мне впрок. Тонус резко повысился. Я перестал опаздывать на репетиции, сделался не по-зимнему деловит, энергичен, и безучастно свидетельствовать, как старуха подтягивает чулки, становилось невмочь.

А между тем приближалась пора выпускных экзаменов и зачетов. Занятия наши кончились. Расставаясь, Каплан подарила мне свой заслуженный револьвер.

«Не знаю, что вы задумали,— сказала она немного высокопарно,— но верю, что вы не уроните честь моего оружия».

Я потрепал педагога по бородавчатой искаженной энтузиазмом щеке. «Не поминайте лихом».

Единственная слеза террористки капнула мне на кисть. На ту, что сжимала теперь историко-революционную рукоять.

Гроза, как посетовал кто-то рядом, совсем разразилась. Эскорт, караул и прочие подразделения были хоть выжимай. Когда авангард эскорта копытил уже под сводами Боровицкой арки, в Набатной башне забалаболил набат. Подумав, ему отозвался Иван Великий. Вознесся малиновый звон Благовещенского, кисейный — Успенского и узорчатый звон Архангельского соборов.

«Куда вы?» — постиг меня внутренний голос.

«Спущусь»,— возражал я, спускаясь.

Лило; и лестница пузырилась.

«Осторожнее,— донеслось с бастиона,— не поскользнитесь!»

Я махнул свободной рукой: «Не волнуйтесь, мне ведом тут каждый камень, посколь»,— поскользнувшись на чем-то скользком, впоследствии оказавшемся юркой ящерицей, дерзающее лицо тут почти что упало. Точнее, упало, но не

вполне, практически не изгваздав мундира. И, непечатно выразившись, перчаткою я отхлестал галифе по отвислым, словно у Леонида, щекам. И шагнул в направлении подвига.

Авангард проследовал. Ливень лизал дымившиеся на мостовой конские яблоки, преображая их в навозную жижу, вкрадчиво веявшую былым, невозвратным. Я встал за спинами караула. Команды послышались. Шашки вышли из ножен с шелестом шоколадной фольги. Очередная молния произвела тот эффект, что клинки, голенища, кокарды и остальные блестящие вещи как бы покрылись изморозью. На ощупь взведя курок, я двинулся далее. И, когда катафалк моего соперника въехал под Боровицкую арку, я стоял уже в узком ампирном портике, вырезанном в основанье восточного свода, и сокрушенно молился. «Ма,— молился я на санскрите за всех ратоборцев и путешествующих,— ма!»

Торчавшие у противоположной стены привратники и городовые проглотили аршин; экипаж надвигался. Оконные рамы его были откинуты. Леонид сидел в прежней позе.

«Позвольте!» — воскликнул один из городовых, случайно обративший внимание, что, прищуря глаз, я целюсь непосредственно в Местоблюстителя.

«За вашу и нашу с в о б о д у!» — ответил я держиморде студенческим лозунгом. И с тянущим ощущением раскольниковской вседозволенности потянул за крючок. Звук удара бойка о капсуль был туп и растерян.

«Проклятая сырость!» — определил я причину осечки и сызнова взвел курок. Барабан провернулся.

«Не смейте! — кричали городовые из-за разделившего нас экипажа.— Вы слышите?»

«Попросил бы без комментариев»,— грубовато отрезал я, продолжая целиться Леониду в голову с расстояния четырех шагов.

Первым выстрелом я сбил с него шляпу. Вторым пробуравил функционеру висок и, дабы не видеть, как брызнет мозг, отвернулся. Конструкция стала. Вокруг засновало броуновское движение. Лошади арьергарда, едва ступившие под барочные своды арки, отпрянули, развернулись и понесли. Возле экзерцирхауза сделалось коловращенье, случилась давка. Там звали на помощь и, изъясняясь в кровосмесительном наклонении, дрались в зубодробительном падеже.

«Простите, но вы арестованы»,— подошед, уведомили меня с такой щегольской офицерскостью, с какой в гарнизонном балу приглашают к мазурке.

В ответном порыве армейской галантности я приосанился, сдал оружье и взял расписку. Пора было ехать. Мне выделили охрану и подали локомобиль. Мы откинулись и помчались. Подстрекаемая провокаторами толпа могла растерзать убийцу Местоблюстителя во мгновение ока, и во избежание беспорядков мы выбыли через Спасские. Я оглянулся: на дядином циферблате было без перемен: без шестнадцати девять.

Прояснилось. Сабли молний уж отблистали. По тротуарам шли куда-то какие-то люди.

Миновав окраинную вотчину Димитрия Самозванца, Тушино, мы оставили город и долго ехали незнакомой местностью. Вскоре кибитка остановилась перед ренессансной литою решеткой ворот, украшенной ложно-классическими фитюльками.

Подошел и — «Кого везете?» — промолвил тот, кого это, по-видимому, интересовало.

«Его Сиротство»,— ответил начальник моей охраны.

Ворота странноприимно распахиваются. Мы проезжаем, въезжаем, едем и подъезжаем. Затем выходим. Потом меня влекут этажами: мне предлагается осмотреть ряд меблированных номеров, или, как их тут называют, камер. Я останавливаю свой выбор на первой попавшейся — наспех ужинаю — молю поскорее наполнить ванну — и с сознанием не впустую прошедшего дня низвергаюсь в ее стремнину. И только тут я устало осматриваюсь.

Санузел, каких немало в столицах по-настоящему европейских держав. Кроме с трудом, но вместившей вас все-таки ванны черного мрамора, имеются краны, душ, ниши для мыльниц, вешалки для полотенец, пижамные вешалки, механические опахала, шкап с предметами первой гигиенической необходимости, губки разные, набор всевозможных пемз и мочал, стульчак и журнальный столик. Одна из дверей санузла выводит в столовую, где на закусочной околесице остывает недопитый вами бульон. Другая — в опочивальню, где ждут вас заслуженная перина, свеча в изголовье да не разрезанный вашим предшественником Шопенгауэр. Свежо, по-новому смотрит из пробковой рамы над ложем давно примелькавшийся на свободе Рембрандт: подделка ли, копия, оригинал — работа, во всяком случае, недурна. Все просто, пристойно, чисто.

«Так вот ты какая, неволя! — мыслил я с почтением.— Навряд ли случайно воспели тебя в твореньях именитые деятели искусств и ремесел, равно и безымянный народ. Еще многих и многих, лучших из лучших вдохновишь и наставишь ты, святая неволя, на истинный путь. А покуда — прими меня. Словно блудного сына прими меня, приюти, воспитай. Стоически перенес я изгнание — стоически перенесу и тебя. Словом, здравствуй же, здравствуй!»

И задремал. Гордо дремлется гражданину, исполнившему свой долг — гражданский ли, нравственный, трудовой или просто супружеский. Я очнулся в одиннадцатом часу.

Совершив обычные утренние отправления, нахожу в секретере чернила, перо, пачки писчей бумаги и начинаю тюремный альбом. На девяносто одном[1] языке всего мира опубликован он к настоящему времени. Любовно листают его пилоты Лапландии, учащиеся Гондураса, героические рыбаки Индонезии, чаеводы республики Чад. Полистаем и мы[2].

КНИГА ОТМЩЕНИЯ

Эпиграф: *«Человек, взятый под стражу, подобен тексту, взятому в скобки: он отчуждается».* Палисандр Дальберг.

Принял решение завести дневник. Взял бумаги. Веду. Входит некто. Здоровается. Желает приятного аппетита.

«Приятного аппетита»,— желает он.

«Приятного?» — переспросил я, и вправду закусывая чем Бог послал. Как то: куском прохладной телятины, ломтиком буженины да плавником барракуды под винным соусом. В перспективе маячил и чай.

«Так точно,— настаивал незнакомец.— Приятного».

«Так-таки и приятного?» — съиронизировал я.

«О, если вы заподозрили меня в лицемерии,— горячо взлепетал вошедший,— то я могу поклясться вам честью, что пожеланье мое совершенно искренне. И я готов повторить еще раз, что желаю вам исключительно приятного аппетита. Слово кадрового офицера: приятнейшего».

«Никогда»,— по-цезариански не отрывая пера от бумаги, а себя — от еды, произнес я раздельно.— отныне и присно и ни при каких обстоятельствах не желайте мне всех этих удивительных утр, отменных пищеварений, приятных кошмаров и прочих мещанских пошлостей: ненавижу». И посмотрел на него так, что мне стало его положительно жаль. А ему показалось, будто какая-то нечеловеческая энергия вдавливает его в паркет.

«Не повторится»,— отрекся он, задыхаясь.

«Я верю вам. А теперь повернитесь, выйдите из моей кунсткамеры вон и, войдя в нее вновь, доложитесь по всей подобающей форме».

Подкованно удалился. Возник опять.

«Разрешите представиться?»

«Представляйтесь».

«Подпоручик Орест Модестович Стрюцкий. Начальник вашей тюрьмы».

---

[1] !

[2] Дневник публикуется с небольшими сокращениями, в частности, за счет дат.

«Рад душевно. Имейте место»,— предложил я ему, указывая на свободное кресло с фигурными подлокотниками а ля арт нуво.— Ну-с, а я — Палисандр Александрович, узник совести. Так что, будем знакомы. А не угодно ли подкрепиться?»

«М-м, да как вам сказать».

«Только без церемоний. Да или, как говорится, нет».

«Не откажусь»,— отвечает он, алчно расстегивая на своем виц-мундире верхнюю пуговицу.

«Тогда позаботьтесь, чтоб привезли еще, поскольку мне тут и одному маловато».

Он вызвал шеф-повара и заказал нам ряд блюд, которые вскоре и прибыли. В тарелки было наложено с верхом.

«Вот это, я понимаю, порции,— молвил я.— А то создается какое-то остраненное впечатление, будто попал не в кремлевский орденоносный острог, а в заштатные ясли».

Мы трапезуем.

«Уж вы извиняйте, у нас здесь в последнее время немного без гобеленов,— оправдывается Орест.— Уж чем богаты».

«Да вижу уж, вижу. Ладно хоть канделябры наличествуют».

«Ну, этого-то барахла — в избытке,— исполнился офицер оптимизма.— Чего-чего,— говорил он мне,— а канделябров юсуповских нам тут по гроб жизни достанет».

«Не странно ли,— раздражился я,— канделябров достает, а гобеленов недостает. Неувязка, по-моему, а?»

«Мы их в чистку,— сказал Орест,— в чисточку, знаете ли, свезли. Почистить. А вернутся — сейчас и развесим».

«За качество чистки,— рек я начальнику,— отвечаете головой».

Отфриштикав, беру зубочистку, откидываюсь и наконец имею возможность внимательно рассмотреть Ореста Модестовича.

Современный тюремный администратор обязан корреспондировать всем тем требованиям, которые предъявляет ему эпоха. Известная гибкость, такт, личное чувство ответственности за порученное тебе дело, умение быстро сходиться и расходиться с людьми, огромный, едва ли не диогеновского масштаба, педагогический дар — вот только несколько из большого количества качеств, необходимых сегодня тюремному администратору. Неладно скроен да крепко сшит, востроглазый и чем-то неуловимым напоминающий ветеринара средней руки, Стрюцкий ими, по-видимому, и обладает. Однако мне, художнику-минималисту, желающему дать Вам всего человека в двух-трех штрихах, эти первостепенной важности свойства Ореста Модестовича в сравненье с одним из второстепенных — одним, но более выразительным — представляются нагромождением хлама. Так на театре, где в дебрях сценического реквизита разыгрывается светопреставление с характерным зубовным скрежетом, воем и боем литавр, какой живительный свет проливает на все предприятие какая-нибудь рассеянная инженю, использующая занавес в качестве носового платка; ибо это лишь и волнительно. Параллель очевидна: весь вид Ореста Модестовича свидетельствует, что он принадлежит к категории модников, которые независимо от семейного положения, возраста, страны проживания, национальности — носили, носят и будут носить подколенные помочи, или особого рода резиновые мужские подвязки, а значит — и соответствующие носки к ним. И не говорите таким мужчинам, что если они и похожи в своих подвязках на гладиаторов, то весьма отдаленно: они проклянут Вас.

«А что это вы там пописываете?» — спрашивает Орест Модестович.

«У меня есть мечта,— возражал я ему словами Мартина Лютера Кинга.— Мне хочется, чтобы во имя нашей будущей дружбы в вашей памяти никогда не меркла классическая, вошедшая во все хрестоматии притча о бедной Варваре, кому в наказание за любопытство оторван был на базаре нос. Ясно?»

«Ясно, Ваше Сиротство!»

«Так выполняйте».

Весь день жду вестей от Андропова.

Вестей от Андропова нет, но доставили кое-какие личные вещи, в частности, книги и маски.

Проявляю признаки беспокойства. Брожу.

В рассеянье раздвинул оконные шторы в спальне и впервые увидел тюремный двор. Двор как двор. Есть качели, песочница, небольшой фонтан. Есть беседка. Разбит arboretum, плавно переходящий в парк, окруженный забором. А далее — полный простор пасторального запустения: пажити, перелески, сады.

Странно — да факт: вплоть до Октябрьской пертурбации все здесь до океема принадлежало одной фамилии, связанной с нашим родом незримыми, но роковыми узами. Юсуповы! Именитейшие татары России! Гремели.

В шестнадцатом, насколько мы понимаем, году кн. Феликс Юсупов заманил моего деда Григория в свой петроградский дворец и в соответствии с лучшими традициями княжеского гостеприимства[1] накормил цианистыми пирожными. Выдающийся интуит и прекрасный знаток истории Григорий заранее принял противоядие: яд не подействовал. Увидев это, Феликс возьми да и застрели Григория.

Миновали эпохи. Ведущий данный дневник потомок Григория убиенного стреляет в Местоблюстителя Б., женатого третьим браком на внебрачной дочери Феликса, и, арестован, обретает себя в Архангельском, бывшем имении Юсуповых, преобразованном в привилегированный равелин. Неразбериха — дичайшая!

Однако вид из окна моей спальни будет ущербным, если не указать, что на первом плане в изысканной позе отчаяния произрастает нечто раскидистое, огромное и плакучее вроде того болконского дуба, о котором нам сыздетства прожужжали все уши.

Спросил подшивку газет за неделю. Вместо извещения об умерщвлении Б.— хотя бы и краткого — подписанное его именем соболезнование Южному Йемену по поводу якобы постигшего тот наводнения. «Все тонет в фарисействе!» — воспомнил я слова Пастернака.

Сижу и вдумчиво ужинаю. Заходит Орест Модестович, заходит беседа о математике, начинаем чертить на доске в кабинете непонятные непосвященному формулы, выкладки, эвклидовы чертежи, спорим, вздорим, в запальчивости бросаем друг в друга мелками, ластиками, хлебными катышками, но в конце концов решаем сойтись на том, что уравнение: икс в энной плюс игрек в энной равняется зет в энной степени, где эн — целое число больше двух, но не больше двух тысяч пятисот двадцати одного, все-таки не имеет решений в целых положительных числах. И расстаемся приятелями.

Брезжущий день по-троянски загадочен и чреват неведомым содержанием, что, как правило, не замедливает предстать. Но отдельные дни обманывают даже самые скромные ожидания, ибо не таят в себе ничего. Вот и сегодняшний оказался пуст. Пуст до гулкости, сер, правда, весь в созревающих яблоках здешнего сада. День-конь.

В дождь вороны летают над дальними свалками, словно бы мокрые тряпки; в вёдро — словно сухие. Ныне, если не возражаете, льет. Говоря же вообще, мир пернатых поражает разнообразием. Так, если на некоторых континентах

[1] Достаточно вспомнить княгиню Ольгу, что зазвала варяжских послов попариться в бане, в самый разгар массажа коварно покинула их, заперла на засов и спалила свое заведение вместе с клиентами.

отсутствует то, что мы зовем соловьями, то уже на острове Сахалин, о котором писал еще Чехов, не сыщешь ни воробья.

Скушно, скушно.

(За укулеле.)

Заявляется — на коне! [1] — Андропов.

«Доложите же,— говорю,— обстановку. Что слышно в крепости? К нам сюда доходят лишь самые неопределенные слухи, а в печать, как вы знаете, вовсе ничего не просачивается. С тех пор, как не ствло Владимира Ильича, в ней царит только фраза и фраза».

«Я вынужден огорчить тебя. Третьего дня Местоблюстителя видели на приеме».

«На что это вы себе намекаете, сударь?»

«На то, что он жив».

«Тем самым вы как бы даете понять мне, что я не убил его?»

«Даже не ранили».

«Бросьте, пожалуйста. Зачем разыгрывать? Вторая пуля буквально прошила мозг, я видел».

«Нас провели,— объявил Андропов.— Стреляли-то вы молодцом, только в куклу. А Брежнев как таковой проехал, по-видимому, подземкой. Так что секретчики тоже не дураки».

«Досадно. А телохранители? Я не ранил их часом?»

«Телохранители? — усмехнулся он.— Тот же воск. Манекены работы Вучетича».

«Хм, то-то они все выглядели столь помято,— заметил я.— Впрочем, что же нам делать?»

«Принять происшедшее к сведению и — действовать»,— молвил Юрий, поигрывая каким-то брелком. Одет генерал-генерал был с иголочки. И он продолжал: «Завтра к вам будут допущены иностранные корреспондента. Надеюсь, вы покажете себя большим патриотом и гуманистом. Нв Западе это любят. И пункт второй. Пора уж встать в связь с княгинией».

«С Ольгой?»

«С какой еще Ольгой?»

«С Ольгой Олеговной».

«Что вы несете, проснитесь!»

«А, вы — об Анастасии. Прошу прощения, призадумался».

«Болванка готова?»

«Смотря по тому, что вы называете болванкой, мил-сдарь»,— ударился а вдруг в стрюцкое остроумие.

«Болванкой,— Юрий неодобрительно рассмеялся,— я называю проект письма, черновик такового, а вовсе не то, что вы думаете».

«Нет, Юрий Гладимирович, такою болванкой я еще не располагаю».

«Поторопитесь. На той неделе в Шмаиц отправится дипкурьер».

«В Шманц? Не стольный ли это град Бельведера?»

«Конечно».

Засим мы расшаркались и расстались.

Машина паблисити завертелась.

«Зачем вы стреляли в Брежнева?» — открыл мою пресс-конференцию хроникер американского «Ньюсуика» Эндрю Нагорски.

«Я намеревался убить его»,— был мой ответ.

«Для чего?» — поинтересовался Боб Кайзер из «Вашингтон пост».

«Во имя прогресса и процветания всего человечества».

«Раскаиваетесь ли вы в содеянном?» — последовал вопрос канадской журналистки Викки Габоро.

«Ни за какие коврижки!»

[1] Описка. Следует читать: наконец!

«В какой стране вы желали бы получить политическое убежище?» — спросила итальянская репортерка Ориана Фаллачи.

«Ни в какой,— возражал я ей.— Я — русский и должен жить и умереть здесь, в отчизне, даже если меня и сгноят в ней заживо».

Присутствовавшая тюремная администрация зааплодировала. Вопросы посыпались напропалую. Ответы мои были нелицеприятны и хлестки. Взахлеб работали бормотографы [1].

Ничего примечательного.

Весь день пролетел во плескалище. Пустота.

Экая все-таки сволочь, этот Вучетич! В юности закончить школу ваянья и зодчества — быть подающим надежды скульптором — слыть бунтарем по разряду искусств, а на старости лет записаться в придворные чучельники — стать ретроградом — директором Всероссийского музея восковых фигур — и, проституируя оригинальный талант, не брезговать никакими заказами. Это ли не тотальная драма художника! С другой стороны, в провале нашего покушения виднеется и положительное зерно. Ведь если быть до конца гуманистом, нельзя не порадоваться: спасено еще одно мыслящее существо.

Но ежели быть просто-напросто человеком, человеком с так называемым человечьим лицом, то нельзя не бросаться на опорные прутья перил — не лезть на стены узилища — не сыпать на голову папиросный пепел — и не вопить: «О, прости меня, Шагане, прости, что унизивший высокую нашу приязнь временщик не возвращен стараниями моими во прах!» И нельзя не сгорать на декабрьском погребальном ветру — как свеча! — в трепетанье! — о нет!

«Милостивая Государыня, Анастасия Николаевна, голубушка!

Будучи сыном своих высокопорядочных, благородных, однако давно почивших родителей и ради общерусской идеи дерзнув покуситься на жизнь недостойного супостата, я брошен в застенок, томлюсь, стоически жду заведомо неправедного судилища и не только не смею молить Провидение относительно некой возможности удостоиться некогда чести стать членом Вашей с Сигизмунд Спиридоновичем семьи, а не мыслю даже увидеть Вас в нынешней инкарнации — столь невзрачно мое настоящее и призрачно и неприветно грядущее». Эт цетера.

«Вас рвется видеть какой-то следователь»,— вошед, козыряет Орест Модестович.

«Насчет, извиняюсь, чего?»

«Говорит, что по делу».

«По делу? Да по какому?»

«По вашему».

«А в чинах?»

«Три звездочки-с. Маленькие».

«Гоните в три шеи,— велел я Оресту Модестовичу. И добавил: — Совсем уже обезумели — лейтенантов шлют!»

Был Андропов. «Отлично, отлично»,— все констатировал он, читая мою болванку.

Перебелив, скрепляю пространной подписью и печаткой.

Забрав, обещал, что отправит заутра. Ушел, чтобы тут же вернуться.

«?» — удивился я.

«Добавьте относительно рекомендаций».

И я приписал постскриптум: «Рекомендации прилагаю».

[1] Нотабене. Изобретенна бормотографа оказало на общество тот дисциплинирующий эффект, что оно научилось держать язык за зубами. А болтливые отщепенцы сами оказались за решеткой темниц.

Фланируя архангельскими бастионами, слушал шум корабельных рощ, стук дрозда и слегка пополнял гербарий. Как дивно смотрятся на куртинах России россыпи белых галантусов, желтых примул, фисташковых хризантем; как чинно свидетельствуют они благосклонному Вам свое безоговорочное почтенье.

Помимо меня в настоящем узилище содержится группа бывших советников уровня тайных: буфетчики, кладовщики, кучера, приживалы и проч. Мздоимцы, мздодавцы и казнокрады, они проштрафились главным счетом на ниве Кремля. Не желая ронять себя ни в своих же, ни в их глазах, я, разумеется, не намерен сходиться с сим уголовным мирком и на прогулках держусь в несомненном обособлении. Вместе с тем полагаю полезным исподволь наблюдать за нравами этой братии, тем более что в суматохе ареста я так и не возвратил владельцу спаренные бинокуляры. Наследники заповеданных нам беллетристами натуральной школы традиций, разве не призваны мы выявлять свищевые нарывы общества, дабы в последующих трудах врачевать их, бичуя.

В субботу и воскресенье, дни посещений и передач, к нашим вельможным пройдохам наезжают обычно их жены и, уединясь с ними в камерах, повергают своих благоверных в вопиющие ласки. Сегодня суббота. Однако ныне она совпала с днем закрытых дверей, и, несмотря на протесты узников, жен не впустили. Взойдя ввечеру на пустующую и замшелую сторожевую вышку полюбоваться родимыми далями, замечаю, что несколько взяточников собралось в отдаленном секторе сада вблизи забора и через узкую щель в нем по очереди сношаются со своими супругами, находящимися по ту его сторону. Поспешаю за оптикой.

Вообразите ж мое неприятное потрясение, когда в объективе бинокуляров возникла картина, достойная кисти Гойи или резца Родена: там сношались не в первом значении слова, как мне по наивности померещилось, а во втором — сладострастном.

«А-а, вот ты какая неволя»,— подробно рассматривая потуги и корчи сторон, догадался я. И впервые мне было жаль и самих проходимцев, и их развращенных разлукою половин.

На втором этаже, где подсобки, набрел на божественно темперированный клавир. Сел — открыл — тронул чуткие клавиши — взял десяток-другой аккордов и несколько музицировал, изумив капитан-каптенармуса и прапорщика от бухгалтерии непредвзятостью пианизма. Звучали Сальери и Моцарт, Сен-Санс и Лист. Рыдал, сотрясаясь всем существом. Выслушав, развели валерьяновых капель и препроводили в комнаты.

По доброй традиции в понедельник всегда выдают комплекты свежих пижам. Вот и ныне.

Прилег полистать новомодного романиста Максимова, выступающего с острой критикой строя, но вчитаться не довелось: мухи; мухи — окошки-то все нараспах, беда, а закрыть — задохнешься. И, чтоб не лежать без пользы, пытался представить в уме единицу с шестьюдесятью нулями, да тоже не преуспел. А ведь именно столько по данным последней переписи обитает на нашей планете мух. Миллион в восемнадцатой степени! Квадриллионы! Сикстиллионы! Если это не высшая математика, то где же она?

То в спальне, то в кабинете качнется чуть-чуть абажур, зазвенит мельхиоровый подстаканник, подобие сквозняка шевельнет пожелтевший тюль, и чувство не то чтобы смутной — а как бы неопределенной тревоги — тревоги и жалости — жалости и томленья — томленья и неги — то есть, в сущности, целая гамма чувств посетит Вас и здесь, в неволе. Гамма эта, а лучше сказать — просто чувство — чувство это такого рода, что лучше не бередить его, ибо, разбередив, обречешься ему целиком. Покажется, будто что-то кому-то должен, да позабыл — и кому, и что; будто надо куда-то пойти ли, уехать, но тоже — куда? Сладко, томно. Сравнимо ли данное чувство с тем, которое Вы испытываете,

посещая лавку кожевника, переживая мелодии прежних, более очаровательных лет, а также впервые за много месяцев отведывая некоторых специфических кушаний: сельдерей, голубику со сливками иль латук? Лишь черствый сухарь в человеческом образе не заметит сходства двух перечисленных чувств, хотя первое и пронзительней, и напрасней.

Уполномочен аручить иностранных газет и похожий на собственную фамилию, как близнец, прибывает андроповский нарочный Федорчук.

«Покушение на русского президента».

«Вместо Местоблюстителя — кукла».

«Стрелявший — внучатый племянник сталинского министра».

Эти и им подобные шапки горят со страниц таиландской, бельгийской, тайваньской, чилийской, британской и прочей прессы. Публикуются отчеты с места события и моментальные фото различной давности.

Вот — правительственный пикник в Нескучном; я сплю в коляске; Абакумов, сидя на корточках, раздувает угли для шашлыка; Ягода играет с Ежовым в шашки; Фрунзе с Якиром склонились над картой местности; Орджоникидзе откупоривает гурджаани. Я люблю это старое фото не только за то, что оно навевает мне детские грезы, но и за то, что кроны запечатленных на нем деревьев отбрасывают на траву пятнистую тень, и если забыться, то можно подумать, что действие происходит на леопардовых шкурах.

А тут я довольно уже солидным подростком стою на трибуне ленинской усыпальницы, приветствуя демонстрантов. По левую руку — Лаврентий, по праву — дядя Иосиф и его капризная дщерь Светлана, будущая посланка.

А вот я почти совсем повзрослел и с револьвером в руке шагнул навстречу брежневскому экипажу. На третьем плане видны гротескно перекошенные протестом физиономии держиморд, а если толком вглядеться, заметишь и вылетающую из отверстия пулю. При всей своей динамичности снимок как бы вечерен — он тускл и нечеток. К тому же неправильно выбрана точка съемки, банально кадрирование. Но в принципе расторопности западных корреспондентов не устаешь поражаться. Однажды на светском рауте в Белом доме министр нашей культуры Екатерина Фурцева позволила себе лишнюю рюмку и стала куражиться. Назавтра во всех зарубежных изданиях — пикантные фото. А наши молодчики, аккредитованные в Колумбийской округе, остановить мгновение не успели и порадовать своего читателя им, как водится, было нечем. «Раззявы!» — гремел Громыко, поведавший мне когда-то сей случай.

В доставленной Федорчуком иностранной прессе публикуется и мое тюремное интервью. Стоимость одного экземпляра газеты варьируется от нескольких экуэлей до нескольких бирр.

Спросил пластилину и гипсу и где-то вблизи казармы предавался лепке, пленяя болезненное воображенье матросских масс не столько многофигурностью композиций, сколько здоровой эротикой фабул и форм. По окончании — все роздал. Нет высшей награды художнику, нежели зреть, как трепетно вожделеют к его искусству заскорузлые руки ратного простолюдина.

Любая болезнь чревата тремя продолжениями:

1. Больной умирает.
2. Больной выздоравливает.
3. Больной продолжает болеть.

Четвертого не дано.

(За лютней.)

Пришли и сказали: в приемной находится следователь первого ранга, направленный Кардинальным Хранителем; просит принять; утверждает, зашел просто так, покалякать.

Принял. Сначала калякали о состоянии моего дела. Обговорили его детали и выяснили, что ежели не отыщется смягчающих обстоятельств, то последствия могут обрести крутой оборот — до высшей меры включительно. Позже коснулись

природы некоторых отвлеченных сущностей. Оказалось, мы оба завихрены приблизительно в том же самом круге проблем и вопросов. И это закономерно. Интеллектуальные прогрессисты в хорошем аспекте понятия, мы варимся в едином соку современности, в буче ее важнейших событий, в котле, где вываривается будущее планеты.

«Курите»,— угощал меня следователь.

«С моим удовольствием,— возражал я ему, насвистывая дуэт Адольфа и Евы из оперы «Нюрнбергский процесс».

«Вот, кстати, и спичка». Он чиркнул ею о коробок.

«Премного,— сказал я, прикуривая,— благодарен».

«Пустое,— ответил следователь.— Не стоит,— заверил он,— благодарности».

Воскурив, говорили о разном.

«А как вы мыслите,— спросил меня собеседник,— где все-таки более курят — в провинциях или столицах?»

Пожав плечами, я отвечал пространно. Отметил, в частности, что курение вызывает гипертонию, и методом свободных ассоциаций перешел к рассуждению о гипертрофии отдельных органов у различных народов, которая определяет специфику их природных склонностей. У австрийцев, положим, этих бурно вальсирующих ипохондриков, подаривших миру не только выдающихся военачальников вроде Гитлера, но и замечательных меломанов типа Радецкого, крупные уши. У признанных ходоков датчан — большие лодыжки, ступни.

«А у Петра Первого, у Петра»,— химерически — даже не захихикал, а — как-то весь тихо и мелко затрясся мой следователь.

Холодно я поглядел на него. «Дружище, возьмите себя, ради Бога, в руки. Подумайте, что подумает юная гвардия, свежая поросль: на плацу-то ведь все слыхать».

Гость осекся, нахохлился.

«Нельзя же так, право,— наставничал я.— На нас, понимаете ли, равняются, а мы тут себе скабрезничаем. Не годится. Давайте уж как-нибудь посерьезней». Желая добавить горячей воды, ногою я отвернул соответственный вентиль. Хлынуло. И лаская подошвами нежно-упрямую, словно утреннее зизи, струю, задумчиво ухмыльнулся: «Вы не представляете, как щекотно».

«Гневлив,— отметил гость про себя,— но отходчив».

Беседа струилась. Говоря о национальной гипертрофии органов, заговорили о национальности наших млекопитающих. Как быть: полагать ли, что кот, с рожденья живущий в якутском квартале Гонконга — якут, а живущий в чукотском — чукот? Или оба они англичане? Иными словами, имеют ли право на самоопределение и животные? Или они полнокровная плоть от плоти того народа, который их кормит и ест? Нужна ли им автономия? Кто станет искать им корни? И кто оплатит такие искания? Возникнут некие меценаты иль бремя и этих исследований ляжет на хрупкие плечи налогоплательщиков?

Национальный вопрос постоянно был связан с вопросом о перенаселении суши, а тот, в свою очередь, также требовал своего решения. Теория Томаса Мальтуса о насильственном переселении душ в лучший мир на практике оказалась неэффективной. Пошли другими путями. В Индии, например, где нередко беременеют даже мужчины, проводятся массовые кастрации, однако и это не помогает. Аборты? О нет, мы не могли обойти молчанием судьбы их жертв. Правда, более нас волновало, как быть с еще не зачатыми, что — наперекор их будущей воле — будут зачаты и рождены — и весь век свой прозябнут — пробедствуют — проскрипят протезом всего организма в лифтерах — механиках — в многоюродных тетках — промечутся в мышеловках собственных тел. «Кто, скажите на милость, кто защищает сегодня права сих жертв — жертв слепой, неумной похоти их эгоистичных родителей?» — кипятился я.

Пообещав, что завтра заглянет по данному поводу в свод законов, а после — опять ко мне, следователь откланялся.

И поступил по-обещанному [1].

«Вот видите, дорогой мой,— подвел я итоговую черту, когда он признался, что в своде законов нет ни статей, ни параграфов, касающихся гражданских прав жертв родительской похоти.— Филькины суть они грамоты, своды ваши».

Он согласился, принес извинения, а потом вдруг признался, что грешным делом кропает вирши. Зная каким-то образом о моей причастности к сферам Парнаса, просил прослушать одно из произведений. Я откинулся поудобней в плескалище и принял благостепенную позу Державина, экзаменующего стихоплетов лицея: «Валяйте». Смотрите же, что зачитал мне мой «Пушкин»:

На некотором вокзале
Спросил: «Где два нуля?»
Мне молча указали
На дверь из хрусталя.

Войдя в нее, я ахнул,
Поверьте, неспроста:
Там «Лунную сонату»
Квартет играл с листа.

Росли там розы в вазах,
В вазонах розан рос,
Сиденья ж унитазов
покрыл гагачий ворс.

И я вскричал недаром:
«Да здравствует клозет!
Журчанье писсуаров,
Шуршание газет!»

«Нечто чудовищное в своем цинизме,— открылся я следователю.— Мало того, что вы осквернили память величайшего из глухих и глушайшего из великих, поместив его исполнителей в общественную клоаку. Мало! Вы — и это еще удручительней — воспели ее самое. Воспели в лучших традициях силлаботоники. Вы довольно-таки талантливый беспардонник, любезнейший. Вашими, сударь, устами фекалии б кушать, позвольте уж доложить»: И, разбранив его таким образом, призвал немедленно удалиться [2].

---

[1] Позднейшая сноска. С одной стороны, здесь следует, вероятно, сказать хоть пригоршню слов о его внешнем облике, а с другой стороны — зачем? Детей-то нам с Вами с ним не крестить. И потом — велика ли птица. Мне лично он был до того ни к чему, что, не расслышав имени, каким он, впервые войдя, назвался, я и переспрашивать не пожелал. Ну, что нам нужды, каков он был, этот следователь,— проследовал ведь. Ан нет, так и хочется выхватить из кишащего воспоминаниями мозга парочку броских метафор на благо словесности. Выхватим. У следователя были великолепно ухоженные когти мерзавца, костистые, испитые виски негодяя, а надменно выбритое, бритвенно-острое лицо подлеца дополняло картину.

[2] Позднейшее примечание. Стоит Лето Господне две тысячи тридцать шестое. На кремлевском дворе — жара. Но в бассейне Сената, где я держу корректуру читаемого Вами альбома, мне хорошо, прохладно. Оглядываясь на нашу беседу с позиций своего зарубежного опыта, я сожалею, что так огульно охаял, отбрил молодое еще дарование, каковым, разумеется, был мой следователь. Ибо там, за кордоном, где грани между изящным и неприличным давно размыты или разобраны на баррикады, взгляды Вашего корреспондента на поэзию претерпели необратимую трансформацию. Во многом тому способствовал Колин Лукас, мой друг и британский историософ, автор фундаментальной «Истории ватерклозетов». В ней, написанной великолепным верлибром, скрупулезно, но популярно прослеживается вся родословная канализаций — от допотопных, пещерных, и — через римские акведуки — до совершеннейших очистительных агрегатов последних эр. Невероятно трудно, если вообще возможно, определить жанр Колиного произведения, т. к. на фоне увлекательных описаний различных узлов и конструкций выстраиваются хитросплетения эпохальных дворцовых интриг, в коих судьбы изобретателей, зодчих, золотарей так или иначе переплетаются с судьбами императоров и сановников, куртизанок и королев, и по мере усовершенствования сливных бачков, унитазов, отстойников и других систем сброса постельные сцены тоже становятся все изысканней, изощренней. Да и не только постельные. Ведь соития зачастую имеют место в тех же клозетах, где в силу реальности — о нет, литературные мечтания следователя были слишком уж утопичны! — сиденья не покрыты даже свиной щетиной. А в некоторых общественных санузлах они просто оторваны, так что не засядишься. И героев встречают не розами, не оркестром, а более будничными, более характерными для уборных звуками и амбрэ. Например, «В туалете томительно пахло продукцией чужого метаболизма».— стоически информирует Лукас, описывая взаимоотношения королевы Марго и золотаря Гортензио. И автору безоглядно веришь. Так что же это — поэма? исследование? эпос? Критик влиятельной хиросимской газеты «Цусима» назвал творение Лукаса учебником страсти и чистоты; литературный обозреватель дублинского еженедельника «Финистанз Уик» — очередной «Илиадой»; а я, написавший рецензию для «Морнинг Стар», озаглавил ее «Веяние времени» и вынес в подзаголовок: «История ноздрями ассенизаторов». Успех произведения можно было сравнить лишь с успехом таких монументов духа, как мемуары Киссинджера и записки Иди Амина. Вместе с тем встречаются еще люди, готовые утверждать, будто подобная литература не очень-де хороша, потому что громоздка. Не требует доказательств тот факт, что все они подкуплены международной реакцией. И напрасно какой-нибудь не в меру прыткий эколог, ярясь, недвусмысленно намекает, что надо урезать печатанье толстых томов, т. к. культурный мир задыхается якобы без туалетной бумаги. Напрасно! Здоровые силы общественности отчетливо сознают, что истинная культура обойдется и придорожным камнем

Он щелкнул о туалетный столик тугою визитной карточкой и ушел. От нечего делать я пробежал ее содержание. Казенной египетской клинописью: «Следователь по особо важным проступкам». А ниже — изящной вязью — «Орест Модестович Стрюцкий».

Опершись мужающим подбородком на подлокотник плескалища, долго мыслил. Зачем так случилось, что следователь мой, начальник моей тюрьмы и конногвардеец, с которым сгонял я в Свибловой башне партею на биллиарде, имеют между собой столько общего? Что это — совпадение или коварная подтасовка? Кто все эти Оресты Модестовичи? Просто однофамильцы и тезки? Или просто одно и то же лицо, триединством своим символизирующее три измеренья моей неволи? А может быть, все это — подобно всему остальному — просто не познаваемо, агностично? А, впрочем, чего там мудрствовать, сказал я себе, приступая ужинать. Как есть — так и будет.

Жизнедеятельность всякого Микеланджело, любого Миклухо-Маклая, Пржевальского или Кобылина-Суховó обязана протекать на фоне свершений его эпохи.

(Орудуя мухобойкой, истребованной у каптенармуса.)

Утром залюбовался хлопотами отряда, работавшего по выносу и проветриванию наших матрацев, подушек и одеял, а полдень застал меня в здешней библиотеке, где взял «Виндзорских проказниц». Уважаю я этого Вильяма, говоря не чинясь. Страшно творческ!

Вернулся с пьесою в камеру, освежаю забытые образы. В дверь просовывается голова моего тюремщика Стрюцкого: «Извиииите, к вам там Виктория».

«Виктория Регия? Королева? Как кстати! — И хлопнул в ладоши, заботливо и обильно увешанные гроздьями сочных перстов.— Просите!»

«Вы, кажется, поняли не совсем адекватно,— сказал Орест.— Там Виктория».

«Ах, только-то. Что ж, пусть заходит, коль уж приехала». Я сделался раздосадован.

Легковесно сбегая на первый этаж, Стрюцкий стеком сыграл на опорных струнах перил привычный диез и то же мажорное до-ре-ми отщелкал отполированными ногтями на ксилофоне зубов. Настроение у подпоручика было приподнятое: в скором времени он на двадцать четверо суток убывал в инспекторскую поездку по лагерям и тюрьмам Абхазии, а меж тем застарелый его саднзм попрежнему протекал в скрытой форме, и доктора ни о чем не догадывались. Знай они, что в художественных галереях Орест подолгу простаивает перед вариациями академиков на тему «Избиение вифлеемских младенцев»; что во всей всемирной хореографии ставит на первое место хачатуряновский «Танец с саблями»; а из поэтического наследия наиболее возлюбил четыре некрасовские строки — «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную: там били женщину кнутом, крестьянку молодую», —они бы переполошились, забегали. Да вот— не знали.

С казенной учтивостью близясь к Виктории, сидевшей на старосветской софе в Голубом вестибюле, Орест фантазировал в соответственном духе. Эх, будь его воля, с каким упоением, извращенно, он взял бы ее сейчас, расфуфыренную пухлую куклу — тут, прямо тут, на помпезных пуфах, без долгих слов. О Господи, было бы так хорошо! А после, пресытясь, отдал бы на поруганье сверхсрочной матросской черни.

С улыбкой кикиморы Виктория поднялась навстречу Оресту Модестовичу. Была она из той большеротой породы дурнушек, кому улыбка не то чтобы не идет, но кого она поистине безобразит. «Тошнит смотреть!» — пронеслось у Стрюцкого с непривычки. Дебелая и напомаженная, Виктория внешне напоминала Оресту типичную продавщицу разбавленного бочкового квасу, которой она и служила когда-то: однако теперь планы ее были довольно государственного устремления.

По разным причинам — то бурная юность, то тревожная молодость, то беспокойная старость — она не получила столь модного в наши дни классического образования. Два лишь года любительских курсов по вышиванию гладью имелось у ней в активе. «Ученья немного судьба ей дала — два года, как два за плечами крыла»,— говаривал супруг стихами, подтрунивая над ней. Но глупа она не была нисколько, даже если казалась. Незаконнорожденная дочка князя и уличной девки, она унаследовала от родителей лучшие качества русских низов и верхов, как в реторте переварив в себе эти свойства. Поэтому если отец ее отличался умом благородным, а мать — житейским, то мысли дочери их носили уже оттенок житейского благородства, благородного практицизма [1].

В связи с покушением на Леонида кремлевские деятели разделились на «ястребов» и «голубей». «Голуби» — их возглавлял сизоносый Тихонов — хотели признать стрелявшего недееспособным, освободить без суда и следствия и снова взять на поруки. «Ястребы», наоборот, требовали судить террориста со всевозможной строгостью. И сам Леонид — либеральный, добрый и вечно чем-то довольный Лео, душа компаний, песенник и балагур — оказался не просто в лагере «ястребов», а едва ли не предводителем их.

Ночами, замкнувшись в своем кабинете мореного граба, трагично — а ля Шаляпин в «Ла Скала» — Леонид рыдал над гранками мемуаров. Ему представлялось горьким осознавать, что за все то полезное, что сделал он на своем пути и что подробно было описано в них, его, незлобивого, мягкого функционера, выбившегося в люди из обыкновенных швейцаров,— рубаху, в сущности, парня, застрельщика многих поблажек, амнистий и льгот,— его б самого застрелили, как мелкую куропатку,— и он бы уже никогда ничего не чувствовал, не желал, не участвовал в общем процессе — невероятно, сплошные «не» — прободение личности, тьма. Хотя с той поры, как в день ангела подчиненные вручили ему ордер на лучший участок возле кремлевской стены, с души у него и спал какой-то неясный камень, неизбежное в голове по-прежнему не укладывалось. Жизнефил, оптимист, дед тринадцати внуков, он недолюбливал смерть; она виделась ему унизительной. Бытие после смерти? В такое почти не верилось. Такое было бы слишком волшебно. А, впрочем, наука движется. Вот имеют же место в Африке некоторые племена и народы, что смазывают своих мертвецов особым составом, и те худо-бедно, а действуют, остаются в строю, голосуют. Про это ему сообщил господин Каунда. В прошлом по роду занятий шаман, а ныне — премьер-министр Замбии, он вызван был в Эмск для доклада о состоянии африканской народной мудрости. Доклад назывался «Черная магия Черного континента», имел успех, и Каунду представили к «Знаку Почета». Получая награду, растрогался, бил себя в грудь, клялся в преданности. Белки его глаз голубели. Негр как негр, каких миллионы, но лично ему Каунда чем-то понравился, и после официальной части Леонид посетовал, что с годами недомогает все больше, и выразил опасение, что настает момент, когда недомогание переможет. «Масса добрый,— сказал тогда этот Каунда.— Замбия — помогать: масса жить вечно». И дал Шагане, что присутствовала при разговоре, склянку с каким-то снадобьем, объяснив: в случае если «масса» занеможет совсем, втереть ему повсеместно. На радостях Леонид принял лишнего, и прием прошел в теплой, дружественной атмосфере. Когда же его на Святки хватил Кондратий, то, будучи совершенно уверен, что Каунда — германский шпион и мазь его — сплошная отрава, от втирания уклонился. Исповедаться также не пожелал. А на Пасху ему стало так худо, что всем — в том числе и ему самому — показалось: он умер. Врачи разводили руками. Тогда, не спрашивая ни у кого разрешения, втихомолку Шагане применила каундову мазь. Леонид словно ожил. Он посвежел, разрумянился, члены его окрепли, и через два дня на третий Припарко разрешил ему медленный моцион. Хотя какой же еще, ведь прежней резвости как не бывало. Заметил в себе Леонид и другие странные изменения. Сделалось, например, безразлично, что есть и пить, есть или пить, есть и пить ли вообще, спать иль бодрствовать. Он утратил чувствительность к боли, но — что, правда, не очень

[1] А что до влияния на нее отчима, архангельского дьячка Фалалеева, то дать своей падчерице что-то помимо отчества и девичьей фамилии он ничего не сумел, не одобряя замужества матери. Виктория никогда не жила в фалалеевском доме: из принципа. А к тому же отцовский ей импонировал больше

и радовало — не утратил мужского первичного признака: мог. Да и вообще его мало теперь что радовало; хоть и огорчало немногое. И если он предавался на публике тем иль этим эмоциям, то больше из вежливости. Так хороший швейцар, отворяя дверь перед хорошими господами, широко улыбается, пусть для радости у него нет никаких оснований.

Когда, гуляя кремлевскими переулками, выбредал он к какому-нибудь собору, юродивые, кучками гревшие на апрельских припеках свои гнойники, начинали хихикать, шушукаться и визжать, будто сборище недотыкомок или енотов. Неуважительное отношение юродивых, которым Леонид никогда не отказывал в трудовой копейке, виделось ему нелогичным.

«Чего смеетесь?» — спросил он, остановившись как-то возле одной из таких живописных групп, сидевших на папертях.

«Как же, батюшка, не смеяться! — по-петушиному закричал ему бойкий, лет тридцати, старик, по причине волчьей болезни владевший только огрызком физиономии.— Как же, мил-человек, не смеяться: мертвяк мертвяком, а разгуливает!»

«Кто мертвяк?» — взглянул Леонид окрест.

«Ты, ты мертвяк!» — прокукарекал старик.

И когорта убогих, брызжа заразной слюной, покатилась вся со смеху вниз по лестнице прямо к его ногам. Не желая портить компании, засмеялся и Леонид. И, побалагурив с лохмотниками еще с полчаса, дал им рубль и откланялся.

«Боже милостивый,— мычал он потом кабинетными ночами, размазывая слезы желтеющим в сумраке кулаком.— Ленин умер, Иосиф умер, Никита Сергеевич тоже. Ужель недостаточно? Неужели и я? Да что ж это делается! И — за что?»

Но и слезы его были неискренни. Они были словно бы не его. И он даже не понимал, зачем плачет.

(Окончание следует.)

●

Очерки русской смуты

Том второй

БОРЬБА ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

Август 1917 г.— апрель 1918 г.

31 марта 1918 г. граната, направленная рукою русского человека, сразила великого русского патриота. Труп его сожгли и прах рассеяли по ветру.

За что? За то ли, что в дни великих потрясений, когда недавние рабы склонялись перед новыми владыками, он сказал им гордо и смело: уйдите, вы губите русскую землю?

За то ли, что не щадя жизни, с горстью войск, ему преданных, он начал борьбу против стихийного безумия, охватившего страну, и пал поверженный, но не изменивший долгу перед Родиной?

За то ли, что крепко и мучительно любил он народ, его предавший, его распявший?

Пройдут года, и к высокому берегу Кубани потекут тысячи людей поклониться праху мученика и творца идеи возрождения России. Придут и его палачи.

И палачам он простит.

Но одним не простит никогда.

Когда Верховный Главнокомандующий томился в Быховской тюрьме в ожидании шемякина суда, один из разрушителей русской храмины сказал: «Корнилов должен быть казнен; но, когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и преклоню колена перед русским патриотом».

Проклятье им—прелюбодеям слова и мысли! Прочь их цветы! Они оскверняют святую могилу.

Я обращаюсь к тем, кто и при жизни Корнилова и после смерти его отдавал ему цветы своей души и сердца, кто некогда доверил ему свою судьбу и жизнь:

Средь страшных бурь и боев кровавых останемся верными его заветам. Ему же — вечная память!

Речь, произнесенная автором
в Екатеринодаре в 1919 г.

Брюссель 1922 г.

Глава I. РАСХОЖДЕНИЕ ПУТЕЙ РЕВОЛЮЦИИ. НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕВОРОТА

Широкое обобщение слагаемых сил революции в две равнодействующие — Временное правительство и Совет — допустимо в известной степени лишь в отношении первых месяцев революции. В дальнейшем течении ее происходит резкое расслоение в среде правящих и руководящих кругов, и месяцы июль и август дают уже картину многосторонней междоусобной борьбы. Наверху эта борьба идет еще в довольно отчетливых границах, разделяющих борющиеся стороны, но отражение ее в массах являет образ полного смешения понятий, неустойчивости политических взглядов и хаоса в мыслях, чувствах и движениях. Иногда только, в дни серьезных потрясений, происходит вновь дифференциация, и вокруг двух

* Том первый см. «Октябрь», 1990, №№ 10—12.

борющихся сторон собираются самые разнородные и зачастую политически и социально-враждебные друг другу элементы. Так было 3 июля (восстание большевиков) и 27 августа (выступление Корнилова). Но тотчас же по миновении острого кризиса внешнее единение, вызванное тактическими соображениями, распадается и пути вождей революции расходятся.

Резкие грани прошли между тремя главенствующими учреждениями: Временным правительством, Советом (Центральный исполнительный комитет) и верховным командованием.

В результате длительного правительственного кризиса, вызванного событиями 3—5 июля, разгромом на фронте и непримиримой позицией, занятой либеральной демократией, в частности, кадетской партией, в вопросе об образовании власти *, Совет вынужден был освободить формально министров социалистов от ответственности перед собою и предоставить право Керенскому единолично формировать правительство. Объединенные центральные комитеты постановлением от 24 июля обусловили поддержку со стороны Советов правительству соблюдением им программы 8 июля и оставляли за собою право отзывать министров социалистов в случае уклонения их деятельности от намеченных программой демократических задач. Но тем не менее факт известной эмансипации правительства от влияния Советов, как результат растерянности и ослабления руководящих органов революционной демократии в июльские дни, не подлежит сомнению. Тем более что в состав 3-го правительства вошли социалисты, или маловлиятельные, или, как Авксентьев (министр внутренних дел), Чернов (министр земледелия), Скобелев (министр труда), не сведущие в делах своего ведомства. Ф. Кокошкин в московском комитете партии к. д. говорил: «За месяц нашей работы в правительстве совершенно не было заметно влияния на него Совдепа... Ни разу не упоминалось о решениях Совдепа, постановления правительства не применялись к ним»... И внешние взаимоотношения изменились: министр-председатель не то избегал, не то игнорировал Совет и Центральный комитет, не появляясь на их заседаниях и не давая им, как раньше, отчета **.

Но борьба, глухая, напряженная, продолжалась, имея ближайшими поводами расхождение правительства и центральных органов революционной демократии в вопросах о начавшемся преследовании большевиков, репрессиях в армии, организации административной власти и т. д.

Верховное командование занимало отрицательную позицию как в отношении Совета, так и правительства. Как постепенно назревали такие отношения, говорилось в I томе. Оставляя в стороне детали и поводы, обострявшие их, остановимся на основной причине: генерал Корнилов стремился явно вернуть власть в армии военным вождям и ввести на территории всей страны такие военно-судебные репрессии, которые острием своим в значительной степени были направлены против Советов и особенно их левого сектора. Поэтому, не говоря уже о глубоком политическом расхождении, борьба Советов против Корнилова являлась вместе с тем, борьбой их за самосохранение, тем более что давно уже в руководящих органах революционной демократии капитальнейший вопрос обороны страны потерял свое самодовлеющее значение и, по свидетельству Станкевича, если иногда и выдвигался в Исполнительном комитете на первый план, «то только как средство для сведения других политических счетов». Совет и Исполнительный комитет требовали поэтому от правительства смены Верховного Главнокомандующего и разрушения «контрреволюционного гнезда», каким в их глазах представлялась Ставка.

Керенский, фактически сосредоточивший в своих руках правительственную власть, очутился в особенно трудном положении: он не мог не понимать, что только меры сурового принуждения, предложенные Корниловым, могли еще, быть может, спасти армию, освободить окончательно власть от советской зависимости и установить внутренний порядок в стране. Несомненно, освобождение от Советов, произведенное чужими руками или свершившееся в результате собы-

* К. д-ты требовали создания власти, покоящейся «на общенациональной почве» и представленной лицами, «не ответственными ни перед какими организациями и комитетами».

** Был один раз за 1½ месяца.

тий стихийных, снимавших ответственность с Временного правительства и Керенского, представлялось ему государственно-полезным и желательным. Но добровольное принятие предуказанных командованием мер вызвало бы полный разрыв с революционной демократией, которая дала Керенскому имя, положение и власть и которая, невзирая на оказываемое ею противодействие, все же, как это ни странно, служила ему хоть и шаткой, но единственной опорой. С другой стороны, восстановление власти военного командования угрожало если не реакцией — об этом Керенский часто говорил, хотя вряд ли серьезно в это верил,— но, во всяком случае, перемещением центра влияния от социалистической к либеральной демократии, крушением социал-революционерской партийной политики и утратой преобладающего, быть может, и всякого влияния его на ход событий. К этому присоединилась и личная антипатия между Керенским и генералом Корниловым, из которых каждый не стеснялся высказать подчас в весьма резкой форме свое отрицательное отношение один к другому и ожидал встретить не только противодействие, но и прямое покушение с противной стороны. Так, генерал Корнилов опасался ехать к 10 августа в Петроград на заседание Временного правительства, ожидая почему-то смещения с поста и даже личного задержания... И, когда все же по совету Савинкова и Филоненко он поехал, его сопровождал отряд текинцев, которые поставили пулеметы у входа в Зимний дворец во время пребывания там Верховного Главнокомандующего. В свою очередь Керенский еще 13—14 августа в Москве в дни государственного совещания ожидал активного выступления со стороны приверженцев Корнилова и принимал меры предосторожности. Несколько раз Керенский возбуждал вопрос об удалении Корнилова, не встречая сочувствия этому решению ни в военном министерстве, ни в среде самого правительства, с тревогой ждал развития событий. Еще 7 августа помощник комиссара при Верховного Главнокомандующем предупредил Корнилова, что вопрос об его отставке решен в Петрограде окончательно. Корнилов ответил: «Лично меня вопрос о пребывании на посту мало занимает, но я прошу довести до сведения кого следует, что такая мера вряд ли будет полезна в интересах дела, так как может вызвать в армии волнения»...

Раскол не ограничивался вершинами власти: он шел глубже и шире, поражая бессилием ее органы.

Временное правительство представляло механическое соединение трех групп, не связанных между собой ни общностью задач и целей, ни единством тактики: министры-социалисты *, либеральные министры ** и отдельно — триумвират в составе Керенского (с.-р.), Некрасова (р.-д.) и Терещенко (бесп.). Если часть представителей первой группы находила зачастую общий язык и одинаковое государственное понимание с либеральными министрами, то Авксентьева, Чернова и Скобелева, сосредоточивших в своих руках все важнейшие ведомства, отделяла от них пропасть. Впрочем, значение обеих групп было довольно ничтожно, так как триумвират «самостоятельно решал все важнейшие вопросы вне правительства, и иногда даже решения их не докладывались последнему» ***. Протесты министров против такого порядка управления, представлявшего совершенно не прикрытую диктатуру, оставались тщетными. В частности, свое расхождение с Корниловым и вопрос о предложенных им почти ультимативно мероприятиях Керенский старался всемерно изъять из обсуждения правительства.

Несколько в стороне от этих трех групп, вызывая к себе сочувствие либеральной, оппозицию социалистической и плохо скрытое раздражение триумвирата, стояло военное министерство Савинкова ****. Савинков порвал с партией и с Советами. Он поддерживал резко и решительно мероприятия Корнилова, оказывая непрестанное и сильное давление на Керенского, которое, быть может, увенчалось бы успехом, если бы вопрос касался только идеологии нового курса, а не угрожал Керенскому перспективой самоупразднения... Вместе с тем Савинков не

* Авксентьев (с.-р.), Скобелев (с.-д.), Пешехонов (н.-с.), Чернов (с.-р.), Зарудный (с.-р.), Прокопович (с.-д.), Никитин (с.-д.).

** Ольденбург, Юренев, Кокошкин, Карташов (к. д-ты), Ефремов (р.-д.).

*** Доклад Ф. Кокошкина 31 августа.

**** Управляющий — Савинков, начальник политического отделения — Степун, комиссар при Ставке — Филоненко.

шел до конца и с Корниловым, не только облекая его простые и суровые положения в условные внешние формы «завоеваний революции», но и отстаивая широкие права военно-революционным учреждениям — комиссарам и комитетам. Хотя он и признавал чужеродность этих органов в военной среде и недопустимость их в условиях нормальной организации, но... по-видимому, надеялся, что после прихода к власти комиссарами можно было назначать людей «верных», а комитеты — взять в руки. В то же время бытие этих органов служило известной страховкой против командного состава, без помощи которого Савинков не мог достигнуть цели, но в лояльность которого в отношении себя он плохо верил. Характер «содружества» и сотрудничества генерала Корнилова и Савинкова определяется тем не безынтересным фактом, что приближенные Корнилова считали необходимым во время приездов Савинкова в Ставку и в особенности во время их бесед с глазу на глаз принимать некоторые меры предосторожности... Так было не только в конце августа в Могилеве, но и в начале июля в Каменец-Подольске.

Савинков мог идти с Керенским против Корнилова и с Корниловым против Керенского, холодно взвешивая соотношение сил и степень соответствия их той цели, которую он преследовал. Он называл эту цель спасением Родины, другие считали ее личным стремлением его к власти. Последнего мнения придерживались и Корнилов, и Керенский.

Раскол созрел и в руководящих органах революционной демократии. Центральный исполнительный комитет Советов все более и более расходился с Петроградским Советом как по вопросам принципиальным, в особенности о конструкции верховной власти, так и вследствие претензии обоих на роль высшего представительства демократии. Более умеренный Центральный комитет не мог уже состязаться пленительными для масс лозунгами с Петроградским Советом, неудержимо шедшим к большевизму. В среде самого Совета по основным политическим вопросам все чаще обозначалась прочная коалиция меньшевиков-интернационалистов, левых социал-революционеров и большевиков. Если обострялись сильно грани между двумя основными подразделениями социал-демократии, то еще резче проявилось разложение другой главенствующей партии — социал-революционеров, из которой после июльских дней, не порывая еще окончательно формальной связи со старой партией, выделилось левое крыло ее, наиболее яркой представительницей которого была Спиридонова. В течение августа левые с.-ры., возросши численно в советской фракции чуть ли не до половины ее состава, становятся в резкую оппозицию и к партии, и к кругам, единомышленным с Центральным исполнительным комитетом, требуя полного разрыва с правительством, отмены исключительных законов, немедленной социализации земли и сепаратного перемирия с центральными державами.

В такой нервной, напряженной атмосфере протекал весь июль и август месяцы. Трудно учесть и разграничить зависимость двух аналогичных явлений полного разброда — среди правящих и руководящих верхов, с одной стороны, и народной массы — с другой: был ли разброд наверху прямым отражением того состояния брожения страны, в котором еще не могло определиться конечных целей, стремлений и воли народной, или болезнь верхов поддерживала и углубляла процесс брожения. В результате, однако, не только не проявлялось ни малейших признаков оздоровления, а, наоборот, все стороны народной жизни быстро и неизменно шли к полному расстройству.

Участились и внешние проявления этого расстройства, в особенности в области обороны страны. 20 августа разразилась рижская катастрофа, и германцы явно начали готовиться к большой десантной операции, угрожавшей Ревелю и Петрограду. В то время как производительность военной промышленности падала в угрожающих размерах (снарядное производство на 60 проц.), 14 августа происходит вызванный, несомненно, злонамеренно грандиозный взрыв пороховых заводов и артиллерийских складов в Казани, которым уничтожено было до миллиона снарядов и до 12 тысяч пулеметов. Во второй половине августа назревала всеобщая железнодорожная забастовка, угрожавшая параличом нашему транспорту, голодом на фронте и всеми сопряженными с этим явлением роковыми последствиями. В армии участились случаи самосудов и неповиновения. То словоблудие, которое текло непрерывно из Петрограда и там отравляло и опьяняло мысль и совесть верхов революционной демократии, на широкой арене народной жизни обращалось в прямое действие. Целые области, губернии, города порывали административную связь с центром, обращая русское государство в ряд самодовлеющих и самоуправляющихся территорий, связанных с центром почти исключительно... неимоверно возросшей потребностью в государственных денежных знаках. В этих «новообразованиях» постепенно пропадал вызванный первым подъемом революции интерес к политическим вопросам, и разгоралась социальная борьба, принимая все более сумбурные, жестокие, негосударственные формы.

А на фоне этой разрухи надвигалось новое потрясение — вновь и явно подготовлявшееся восстание большевиков. Оно было приурочено к концу августа. Если тогда могли возникать сомнения и колебания в оценке положения и грозящей опасности, в выборе «равнодействующей» и в томительных поисках жизнеспособной коалиции, то теперь, когда август 1917 года — уже далекое прошлое, сделавшееся достоянием истории, не может быть никаких сомнений по крайней мере в одном: что только власть, одухотворенная решимостью беспощадной борьбы с большевизмом, могла спасти страну, почти обреченную.

Этого не мог сделать Совет, органически связанный со своим левым крылом. Не мог и не хотел, «не допуская борьбы с целым политическим течением» и лицемерно требуя от правительства прекращения «незаконных арестов и преследования», применяемых к «представителям крайних течений социалистических партий» *.

Этого не мог и не хотел сделать и Керенский — товарищ председателя Совета, грозивший некогда большевикам «железом и кровью». Даже 24 октября, то есть накануне решительного большевистского выступления, признав, наконец, «действия русской политической партии (большевиков) предательством и изменой Российскому государству», Керенский, говоря о захвате власти в петроградском гарнизоне военно-революционным комитетом, поясняет: «Но и здесь военная власть по моему указанию, хотя и было наличие всех данных для того, чтобы приступить к решительным и энергичным мерам, считала надобным дать сначала людям возможность сознать свою сознательную или бессознательную ошибку...» **.

Таким образом, стране предстояла альтернатива: без борьбы и в самом непродолжительном времени подпасть под власть большевиков или выдвинуть силу, желающую и способную вступить с ними в решительную борьбу.

Глава III. КОРНИЛОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ТАЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОФИЦЕРСТВО, РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

История противоправительственного и противосоветского движения в середине 1917 года скрыта еще под покровом тайны и вызывает иногда самые неправдоподобные представления в широких кругах русского общества. Подымем несколько этот покров, чтобы осветить сущность одного из наиболее серьезных моментов русской революции.

После неудачи июньского наступления офицерский корпус перешел в прямую оппозицию к правительству. Но сколько-нибудь широких размеров действенное проявление оппозиции не приняло. Причины — нравственная подавленность офицерства, укоренившаяся интуитивно в офицерской среде внутренняя дисциплина и отсутствие склонности и способности к конспиративной деятельности. Работа в этом направлении, как увидим ниже, некоторыми организациями велась, но к каким-либо серьезным результатам не приводила. Вряд ли вначале эти необъединенные организации имели определенные лозунги и ясные цели предстоящей

* Резолюции 24 июля и 20 августа.
** Речь в «Совете республики».

им деятельности. Скорее всего работа их имела характер подготовки на всякий случай: будь то большевистское выступление, падение власти, крушение фронта, поддержка диктатуры или, наконец, для некоторых членов организаций — восстановление самодержавия. К тому же в первое время ни имя претендента на престол, ни имя диктатора произнесены не были. Один только общий лозунг выяснялся совершенно твердо и определенно — борьба с Советами.

Есть основание предполагать, что возникшая по инициативе генерала Крымова на Юго-западном фронте офицерская организация, охватившая главным образом части 3-го конного корпуса и Киевский гарнизон (полки гвардейской кавалерии, училища, технические школы и т. д.), имела первоначальной целью создание из Киева центра будущей военной борьбы. Генерал Крымов считал фронт конченным и полное разложение армии — вопросом даже не месяцев, а недель. План его, по-видимому, заключался в том, чтобы в случае падения фронта идти со своим корпусом форсированными маршами к Киеву, занять этот город и, утвердившись в нем, «кликнуть клич». Все лучшее, все, не утратившее еще чувства патриотизма, должно было отозваться, и прежде всего офицерство, которое таким образом могло избегнуть опасности быть раздавленным солдатской волной. В дальнейшем возможно было продолжение европейской войны хотя и не сплошным фронтом, но сильными отборными частями, которые, и отступая в глубь страны, отвлекали бы на себя большие силы австро-германцев.

«Что касается форм верховной власти,— говорил Крымов одному из своих сотрудников,— это вопрос будущего; но лично я никакой нежности к династии не питаю».

3-й конный корпус входил в состав Юго-западного фронта. При том составе чинов высшей военной иерархии, который имел место до июля [*], такой совершенно обособленный план действий, с расчетом только на себя и на свои силы, был единственно возможным. После 8 июля, т. е. с назначением главнокомандующим Юго-западным фронтом генерала Корнилова, узкие рамки всего предприятия имели шансы раздвинуться до фронтового масштаба.

Менее определенными были, по-видимому, задачи различных, вначале не объединенных петроградских организаций. Без серьезных средств и без руководителей, сколько-нибудь выдающихся по решимости и таланту, они представляли из себя скорее кружки фрондирующих молодых людей, играющих в заговор. Эти кружки, в которые вовлекались и военные училища, были непримиримо настроены к Совету, враждебно к правительству и могли быть действительно опасны для них в случае благоприятно сложившейся обстановки или при лучшей организации и руководстве. Вряд ли будет ошибкой считать, что большое число участников петроградских организаций принадлежало к правым кругам. Но отсюда не следует, что целью их была реставрация. Они удовлетворялись свержением Советов и установлением «сильной власти», не влагая в это понятие слишком конкретной сущности. Идея немедленного восстановления монархического строя и им казалась нецелесообразной для текущего этапа революции; кроме того, здесь примешивалось одно обстоятельство, про которое впоследствии глава организации «Русская государственная карта» В. Пуришкевич [**], правда, на суде большевистского трибунала, но не без известной искренности говорил: «Но как мог я покушаться на восстановление монархического строя — который, я глубоко верю, будет восстановлен,— если у меня нет даже того лица, которое должно бы, по-моему, быть монархом? Назовите это лицо. Николай II? Больной царевич Алексей? Женщина, которую я ненавижу больше всех людей в мире? Весь трагизм моего положения как идеолога-монархиста в том и состоит, что я не вижу лица, которое поведет Россию к тихой пристани».

Внутри организаций с самого начала создавалась нездоровая атмосфера. Несерьезная фронда, выносившаяся некоторыми на улицу и в залы киевских и петроградских ресторанов... По-видимому, свои Азефы... Такое по крайней мере впе-

[*] Главнокомандующим Юго-западным фронтом был тогда генерал Брусилов; позднее, с 22 мая,— Верх. Главнок. был генерал Брусилов, а главнок. армиями фронта — генерал Гутор.

[**] К выступлению Корнилова не причастен.

чатление производят некоторые эпизоды конца августа. Наконец, просто предатели. Один из них, скрытый в книге Керенского под инициалами «капитан В-ин», раскрыл ему все данные о важнейшей петроградской организации...

В конце июня в Петрограде в числе многих других образовалась политическая группа под названием «Республиканский центр». Состав ее был немногочисленным и чрезвычайно пестрым; политическая программа весьма растяжима, и даже само наименование группы не выражало точно существа политических взглядов ее членов, так как, по словам руководителя группы, «в республиканском центре разговоров о будущей структуре России не поднималось; казалось естественным, что Россия должна быть республиканской, отсюда и пошло название «Респуб. центр». При приеме в организацию «никого не спрашивали, во что веруешь; достаточно было заявления о желании борьбы с большевизмом и о сохранении армии». Первоначально руководители Республиканского центра ставили себе целью «помощь Временному правительству, создав для него общественную поддержку путем печати, собраний и проч.»; потом, убедившись в полном бессилии правительства, приступили к борьбе с ним, участвуя в подготовке переворота. Интеллектуальные силы и влияние группы были не велики, но она имела одно большое преимущество перед всеми другими — обладала некоторыми денежными средствами. Их давала крупная денежная буржуазия — «небольшая по числу,— как определяет один из организаторов «центра»,— но очень влиятельная, довольно замкнутая и крайне эгоистичная в своих действиях и аппетитах»; буржуазия эта «подняла тревогу (в июльские дни), когда обнаружилась слабость Временного правительства, и предложила (Респ. центру) первую денежную помощь, чтобы уберечь Россию от очевидной тогда для них надвигавшейся опасности большевизма». Лично представители этой банковской и торгово-промышленной знати стояли вне организации, опасаясь скомпрометировать себя в случае неудачи.

Отсутствие партийной нетерпимости, деловая программа и в особенности известные средства дали возможность «Респ. центру» объединить много мелких, главным образом военных петроградских организаций [*]. Они вошли в состав военной секции «Респ. центра» в лице своих представителей, причем далеко не все члены их знали, кто их возглавляет. Таким путем к концу августа активных участников военной секции числилось до 4 тысяч человек. Сколько их было в действительности, вероятно, никто не знал. Внутренняя организация этих отделов оставалась по-прежнему чрезвычайно слабой. Тем не менее значение их сильно переоценивалось как самими участниками, так и теми, кто предполагал воспользоваться их силами.

Наконец, организующую работу вел Главный комитет офицерского союза. С первых же дней существования комитета в составе его образовался тайный активный коллектив, к которому впоследствии примкнул весь состав комитета. Не задаваясь никакими политическими программами, комитет этот поставил себе целью подготовить в армии почву и силу для введения диктатуры — единственного средства, которое, по мнению офицерства, могло еще спасти страну. Завязывались оживленные сношения с советом Союза казачьих войск, военными организациями и политическими партиями. Хотя комитет отражал в полной мере настроение фронтового офицерства, организация последнего подвигалась крайне слабо. Кроме неприспособленности к «заговорщической» работе и офицерской среды, и самого комитета, на ходе ее отразились неблагоприятно быстрый темп, которым развивались события, и ряд внешних препятствий. Керенский, встречая гласное и резкое осуждение своей военной политики в резолюциях комитета, относился к нему враждебно и установил за ним надзор; Брусилов, тогда Верховный Главнокомандующий, смотрел на деятельность комитета также с большим неодобрением. Пригласив однажды к себе всех членов комитета, Брусилов обратился к ним с

[*] Одно из коллективных обращений к генералу Корнилову (31 июля) исходило от 10 организаций:

1. Военная лига, 2. Союз георгиевских кавалеров, 3. Союз воинского долга, 4. Союз Честь Родины, 5. Союз добровольцев народной обороны, 6. Добровольческая дивизия, 7. Батальон свободы, 8. Союз спасения Родины, 9. Общество 1914 года, 10. Республиканский центр. Кроме того, существовали организации полковые, районные и т. д.

резкими упреками за то, что комитет «своими выступлениями мешает делу спасения армии, что нельзя переть напролом, когда правительство и Керенский стали на верный (?) путь». Он говорил так, но, видимо, чувствовал всю неприглядность своей позиции. И когда один из членов комитета заявил: «Раз мы приносим вред, то нас следует попросту разогнать»,— Брусилов со слезами на глазах стал жаловаться, что офицерство больше не идет за ним и что ни ему, ни Керенскому не верят...

Наконец, самое серьезное мероприятие, задуманное комитетом — формирование добровольческих ударных батальонов в дивизиях и на железнодорожных узлах,— было вырвано из его рук: Брусилов утвердил своим приказом проект «товарища» Манакина * о формировании ударных частей при участии... советов. Таким образом, когда настало время действовать, комитет имел в своем моральном активе широкое сочувствие всего офицерства, а в реальном — только добрую волю своих членов.

Страна искала и м я.

Первоначально неясные надежды, не облеченные еще ни в какие конкретные формы, как среди офицерства, так и среди либеральной демократии, в частности, к. д. партии, соединялись с именем генерала Алексеева. Это был еще период упований на возможность законопреемственного обновления власти. Ибо трудно себе представить лицо, менее подходящее по характеру, чем ген. Алексеев, для выполнения насильственного переворота.

Позднее, может быть, и одновременно, многими организациями делались определенные предложения адмиралу Колчаку во время пребывания его в Петрограде. В частности, «Республиканский центр» находился в то время в сношениях с адмиралом, который принципиально не отказывался от возможности стать во главе движения. По словам Новосильцева, которому об этом говорил лично адмирал, доверительные разговоры на эту тему вел с ним и лидер к. д. партии. Вскоре, однако, адмирал Колчак по невыясненным причинам покинул Петроград, уехал в Америку и временно устранился от политической деятельности.

Но, когда генерал Корнилов был назначен Верховным Главнокомандующим, все искания прекратились. Страна — одни с надеждой, другие с враждебной подозрительностью — назвала имя диктатора.

В дни Московского совещания в вагоне Верховного произошел знаменательный разговор между ним и генералом Алексеевым:

— Михаил Васильевич, придется опираться на Офицерский союз — дело ваших рук. Становитесь вы во главе, если думаете, что так будет лучше.

— Нет, Лавр Георгиевич. Вам, будучи Верховным, это сделать легче.

Началось паломничество в губернаторский дом в Могилеве. Пришли в числе других представители Офицерского союза во главе с Новосильцевым и принесли Корнилову свое желание работать для спасения армии. Появились делегаты казачьего Совета и Союза георгиевских кавалеров. Приехал из Петрограда представитель «Республиканского центра», обещал поддержку влиятельных кругов, стоящих за группой, и предоставил в распоряжение Корнилова военные силы петроградских оргвнизаций. Прислал гонца в комитет Офицерского союза и генерал Крымов с запросом, «будет ли что-нибудь», и в зависимости от этого — принимать ли ему 11-ю армию, предложенную мною, или оставаться во главе 3-го корпуса, который, по его словам, «пойдет куда угодно»... Ему ответили просьбой оставаться во главе корпуса.

Таковы были р е а л ь н ы е с р е д с т в а в руках тех, кто хотел перестроить тонувшую в дебрях внутренних противоречий верховную власть, чтобы спасти страну от большевизма.

Но в пределах этих ничтожных технических средств всякая активная и тем более насильственная борьба была заранее обречена на неуспех, если она не имела широкого общественного обоснования. На кого же опирался генерал Корнилов?

Теперь, когда идет безудержная переоценка ценностей, когда «тактические соображения» и «интересы целесообразности» окончательно вытеснили из политического обихода «старые предрассудки морального свойства», у многих изменился взгляд на своевременность и необходимость корниловского выступления. При этом упускается из виду одно обстоятельство — н е и з б е ж н о с т ь э т о г о я в л е н и я как естественного и непредотвратимого рефлекса борющегося со смертью государственного организма, напрягающего последние силы национального, морального и правового самосознания; неизбежность, в силу которой отпадают обе предпосылки и вопрос сводится, следовательно, лишь к оценке тех форм и тех способов, которыми мог быть наилучшим образом разрублен мертвый узел, завязанный вокруг власти. Во всяком случае, т о г д а Корнилов мог иметь полную уверенность, что он опирается на широкие общественные силы, включающие в свой состав, как я уже упоминал, либеральную демократию и буржуазию, весь офицерский корпус, командный состав и даже членов Временного правительства.

Многочисленные официальные обращения к Корнилову не оставляли сомнения в своем положительном значении.

Когда на Московском совещании вся правовая половина русской общественности с высоким подъемом приветствовала Верховного Главнокомандующего, она, без сомнения, видела в нем орудие судьбы и своего избранника.

Когда совещание общественных деятелей в постановлении своем от 10 августа говорило о том, что правительство ведет страну к гибели, что должна быть восстановлена власть командного состава, что необходимо решительно порвать с советами, оно повторяло «корниловскую программу». В воззвании прозвучал даже призыв «из сердца России... к низинным людям» — подобно тому, как 300 лет назад их предки пришли к Москве спасать Родину — и теперь «не выдвать своих героев и вернуть России возможность стать счастливой и великой» *...

Наконец, совсем уж недвусмысленна была телеграмма, посланная Корнилову 9 августа за подписью Родзянко: «Совещание общественных деятелей приветствует Вас, Верховного вождя Русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв Вашего авторитета в армии и России считает преступными и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков **. В грозный час тяжелого испытания вся мыслящая Россия смотрит на Вас с надеждой и верой. Да поможет Вам Бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасение России».

В Москве в день приезда на государственное совещание Корнилов был встречен овациями. Офицеры понесли его на руках к автомобилю. Родичев на вокзале в своем горячем обращении к Корнилову говорил:

— Вы теперь символ нашего единства. На вере в вас мы сходимся все, вся Москва. И верим, что во главе обновленной русской армии вы поведете Русь к торжеству над врагом и что клич — да здравствует генерал Корнилов! — теперь клич надежды — сделается возгласом народного торжества.

И закончил:

— Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас...

Морозова упала перед ним на колени...

Неудивительно, что люди чувствовали иногда некоторые угрызения совести. В. Маклаков говорил Новосильцеву:

— Передайте генералу Корнилову, что ведь мы его провоцируем, а особенно М. Ведь Корнилова никто не поддержит, все спрячутся...

Таковы были внешние, официальные отношения общественных кругов к Верховному Главнокомандующему. Несколько иначе обстояло дело в конспиративной области деловых сношений. 8 или 9 августа в Москву к находившемуся там Новосильцеву приехал из Ставки капитан Роженко и попросил его собрать общественных деятелей, чтобы поставить их в известность относительно назревавших событий ***. На квартире видного кадетского лидера состоялось собрание влиятельных

---

* Подполковник генерального штаба.

* Керенский по поводу этого воззвания возмущенно говорил Кокошкину, что «Милюков вновь организует прогрессивный блок против Временного правительства, как против Николая II».

** От офицерского союза, союза георгиевских кавалеров и казачьего совета были посланы правительству резкие телеграммы о несменяемости Корнилова.

*** Новосильцев до сих пор предполагает, что инициатива командировки Роженко исходила не от Корнилова, а от «политического окружения».

членов Думы и политических деятелей. Роженко доложил об общем положении армии, о трениях между генералом Корниловым и Керенским, о возможности смещения Корнилова с поста Верховного, чему он решил не подчиниться из патриотических побуждений; говорил о предстоящем восстании большевиков и о подходе к Петрограду конного корпуса, которому предстоит ликвидировать большевиков, Советы и, может быть, выступить против правительства. Доклад своею легкостью произвел на всех тягостное впечатление. Один из участников собрания так описывает этот эпизод: «Обсуждать тут же этот доклад увлекающегося офицера не хотели. Было ясно, что сочувствуют делу все, но никто не верит в успех, да и связывать себя и политические группы, которых представляли участники собрания, ни у кого не было желания».

Через несколько дней, однако, взволновавшее всех сообщение обсуждалось вновь в более широком кругу либеральных и консервативных политических деятелей.

«После долгих объяснений,— говорит один из них,— П. Н. Милюков от лица общественных деятелей кадетского направления сделал заявление о том, что они сердечно сочувствуют намерениям Ставки остановить разруху и разогнать совдеп. Но настроение общественных масс таково, что они никакой помощи оказать не могут. Массы будут против них, если они активно выступят против правительства и совдепа. Поэтому на Милюкова и его единомышленников рассчитывать нельзя. К этому заявлению стыдливо присоединились путем молчания и знаком молчаливого согласия остальные общественники».

Не более благоприятной оказалась информация об отношении к назревшим событиям Государственной думы как учреждения. Председатель ее говорил о бессилии думы в деле борьбы, но вместе с тем и о возможности гальванизировать ее и привлечь к организации власти в случае успеха.

Что касается более широких интеллигентских кругов, то осведомленность их один московский деятель определяет такими словами:

«Слухи не шли дальше того, что Корнилов что-то замышляет против Советов, что около Корнилова собрались какие-то более чем странные люди, которые Бог весть как попали к нему. Иногда доходили слухи, что в Ставку таинственно выехал такой-то, что скоро предстоит более широкое совещание по поводу действий громадной важности. Но все было покрыто тайной и молчанием. Это молчание понимали и не хотели нарушать его».

Таковы объективные факты, показательные для общественного настроения, создававшегося вокруг корниловского движения. Это настроение можно определить кратко:

Сочувствие, но не содействие.

В какой мере правильно информировали генерала Корнилова о «деловых сношениях» с ответственными политическими группами, сказать трудно. Весьма показательным, однако, является разговор его с князем Г. Трубецким, посетившим генерала, когда он находился уже под стражей в могилевской гостинице.

— Передайте, чтобы ни один кадет не входил в состав правительства,— сказал Корнилов.

Человеку политики и собраний пришлось долго уговаривать человека меча и боевого поля, что для предъявления подобного требования нужно иметь совершенно конкретные обязательства со стороны кадетской партии...

Да и само субъективное восприятие сложной политической обстановки людьми, не искушенными в этих вопросах, приводило иногда к разительным противоречиям. Представители Офицерского союза еще летом устанавливали связь с некоторыми политическими группами и делились с ними своими предположениями. Вот какие впечатления они вынесли. Один — человек чисто военный — пишет: «Русские общественные круги, в частности кадеты, обещали нам свою полную поддержку. Мы были у Милюкова и Рябушинского. И та, и другая группы обещали поддержку у союзников, в правительстве, печати и деньгами»... Другой — причастный к политической деятельности — о тех же эпизодах говорит: «Московская группа шла нам навстречу; петроградская нас избегала. У Рябушинского отнеслись более внимательно. Но тем не менее мы должны были сделать один вывод: мы — одни».

Однако кроме проявления официальных и деловых отношений, сумма впечатлений, утверждавших Верховного Главнокомандующего в его намерениях, слагалась и другим путем: множество личных разговоров, из которых одни известны, другие станут достоянием гласности, третьи унесены с собою в могилу собеседниками,— разговоров, веденных с ответственными представителями общественных и политических групп или от их имени,— создавало иллюзию широкого, если не народного, то общественного движения, увлекавшего Корнилова роковым образом в центр его. Генерал Алексеев имел, несомненно, право писать Милюкову *: «Дело Корнилова не было делом кучки авантюристов. Оно опиралось на сочувствие и помощь (?) широких кругов нашей интеллигенции, для которой слишком тяжелы были страдания Родины».

Впрочем, даже и революционная демократия в душе должна была ясно сознавать почвенность и истинные мотивы корниловского движения и иногда имела смелость говорить о них в печати. В меньшевистской «Рабочей газете» Цедербаума (Мартова) 3 сентября 1917 года мы находим следующие мысли: революция вначале была всенародной. Потом «один слой буржуазии за другим отходили от революции... начинали с ней борьбу. Но этот отход буржуазии не случился бы так быстро и не имел бы таких опасных... последствий, если бы революционная демократия проявила больше революционного творчества в деле организации обороны страны, установления в тылу и в армии революционного порядка, разрешения продовольственного кризиса, борьбы с хозяйственной разрухой. Разочарование в революции и возбуждение против рабочих и солдат не охватили бы таких широких кругов населения, если бы безответственная агитация не толкала рабочие и солдатские массы на путь опасных авантюр».

Революционная демократия понимала и ждала со страхом, либеральная демократия знала и ждала с надеждой.

Впоследствии Корнилов горько упрекал представителей русской общественности за их более чем пассивную роль в августовские дни. Когда же однажды положение быховских узников ввиду готовившегося самосуда стало весьма опасным, Корнилов, считая себя ответственным за судьбу тех, которые пошли за ним, послал некоторым видным деятелям ультимативное требование принять немедленно меры общественного воздействия на правительство.

В таком деликатном вопросе редко оставляются документальные следы, но и они найдутся с течением времени. Во всяком случае, не подлежит сомнению одно: если многие представители нового прогрессивного блока, каким явилось по существу «совещание общественных деятелей», и не были посвящены во времена и сроки, то по крайней мере сочувствовали идее диктатуры, именно корниловской, одни догадывались, другие знали о надвигающихся событиях.

Глава VI. ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА. СТАВКА, ВОЕНАЧАЛЬНИКИ, СОЮЗНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИИ, ВОЙСКА ГЕНЕРАЛА КРЫМОВА — В ДНИ ВЫСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА КРЫМОВА. ПЕРЕГОВОРЫ О ЛИКВИДАЦИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Если в Петрограде положение было крайне неопределенным, то еще больший хаос царил в противном лагере.

Керенский приказал вступить в верховное командование последовательно начальнику штаба Верховного, генералу Лукомскому **, затем главнокомандующему Северным фронтом генералу Клембовскому. Оба отказались: первый — бросив обвинение Керенскому в провокации, второй — «не чувствуя в себе ни достаточно сил, ни достаточно уменья для предстоящей тяжелой работы»... Генерал Корнилов, придя к убеждению, что правительство снова подпало под влияние безответ-

* 12 сентября 1917 года.
** См. том I, гл. XXXVI.

ственных организаций и, отказываясь от твердого проведения в жизнь (его) программы оздоровления армии, решило устранить (его), как главного инициатора указанных мер *.— решил не подчиниться и должности не сдавать.

27-го в Ставку начали поступать петроградские воззвания, и Корнилов, глубоко оскорбленный их внешней формой и внутренней неправдой, ответил со своей стороны рядом горячих воззваний к народу, армии, казакам. В них, описывая исторический ход событий, свои намерения и «великую провокацию» **, он клялся довести страну до Учредительного собрания. Воззвания, искусственные по стилю ***, благородные и патриотические по содержанию, остались гласом вопиющего в пустыне. «Мы» и без них всей душой сочувствовали корниловскому выступлению; «они» — шли только за реальными посылами и подчинялись только силе. А между тем во всех обращениях слышалась нота душевной скорби и отчаяния, а не сознание своей силы. Кроме того, тяжело переживая события и несколько теряя равновесие, Корнилов в воззвании 27 августа неосторожно заявил, что «Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами германского генерального штаба и одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на Рижском побережье, убивает армию и потрясает страну внутри». Это неосторожное обобщение всех членов Временного правительства, которых, за исключением, быть может, одного, можно было обвинять в чем угодно, только не в служении немцам, произвело тягостное впечатление на лиц, знавших действительные взаимоотношения между членами правительства, и особенно на тех, кто в среде его были духовно сообщниками Корнилова.

Образ, сравнение, аналогия — в редакции Завойко выражены были словом «согласие». Без сомнения, и Корнилов не придавал прямого значения этому обвинению Временного правительства, ибо 28-го он уже приглашал его в Ставку, чтобы совместно с ним выработать и образовать «такой состав правительства народной обороны, который, обеспечивая победу, вел бы народ русский к великому будущему».

28-го Керенский потребовал отмены приказания о движении 3-го конного корпуса на Петроград. Корнилов отказал и, на основании всей создавшейся обстановки придя к выводу, что «правительство окончательно подпало под влияние Совета», решил «выступить открыто и, произведя давление на Временное правительство, заставить его: 1. исключить из своего состава тех министров, которые по имеющимся (у него) сведениям были явными предателями Родины; 2. перестроиться так, чтобы стране была гарантирована сильная и твердая власть». Для оказания давления на правительство он решил воспользоваться войсками Крымова, которому 29 августа послано было соответствующее приказание.

Итак, жребий брошен — началась открыто междоусобная война.

Мне не раз приходилось слышать упреки по адресу Корнилова, что он сам лично не стал во главе войск, шедших на Петроград, и не использовал своего огромного личного обаяния, которое так вдохновляло полки на поле сражения... По-видимому, и войсковые части разделяли этот взгляд. По крайней мере в хронике Корниловского ударного полка читаем: «Настроение корниловцев было настолько приподнятое, что, прикажи им генерал идти с н и м на Петроград, много было шансов, что взяли бы. Корниловцы увлекли бы за собой и других... Но почему-то генерал Корнилов, первоначально решившись, казалось, все поставить на карту, внезапно заколебался и, остановившись на полдороге, не захотел рискнуть своим последним козырем — Корниловским и Текинским полками». Интересно, что и сам Корнилов впоследствии считал крупной своей ошибкой то обстоятельство, что он не выехал к войскам... Несомненно, появление Корнилова с двумя надежными полками решило бы участь Петрограда. Но оно вряд ли было выполнимо технически: не говоря уже о том, что с выходом полков из Ставки весь драгоценный аппарат ее попал бы в руки местных Советов, предстояло передвинуть могилевские эшелоны, исправляя пути, местами, вероятно, с боем — на протяжении 650 верст!

* Из показания Корнилова следственной комиссии.

** «Телеграмма министра-председателя... во всей своей первой части является ложью: не я послал члена Гос. Думы В. Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне, как посланец министра-председателя».

*** Два воззвания составлены Завойко, одно (к казакам) лично Корниловым.

26-го Корнилов ждал приезда Керенского и Савинкова; 27-го вел переговоры в надежде на мирный исход, а с вечера этого дня пути во многих местах были разобраны и бывшие впереди эшелоны Туземной дивизии и 3-го конного корпуса безнадежно застряли, разбросанные на огромном протяжении железнодорожных линий, ведущих к Петрограду. Было только две возможности: не ведя переговоров, передав временное командование генералу Лукомскому, выехать 27-го с одним эшелоном на Петроград или позже перелететь на аэроплане в район Луги, рискуя, впрочем, в том и другом случае вместо «своих» попасть к «чужим», так как с Крымовым всякая связь была прервана. Обе эти возможности сильно ударялись в область приключений.

В Могилеве царило тревожное настроение. Ставка работала по-прежнему, и в составе ее не нашлось никого, кто бы посмел, а может быть, кто бы хотел не исполнить приказания опального Верховного... Ближайшие помощники Верховного, генералы Лукомский и Романовский, и несколько других офицеров сохраняли полное самообладание. Но в души многих закрадывались сомнение и страх. И среди малодушных начались уже панические разговоры и принимались меры к реабилитации себя на случай неуспеха. Бюрократическая Ставка по природе своей могла быть мирной фрондой, но не очагом восстания.

В гарнизоне Могилева не было полного единства: он заключал в себе до трех тысяч преданных Корнилову — корниловцев и текинцев — и до тысячи солдат Георгиевского батальона, тронутых сильно революционным угаром и уже умевших торговать даже своими голосами *... Георгиевцы, однако, чувствуя себя в меньшинстве, сосредоточенно и угрюмо молчали; иногда, впрочем, происходили небольшие побоища на глухих городских улицах между ними и «корниловцами». И когда 28 августа генерал Корнилов произвел смотр войскам гарнизона, он был встречен могучими криками «ура» одних и злобным молчанием других. «Никогда не забыть присутствовавшим на этом историческом параде,— говорится в хронике Корниловского полка,— небольшой, коренастой фигуры Верховного... когда он резко и властно говорил о том, что только безумцы могут думать, что он, вышедший сам из народа, всю жизнь посвятивший служению ему, может даже в мыслях изменить народному делу. И задрожал невольно от смертельной обиды голос генерала, и задрожали сердца его корниловцев. И новое, еще более могучее... «ура» покатилось по серым рядам солдат... А генерал стоял с поднятой рукой... словно обличая тех, кто нагло бросил ему обвинение в измене своей Родине и своему народу»...

Если бы этот могучий клик мог докатиться до тех станций, полустанков, деревень, где столпились и томились сбитые с толку, не понимавшие ничего в том, что происходит, эшелоны крымовских войск!..

Город притих, смертельно испуганный всевозможными слухами, ползущими из всех углов и щелей, ожиданием междоусобных схваток и кровавых самосудов.

Старый губернаторский дом на высоком, крутом берегу Днепра, в течение полугода бывший свидетелем стольких исторических драм, хранил гробовое молчание. По мере ухудшения положения стены его странно пустели и в них водворилась какая-то жуткая, гнетущая тишина, словно в доме был покойник. Редкие доклады и много досуга. Опальный Верховный, потрясенный духовно, с воспаленными глазами и тоскою в сердце целыми часами оставался один, переживая внутри себя свою великую драму, драму России. В редкие минуты общения с близкими, услышав робко брошенную фразу, с выражением надежды на скорый подход к столице войск Крымова он резко обрывал:

— Бросьте, не надо.

Все понемногу рушилось. Последние надежды на возрождение армии и спасение страны исчезали. Какие еще новые факторы могли спасти положение?

Разговор по телеграфу 27 августа с Савинковым и Маклаковым не мог внушить оптимизма. Из них первый в пространном и нравоучительном наставлении убеждал Корнилова «во имя несчастной Родины нашей» подчиниться Временному

* При выборах в городскую думу.

правительству; второй — «принять все меры (чтобы) ликвидировать недоразумение без соблазна и огласки»... Было ясно, что искусственная редакция обращения Савинкова имеет целью личную реабилитацию его в глазах кругов, стоявших на стороне Керенского, оправдание тех загадочных для революционной демократии и самого Керенского связей, которые существовали между военным министерством и Ставкой. Или, как говорил сам Савинков,— «для восстановления исторической точности».

Поддержка «маршалов»?

Корнилов не верил в стремление к активному выступлению высшего командного состава и не считал поэтому необходимым посвящать его заблаговременно в свои намерения; если не ошибаюсь, никуда, кроме Юго-западного фронта, ориентировка не посылалась. По существу, главнокомандующие и командующие не располагали ведь ни реальными силами, ни реальной властью, находясь в почетном, иногда и не в почетном плену у революционных организаций. Тем не менее создать узлы сопротивления путем формирования послушных частей, хотя бы для удержания в своих руках — более или менее длительного — военных центров и штабных технических аппаратов, было, конечно, и необходимо, и возможно. Но для этого нужен был некоторый подбор главных начальников, а для всего вместе — время. Между тем быстро прогрессирующий распад страны и армии, по мнению Корнилова, не давал возможности планомерной подготовки. Наконец, Корнилов считал, что в случае успеха — признание всех старших военных начальников было обеспечено, а при неуспехе — меньшее число лиц вовлекалось в дело и под ответ. Судьба, однако, распорядилась иначе, создав совершенно непредвиденную обстановку длительного конфликта, в решении которого не только материальные силы, но и моральное воздействие, требовавшее, однако, некоторого самопожертвования и риска, имело бы огромное значение.

Такой нравственной поддержки Корнилов не получил.

27-го на обращение Ставки из пяти главнокомандующих отозвалось четыре *: один — «мятежным» обращением к правительству, трое — лояльными, хотя и определенно сочувственными в отношении Корнилова. Но уже в решительные дни 28 — 29-го, когда Керенский предавался отчаянию и мучительным колебаниям, обстановка резко изменилась: один главнокомандующий сидел в тюрьме; другой (Клембовский) ушел, и его заменил большевистский генерал Бонч-Бруевич **, принявший немедленно ряд мер к приостановке движения крымовских эшелонов; трое остальных засвидетельствовали о своем полном и безоговорочном подчинении Временному правительству в форме достаточно верноподданной. Генерал Пржевальский, донося Керенскому, счел нужным бросить укор в сторону Могилева: «Я остаюсь верным Временному правительству и считаю в данное время всякий раскол в армии и принятие ею участия в гражданской войне гибельным для отечества»... Еще более определенно высказался будущий военный министр, ставленник Керенского, полковник Верховский, объявивший в приказе по войскам Московского округа: «Бывший Верховный Главнокомандующий... в то самое время, когда немцы прорываются у Риги на Петроград, снял с фронта три лучших казачьих дивизии и направил их на борьбу с правительством и народом русским»...

По мере того как получались все эти сведения, настроение Ставки все более падало, а Верховный все больше уходил в себя, в свои тяжкие думы.

Поддержка союзников?

Нужно заметить, что общественное мнение союзных стран и их правительств, вначале чрезвычайно благожелательно настроенных к Керенскому, после июльского разгрома армии резко изменилось. И посланный правительством для ревизии наших заграничных дипломатических миссий Сватиков имел полное основание суммировать свои впечатления следующими словами доклада: «Союзники

* Кроме главнок. Кавказским фронтом, ген. Пржевальского.

** Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич (1870—1956). Окончил Моск. ун-т, Акад. Ген. штаба. Во время импер. войны прошел путь от ком. полка до главноком. войсками Сев. фронта. После Февр. рев. состоял членом Исполкома Псковского Совета. После победы Октяб. рев. был чл. Высшего Военного Совета, в 1919 г. возглавлял полевой штаб Реввоенсовета республики. (Прим. ред.)

смотрят с тревогой на то, что творится в России. Вся западная Европа — с Корниловым, и ее пресса не перестает твердить: довольно слов, пора приступить к делу» *. Еще более определенные и вполне доброжелательные отношения сохранили к Верховному иностранные военные представители. Многие из них представлялись в эти дни Корнилову, принося ему уверения в своем почитании и искренние пожелания успеха; в особенности в трогательной форме это делал британский представитель. Слова и чувства. Реально они проявились только в декларации, врученной 28 августа Терещенко Бьюкененом ** в качестве старейшины дипломатического корпуса. В ней в изысканной дипломатической форме послы единодушно заявляли, что «в интересах гуманности и в желании устранить непоправимые действия они предлагают свои добрые услуги (посредников) в единственном стремлении служить интересам России и делу союзников».

Впрочем, Корнилов тогда не ждал и не искал более реальных форм интервенции.

Поддержка русской общественности?

Произошло нечто чудесное: русская общественность внезапно и бесследно сгинула.

Как я говорил уже, Милюков, быть может, еще два, три видных деятеля упорно и настойчиво поддерживали в Петрограде необходимость примирения с Корниловым и коренной реорганизации Временного правительства. Кадетская группа в правительстве героически и беспомощно боролась за то же в самой среде его. Какое фатальное недоразумение вырастало на почве ненависти к правительству в целом и непонимание его политических группировок, когда и этим четырем «праведникам» в общей «содомской» куче, как оказывается, угрожали большие бедствия со стороны конспиративных организаций, очевидно превышающих свои полномочия... Либеральная печать, в том числе «Речь» и «Русское слово», в первые дни в спокойных лояльных статьях так определяли элементы выступления: «преступность» способов борьбы, правильность целей ее («подчинение всей жизни страны интересам обороны») и почвенность движения, обусловленная положением страны и ошибками власти. Довольно робко говорили о примирении... Вот все.

Исчезло и «совещание общественных деятелей» в лице оставленного им «совета». Председатель его М. Родзянко, еще три недели тому назад от имени совещания заявивший, что «всякие покушения на подрыв авторитета (Корнилова) в армии и в России считает преступным», теперь говорил ***:

— Никогда ни в какой контрреволюции я не участвовал и во главе фронды не стоял. О всех злобах дня я узнал только из газет и сам к ним не причастен. А вообще могу сказать одно: заводить сейчас междоусобия и ссоры — преступление перед Родиной.

Ab uno disce omnes! ****

Офицерство?

Не было никакого сомнения, что масса офицерства всецело на стороне Корнилова и с замиранием сердца следит за перипетиями борьбы, им кровно близкой; но, не привлеченное к ней заблаговременно в широком масштабе и в солидной организации, в той обстановке, в какой оно жило,— офицерство могло дать лишь нравственную поддержку.

Одна надежда оставалась на вооруженную силу, каковую представляли войска Крымова и петроградские организации, которые должны были выступить одновременно с войсками. Но с Петроградом, кроме военного министерства, связи не было никакой; о Крымове и сосредоточении его частей ничего не было известно; летчик и целый ряд посланных Ставкой офицеров застревали в дороге или были перехвачены, и никто не возвращался.

Предчувствовалось что-то недоброе...

* Из секретных документов, опубликованных большевиками.

** Джордж Ульям Бьюкенен (1854—1924) — английский посол в России в 1910—1918 гг. (Прим. ред.)

*** «Русское слово», 1917 г., № 197.

**** «По одному узнай все или всех» (лат., прим. ред.)

В Петрограде, как я уже говорил, царил полный развал. Казалось необыкновенно легким с ничтожными силами овладеть столицей, так как в ней не было войск, искренно преданных Временному правительству. Но не было и самоотверженных «корниловцев». Неожиданный поворот событий 27 августа привел в полную растерянность петроградскую организацию. Вновь пошли непрерывные сборища и совещания, обнаружившие только нерешительность и подавленное настроение руководителей.

Между тем генерал Алексеев тщетно добивался благоприятного разрешения кризиса. Та растерянность, которая царила в Петрограде, и те настроения, которые преобладали среди бывших членов правительства, как будто давали надежду на образование нового правительства с участием в нем в первенствующей роли генерала Алексеева, если с его стороны будут проявлены твердость и настойчивость. Впоследствии он подвергся суровым обвинениям за то, что не сумел использовать положение и согласился стать в подчиненную роль к Керенскому. Приводимый ниже эпизод дает некоторое объяснение его решению.

29 августа ротмистр Шапрон — один из участников организации — застал его в крайне угнетенном состоянии. Старый генерал сидел в глубоком раздумье, и из глаз его текли крупные слезы. Он сказал:

— Только что был Терещенко *. Уговаривают меня принять должность начальника штаба при Верховном — Керенском... Если не соглашусь, будет назначен Черемисов... Вы понимаете, что это значит? На другой же день корниловцев расстреляют!.. Мне противна предстоящая роль до глубины души, но что же делать? Неужели нельзя связаться с Крымовым и вызвать сюда хоть один полк? Ведь у вас тут есть организация... Отчего она бездействует? Найдите во что бы то ни стало С. и заставьте его приступить к действиям...

Один из крупных участников конспирации — летчик — заявил, что все летальные машины испорчены; взялся лично пробраться к Крымову на автомобиле, но скоро вернулся, объяснив, что сломалась машина. Этим, собственно, попытка связаться с конным корпусом и ограничилась. Наводит на размышления тот факт, что в те же дни по всему району «внутреннего театра» совершенно беспрепятственно проезжал комиссар Станкевич, а к крымовским войскам проникали свободно всевозможные делегации.

Главного руководителя петроградской военной организации, полковника С., разыскивали долго и безуспешно. Он, как оказалось, из опасения преследования скрылся в Финляндию, захватив с собой последние остатки денег организации, что-то около полутораста тысяч рублей. Впоследствии имена нескольких участников организации я встретил в агентурных списках лиц, косвенно содействовавших большевикам или промотавших деньги конспирации. И техническая, и материальная части дела были поставлены из рук вон плохо.

29-го Керенский отдал указ об отчислении от должностей и предании суду «за мятеж» генерала Корнилова и старших его сподвижников.

Ночь на 30-е послужила решительным поворотным пунктом в ходе событий: генерал Алексеев ради спасения жизни корниловцев решился принять на свою седую голову бесчестие — стать начальником штаба у «главковерха» Керенского. Само назначение Керенского на этот пост вносило в дело обороны страны элемент какой-то злой и глупой шутки. Об этом кратком всего несколькодневном периоде своей жизни Алексеев говорил впоследствии всегда с глубоким волнением и скорбью.

В этот день, 30-го, Ставка потеряла в значительной мере надежду на успех. Между часом и тремя часами дня произошел исторический разговор по телеграфу между Алексеевым и Корниловым. Генерал Алексеев сообщал о принятом «после тяжкой внутренней борьбы» назначении, обуславливая его тем, чтобы «переход к новому управлению совершился преемственно и безболезненно» для

* Михаил Иванович Терещенко (1886—1956) — сахарозаводчик, финансист, примыкал к партии прогрессистов. Во Времен. пр-ве министр финансов, с мая 1917 г. — министр иностранных дел. (Прим. ред.)

того, чтобы «в корень расшатанный организм армии не испытал еще лишнего толчка, последствия которого могут быть роковыми»...

Минута для такого перехода, очевидно, уже назрела, так как еще до этого разговора была заготовлена Лукомским от имени Верховного телеграмма Временному правительству... В ней указывалось на недопустимость перерыва руководства операциями хоть на один день и на необходимость немедленного приезда в Ставку генерала Алексеева, который, «с одной стороны, мог бы принять на себя руководство по оперативной части, с другой — явился бы лицом, могущим всесторонне осветить обстановку»... Корнилов обещал свою лояльность под некоторыми условиями: 1. объявления о создании сильного и не подверженного влиянию безответственных организаций правительства, «которое поведет страну по пути спасения и порядка»; 2. прекращения арестов генералов и офицеров и приостановки предания суду генерала Деникина и подчиненных ему лиц; 3. прекращения в интересах армии распространения приказов и воззваний, порочащих имя Корнилова, еще не сдавшего верховного командования.

Алексеев обещал предъявить эти требования правительству — по-видимому, без веры в успех потребовать временного оставления за Корниловым оперативного руководства войсками и ускорить свое прибытие. Керенский действительно отдал приказ о выполнении армиями всех оперативных приказаний Корнилова и Ставки и даже о продолжении прерванных перевозок, за исключением... направленных к Петрограду, Москве, Могилеву и на Дон, так как — сказано было в телеграмме — «современное положение дел не требует сосредоточения войск к указанным пунктам».

Это не была еще безусловная сдача, как ошибочно поняли в Петрограде.

30-го Корнилов просил Алексеева дать ему возможность переговорить по прямому проводу с Крымовым... 31-го он объявлял войскам и населению Могилева: «Генерал Алексеев едет из Петрограда в Могилев для ведения со мной от имени Временного правительства переговоров... Являясь поборником свободы и порядка в стране, я остаюсь непреклонным в защите таковых и буду отстаивать их во все времена ведения переговоров».

В ночь с 31 августа на 1 сентября происходит весьма характерный разговор по аппарату между генералами Алексеевым (из Витебска) и Лукомским, который я приведу в подробных извлечениях:

А.: Циркулирующие сплетни и слухи окутывают нежелательным туманом положение дел, а главное, вызывают некоторые распоряжения Петрограда, отдаваемые после моего отъезда оттуда и могущие иметь нежелательные последствия. Поэтому прошу ответить мне: 1. считаете ли, что я следую в Могилев с определенным служебным положением или же только для переговоров. 2. Предполагаете ли, что с приемом мною руководства армиями дальнейший ход событий будет определяться прибывающей в Могилев, вероятно, 2 сентября или вечером 1 сентября следственной комиссией под председательством главного (военного и морского) прокурора... От этого будет зависеть мое собственное решение, так как я не могу допустить себе быть простым свидетелем тех событий, которые подготовляются распоряжениями и которых, безусловно, нужно избежать.

Л.: Сегодня вечером генерал Корнилов говорил мне, что он смотрит на вас как на лицо, предназначенное на должность наштаверха, и предполагал после разговоров с вами и показав вам ряд документов, которых вы, вероятно, не имеете, дать вам свое окончательное решение, считая, что, быть может, ознакомившись с делом, вы несколько измените тот взгляд, который, по-видимому, у вас сложился. Во всяком случае, уверяю вас, что генерал Корнилов не предполагал устраивать из Могилева форт Шаброль и в нем отсиживаться. Я убежден, что ради того, чтобы не прерывать оперативной деятельности и дабы в этом отношении не произошло каких-либо непоправимых несчастий, вам не будет чиниться никаких препятствий по оперативным распоряжениям. Вот все, что я знаю. Если этот ответ вас не удовлетворяет, я могу разбудить генерала Корнилова и дать вам дополнительный ответ. Нужно ли?

А.: Да, придется разбудить, так как всего сказанного вами недостаточно.

После тяжелого размышления я вынужден был силою обстоятельств принять назначение во избежание других решений, которые могли отразиться на армии. В решении этом я руководствовался только военною обстановкою, не принимая во внимание никаких других соображений. Но теперь возникает вопрос существенной важности: прибыть в Могилев только для оперативной деятельности при условии, что остальная жизнь армии будет направляться другою волею, невозможно. Или придется взять все, или отказаться совершенно от появления в Могилеве. Я сказал вам, что после моего отъезда из Петрограда оттуда идут распоряжения, идущие помимо меня, но прямо касающиеся событий, которые могут разыграться в Могилеве. Поэтому явиться невольным участником столкновения двух воль, не от меня зависимых, я считаю для себя и недопустимым, и недостойным. Или с прибытием в Могилев я должен стать ответственным распорядителем по всем частям жизни и службы армии, или совсем не должен принимать должности. В этом отношении не могу допустить никакой неясности и недоговоренности, так как это может повлечь за собой непоправимые последствия. Я понимаю, что документы могут осветить мне ход событий. Думаю, что мой взгляд не идет в разрез с сутью этих документов. Но в настоящую минуту вопрос идет о практическом разрешении создавшегося положения.

Л.: Для получения мне вполне определенного ответа от генерала Корнилова на ваши вопросы было бы крайне желательно получить от вас освещение двух вещей: 1. что делается с Крымовым и 2. решено ли направить сюда что-либо для ликвидации вопроса.

А.: Я задержал сегодня свой отъезд до 10 ч. утра, чтобы дождаться приезда генерала Крымова в Петроград. Видел его и разговаривал с ним. На пути видел бригадных командиров Туземной дивизии и читал записку, присланную им от генерала Крымова. Записка говорит об отводе Туземной дивизии в район станции Дно и о прибытии начальников дивизий и бригадных командиров в Петроград. Сейчас в Витебске циркулируют неясные слухи, что с генералом Крымовым что-то случилось, но слухам этим я не доверяю и предполагаю, что он остался в Петрограде. Крымов говорил мне, что в 12 часов он должен был быть у Керенского. На 2-й ваш вопрос должен сказать, что при отъезде я заявил, что беру на себя спокойно, без всяких толчков вступить в исполнение обязанностей. К глубокому сожалению, на пути узнал, что непосредственно из Петрограда отдаются распоряжения, которые становятся мне известными совершенно случайно,— о направлении средств для насильственной, если нужно, ликвидации. Потому-то я и высказал, что для меня и недостойно, и недопустимо пребывание при таких условиях в Могилеве. Вот причина, вследствие которой для меня необходим ясный ответ. От него будет зависеть мое решение. Но, к сожалению, я не могу сейчас повлиять на остальные распоряжения. Сознаю только глубоко, что допустить до подобной ликвидации было бы большой ошибкой.

Л.: Генерал Корнилов просит вас приехать как полномочного руководителя армиями. Но вместе с этим ген. Корнилов настаивает, чтобы вы приняли все меры к тому, чтобы никакие войска из других пунктов теперь в Могилев не вводились и к нему не подводились, ибо по настроению здешних войск произойдет кровопролитие, которое ген. Корнилов считает необходимым избежать. Со своей стороны он примет меры, дабы никаких волнений в Могилеве не было. Ген. Корнилов просит вас ответить, можете ли вы ручаться, что эта его просьба, чтобы войска к Могилеву не подводились, будет исполнена?

А.: Сделаю все.

Таким образом, только утром 1 сентября генерал Корнилов принял окончательное решение подчиниться судьбе.

Что же случилось с войсками генерала Крымова?

Вновь назначенный командиром 3-го конного корпуса генерал Краснов прибыл в Могилев только 28 августа. Получив в Ставке приказание ехать через Псков и, узнав там местонахождение частей корпуса, немедленно двигаться по направлению к Петрограду, он задержался в Пскове, где и был арестован.

Приказ о движении к Петрограду войска 3-го конного корпуса и Туземной дивизии получили 27 августа. Войска эти были разбросаны на обширном пространстве между Ревелем — Валком — Псковом — Дно. Ко времени, когда окончательно остановилось железнодорожное движение, передовые части оказались далеко от Петрограда, и только одна бригада Туземной дивизии (Черкесский и Ингушский полки под командой князя Гагарина) дошла своими передовыми частями до станции Семрино, впереди которой и завела бескровную перестрелку с «правительственными войсками», находившимися у Антропшина. «Правительственные войска», т. е. по преимуществу тыловые запасные батальоны, не выражали склонности к серьезному сопротивлению, нервничали и не раз уходили, бросая свои позиции от одного слуха о приближении казаков и «диких». Путаница была настолько велика, что нередко казачьи квартирьеры мирно разъезжали в районе своего противника и располагали там свои части. Приказы от Крымова высшими штабами получались, но технически их распространение по эшелонам, разбросанным на сотни верст, встречало трудно преодолимые препятствия. До 29-го войска шли на Петроград официально для поддержки Временного правительства. В этот же день Крымов объявил о столкновении Керенского с Верховным и призывал оставаться послушными распоряжениям последнего, напоминая постановление казачества о недопустимости смены Корнилова. Вместе с тем подтверждал свой приказ двигаться на Петроград, где, по его сведениям, «начались беспорядки». Такая неопределенная постановка цели уже ни казаков, ни солдат удовлетворить не могла. Вопрос стоит проще и определеннее:

— С Временным правительством против Корнилова или с Корниловым против Временного правительства.

Весь старший командный элемент, если и не был в полном составе посвящен в планы и намерения Крымова, то, конечно, отдавал себе ясный отчет в том, на чью сторону стать. В отношении офицерства, которое далеко не все знало, но понимало обстановку, разномыслия также не было. Все знали, что необходимо спешить к Петрограду. Необходимо было, следовательно, начальникам, рискуя головами, увлечь за собою части, бросить станции, где шла бешеная противокорниловская агитация, бросить свои обозы и хвосты, жертвуя сосредоточением всех сил, и идти в поле, деревнями, походом, форсированными маршами, только бы скорее дойти до столицы.

Но дерзания не было. Томление, нерешительность, беспомощность, потеря времени давали печальные результаты. Тем временем работал «Викжель» *, задерживая повсюду «корниловские эшелоны». Новый управляющий министерством путей сообщения Ливеровский проявил необыкновенную деятельность в деле противодействия сосредоточению войск. Одновременно двинулось навстречу эшелонам множество делегаций от Керенского, Совета, петроградской думы, мусульманского съезда, от всяких местных комитетов и т. д. Правительственные делегации имели «мандаты» на устранение и аресты начальствующих лиц. В свою очередь войсковые части послали своих делегатов в Петроград, и мало-помалу накопившееся напряжение или рассасывалось в потоке революционных словопрений, или срывалось насилиями над офицерами.

Керенский говорит, что корниловское движение было бескровно подавлено в самом начале только благодаря энтузиазму и единению всей страны, которая соединилась вокруг национальной демократической власти **... Какое пристрастие к пафосу! Ведь энтузиазм был уже похоронен на полях июньского наступления, «цветы души» растоптаны на Московском совещании, власть давно опошлена и обескровлена, и вместо яркого светоча ее тлел только фитиль еще два месяца, пока не погас в конце октября окончательно.

Нет, причины были более реальные: энергичная борьба Керенского за со-

* Всерос. исполнит. комитет жел.-дор. профсоюза. По составу и своим действиям эсеро-меньшевистский. (Прим. ред.)

** «Прелюдия большевизма».

хранение власти и борьба Советов за самосохранение, полная несостоятельность технической подготовки корниловского выступления и инертное сопротивление массы, плохо верившей Корнилову, мало знавшей его цели или, во всяком случае, не находившей их материально ценными...

К 30-му на подступах к Петрограду у Крымова была только одна бригада кавказских всадников.

Метод, так успешно примененный в отношении Корнилова со львовской миссией, Керенский повторил и с Крымовым. Он послал в окрестности Луги помощника начальника своего кабинета, полковника генерального штаба Самарина, к которому Крымов издавна питал большое расположение, «для выяснения положения», в действительности же, чтобы безболезненно изъять Крымова из войск. Есть основание думать, что Самарин представил Крымову положение безнадежным, подчинение Ставки окончательным и от имени Керенского заверил, что последний желает принять все меры, чтобы потушить возникшее столкновение и представить его стране в примирительном духе. Ни одному слову Керенского Крымов не верил, но Самарину поверил.

И поехал в Петроград.

Ранним утром 31-го он вел долгую беседу с генералом Алексеевым в вагоне поезда, уже готового к отправлению. Никто, кроме их двух, не присутствовал в этот глубоко драматичный момент при их беседе, облеченной покровом тайны и положившей предел корниловскому выступлению. Одно, во всяком случае, ясно: потерявший сердце Алексеев не мог влить твердость в мятущуюся душу Крымова.

Алексеев уехал в Могилев «для ликвидации Ставки», Крымов поехал к Керенскому. Его видели проезжавшего по городу в автомобиле — бледного, задумчивого, не замечавшего приветствовавших его знакомых. В Зимнем дворце произошел разговор его с Керенским, который последний передает в английском издании своей книги * в оскорбительном для памяти покойного изложении. По его словам, Крымов — смелый, решительный, прямой, честный Крымов — был тих, скромен и подавлен якобы тем, что сказал неправду ему, Керенскому, прозорливо разгадавшему истинную роль Крымова. О том бурном, гневном, обличительном слове Крымова, которое вырывалось из-за стен кабинета, он молчит. В не оставляющей его мании величия Керенский дает понять между строк английскому читателю, что на финальный выстрел не осталось без влияния и то обстоятельство, что он, Керенский, не подал при прощании руки генералу Крымову... Англичанам можно рассказывать что угодно: они не знают, что Крымов всегда и открыто выражал свое глубокое презрение к Керенскому.

Впрочем, и Керенский должен был признать посмертно «честную, сильную и храбрую натуру этого человека» и «неоспоримое право его на величайшее уважение своих политических врагов».

Крымов оказался обманутым. Уйдя от Керенского, выстрелом из револьвера он смертельно ранил себя в грудь. Через несколько часов в Николаевском военном госпитале под площадную брань и издевательства революционной демократии в лице госпитальных фельдшеров и прислуги, срывавшей с раненого повязки, Крымов, приходивший изредка в сознание, умер.

Но, по-видимому, и мертвым «политический враг» был страшен для министра-председателя: публичные похороны были запрещены, и вдове покойного пришлось пройти через новое тяжелое испытание — просить Керенского о разрешении частного погребения. Было, наконец, разрешено похоронить покойного по христианскому обряду, но не позже шести часов утра в присутствии не более девяти человек, включая и духовенство.

Вечная ему память!

4 сентября полковник Самарин за отличие по службе был произведен в генерал-майоры и назначен командующим войсками Иркутского военного округа.

* «Прелюдия большевизма». Керенский припоминает, что при разговоре присутствовал помощник военного министра, полковник Якубович.

Глава VII. ЛИКВИДАЦИЯ СТАВКИ. АРЕСТ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА. ПОБЕДА КЕРЕНСКОГО — ПРЕЛЮДИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

«Направление средств для ликвидации Ставки», о котором говорил генерал Алексеев в своем разговоре с Лукомским, принимало угрожающий характер. Еще по пути в Могилев Алексеев узнал, что Витебский и Смоленский комитеты собирают войска для похода на Ставку. В Орше он встретил сводный отряд, набранный из войск Западного фронта, под начальством подполковника Короткова. Отряд шел по приказу Керенского, распорядившегося уже после отъезда генерала Алексеева о «начатии решительных действий против Могилева» *, причем военное министерство указывало и способы действия...**. 31-го передовые части отряда находились уже на станции Лотва, последней перед Могилевым. По иронии судьбы Коротков был тот самый председатель «боевой контактной комиссии» фронтового комитета, который во время моего июльского наступления явился к генералу Маркову и с неподдельным чувством отчаяния докладывал:

— Господин генерал! Мы совершенно бессильны. Нас никто не слушает. «Они» не хотят идти...

Теперь «они» шли.

Даже 1 сентября, когда генерал Алексеев находился уже в Могилеве, командующий войсками Московского округа, полковник Верховский говорил ему по аппарату: «Сегодня выезжаю в Ставку с крупным вооруженным отрядом для того, чтобы покончить то издевательство над здравым смыслом, которое до сих пор имеет место! Корнилов, Лукомский, Романовский, Плющевский-Плющик, Пронин и Сахаров должны быть арестованы немедленно и препровождены»... Революционный неофит был так нетерпелив в своем желании лично разгромить Ставку, что не соглашался подождать ответа отвлеченного к другому аппарату Алексеева: «Выеду непременно... не имею времени ожидать, отдаю распоряжения об отъезде»...

Генерал Алексеев, беседуя с Керенским по аппарату ***, указав на создаваемые им осложнения, говорил: «Я принял на себя обязательство путем одних переговоров окончить дело... Мне не было сделано даже намека на то, что уже собираются войска для решительных действий против Могилева». Керенский оправдывался и необычайно торопил ликвидацию: «Нами был получен за эти сутки целый ряд сообщений устных и письменных, что Ставка имеет большой гарнизон из всех родов оружия, что она объявлена на осадном положении, что на 10 верст в окружности выставлено сторожевое охранение, произведены фортификационные работы с размещением пулеметов и орудий... Принимая всю обстановку во внимание, не считаю возможным подвергать вас и следственную комиссию возможному риску и предложил Короткову двигаться. Никаких других распоряжений каким бы то ни было другим частям от меня не исходило. Я предлагаю вам передать генералу Корнилову, что он должен сдать вам должность, отдать себя в распоряжение власти, демобилизовать свои войсковые части немедленно, причем ответственность на эти части не упадет, если это будет сделано немедленно... Все это должно быть выполнено... в 2-х часовой срок с момента окончания нашего с вами разговора... Если через два часа не получу от вас ответа, я буду считать, что вы захвачены генералом Корниловым и лишены свободы действий».

Генерал Алексеев возражал, что должность он принял, «безопасность и свобода действий его и следственной комиссии вполне обеспечена», что «в Могилеве никакой артиллерии нет, никаких фортификационных сооружений не возводилось, войска вполне спокойны, и только при наступлении подполковника Короткова столкновение неизбежно». Наконец, что в течение двух часов он не в состоянии собрать всех военных начальников.

Но Керенский, очевидно, не верил еще в благополучный исход ликвидации и

* Телеграмма Керенского № 525.
** Телеграмма прапорщика Толстого.
*** Разговор между 15.30 и 17.10 ч. 1 сентября.

проявлял великое нетерпение и страх. В исходе дня начальник его кабинета полковник Барановский вновь обратился в Ставку с напоминанием:

«Верховный Главнокомандующий требует, чтобы ген. Корнилов и его соучастники были арестованы немедленно, ибо дальнейшее промедление грозит неисчислимыми бедствиями. Демократия взволнована свыше меры, и все грозит разразиться колоссальным взрывом, последствия которого трудно предвидеть. Этот взрыв в форме выступления советов и большевизма ожидается не только здесь, в Петрограде, но и в Москве и других городах. В Омске арестован командующий войсками, власть перешла к совету. Обстановка такова, что дальше медлить нельзя: или промедление и гибель всего дела спасения родины, или немедленные решительные действия, аресты указанных вам лиц, и тогда возможна еще борьба. А. Ф. Керенский ожидает, что государственный разум подскажет ген. Алексееву решение и он примет его немедленно: арестует Корнилова и его соучастников... Сегодня, сейчас необходимо дать это в газеты, чтобы завтра утром об аресте узнала вся организованная демократия. Для вас должны быть понятны те политические движения, которые возникли и возникают на почве обвинения власти в бездействии и попустительстве. Советы бушуют, и разрядить атмосферу можно только проявлением власти и арестом Корнилова и других. Повторяю, дальнейшее промедление невозможно. Нельзя дальше только разговаривать, надо решаться и действовать»...

В этом панического характера обращении * к Вырубову с исчерпывающей ясностью установлены взаимоотношения министра-председателя с Советами и те личные побуждения, которые двигали им во всей истории столкновения. Это впечатление не устраняет введенная в обращении вводная фраза о спасении Родины...

Алексеев ответил: «Около $12^1/_2$ часов главковерху отправлена мною телеграмма, что войска, находящиеся в Могилеве, верны Временному Правительству и подчиняются безусловно главковерху. Около 22 часов генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, полковник Плющевский-Плющик арестованы. Приняты меры путем моего личного разъяснения совету солдатских депутатов установления полного спокойствия и порядка в Могилеве; послан приказ полковнику Короткову не двигать войска его отряда далее станции Лотва, так как надобности в этом никакой нет. Таким образом, за семь часов времени пребывания моего в Могилеве были исполнены только дела и исключены разговоры. Около 24-х часов прибывает следственная комиссия, в руки которой будут переданы чины уже арестованные, и будут арестованы по требованию этой комиссии другие лица, если в этом встретится надобность. С глубоким сожалением вижу, что мои опасения, что мы окончательно попали в настоящее время в цепкие лапы советов, являются неоспоримым фактом».

Когда еще велись последние переговоры, они имели, по существу, информационный, формальный характер, ибо психологически в Ставке все уже было кончено. Еще 29-го весьма поспешно уехал из Могилева Завойко — «подымать Дон» **, многие чины Ставки перестали ходить на занятия; большая группа толпилась днем и ночью в том доме, в котором должен был остановиться генерал Алексеев... В хронике Корниловского полка описывается сцена, как 31-го в одной группе «приближенных» шли разговоры о «бегстве», и только один из присутствовавших с возмущением заявил, что долг всех, стоявших заодно с генералом, до конца оставаться при нем и разделить его участь, хотя бы это была смерть. Заместитель арестованного председателя Главного комитета Офицерского союза спрашивал Алексеева по прямому проводу, «как быть», и докладывал своему почетному председателю, что «союз до последней минуты шел по тому пути, на который Вы его благословили, и Главный комитет всюду поддерживал те требования, которые предъявлялись генералом Корниловым для устроения армии»... Доклад заканчивался тревожной фразой: «Смею добавить, что судьба Главного комитета и всего союза в Ваших руках»...

* Оно авторизовано Керенским, как видно из его книги «Прелюдия большевизма».
** Был по пути арестован и некоторое время содержался в Петрограде на гауптвахте вместе с В. Львовым.

С полками простился Корнилов в лице их командиров. Он был спокоен и внешне ничем не проявлял внутреннего состояния своей души.

— Передайте Корниловскому полку, — сказал он, — что я приказываю ему соблюдать полное спокойствие; я не хочу, чтобы пролилась хоть одна капля братской крови.

Капитан Неженцев, командир Корниловского полка, рыдая, как ребенок, говорил:

— Скажите слово одно, и все корниловские офицеры отдадут за вас без колебания свою жизнь...

Более сдержанным был командир Текинского полка, полковник Кюгельген, который на вопрос приближенных Корнилова, можно ли ожидать от полка самопожертвования, ответил:

— Я не знаю.

Полковник Кюгельген не сроднился с полком и говорил только от себя.

Впрочем, все уже было кончено и решено. Даже нечто страшное, еще не высказанное, но уже овладевшее мыслью и сдавившее ее в холодных тисках обреченности...

Наступила ночь, и губернаторский дом погрузился в тревожную, жуткую тишину. Верховный подводил итоги своей жизни. Все кончено, все усилия его спасти страну и армию пошли прахом; поддержки тех, на кого надеялся, не встретил; надежды более нет. Жить дольше не стоит.

Я не знаю, но я уверен, что в эти минуты на решение Верховного влияло и связывающее слово, сказанное им 28-го в «обращении к народу»: «...Долг солдата, самопожертвование гражданина Свободной России и беззаветная любовь к Родине заставили меня в эти грозные минуты бытия отечества не подчиниться приказанию Временного правительства... Я заявляю всему народу русскому, что предпочитаю смерть устранению меня от должности Верховного». Завойко позволил себе, не имея нравственного права, поместить в проекте воззвания столь индивидуального характера фразу, которая могла бы исходить лишь от самого лица, обращавшегося с воззванием, оказывала, несомненно, нравственное давление и исключение которой для Верховного было психологически трудно или даже невозможно.

Но Корнилов не мог уйти из жизни тайно. Его мысли разгадала друг-жена, делившая с ним 22 года его трудную, беспокойную жизнь... На другой день в той самой комнате, где некогда томился духом свергаемый император, происходила новая мистерия, в которой шла борьба между холодным отчаянием и беспредельной преданной любовью.

. . . .

Выйдя из кабинета, мать сказала дочери:

— Отец не имеет права бросить тысячи офицеров, которые шли за ним. Он решил испить чашу до дна.

Так как все чины Ставки, причастные к выступлению, подчинились добровольно, то арест их, произведенный 1 сентября генералом Алексеевым, имел скорее характер необходимой предосторожности против «правительственных отрядов» и революционной демократии, враждебно настроенной в отношении «мятежников». Губернский дом окружили постами георгиевцев, внутренние караулы заняли верные текинцы. На другой день генерала Корнилова и его соучастников перевели в одну из могилевских гостиниц, а в ночь на 12 сентября всех повезли в Старый Быхов, в наскоро приспособленное для заключения арестованных здание женской гимназии.

Ставка и город начали мало-помалу приходить в себя. Гарнизон несколько еще волновался: корниловцы испытывали тяжелое чувство недоумения, внутренних противоречий и подавленности от пережитой драмы; георгиевцы подняли головы. Ген. Алексеев поддержал нравственно первых, пристыдил вторых, обещая

прочесть длинные списки полученных ими за городские выборы «денежных подарков» от еврейского населения Могилева. На первом же смотру корниловцев он громко, в присутствии собравшейся толпы солдат и граждан сказал, что Корнилов не виновен в приписываемых ему преступлениях и что праведный суд снимет с него тяжелое и необоснованное обвинение...

Одно это коренное расхождение во взглядах до крайности затрудняло совместную службу его с Керенским. Но и, кроме этого, атмосфера Ставки становилась совершенно невыносимой: корниловские мероприятия для оздоровления армии были отброшены; армия волновалась, офицерство попало в еще более мучительное положение. «Я сознаю,— писал Алексеев одному из союзных военных агентов,— свое бессилие восстановить в армии хоть тень организации: комиссары препятствуют выполнению моих приказов, мои жалобы не доходят до Петрограда; Керенский рассыпается в любезностях по телеграфу и перлюстрирует мою корреспонденцию; невзирая на все обещания его, судьба Корнилова остается загадочной...» *. Еще более определенно высказался генерал Алексеев в письме своем к Кведину: «Три раза я взывал к совести Керенского, три раза он давал мне честное слово, что Корнилов будет помилован; на прошлой неделе он показывал мне даже проект указа, одобренный якобы членами правительства... Все ложь и ложь! Керенский не подымал даже этого вопроса... По его приказу украдены мои записки. Он или к... или сумасшедший. По моему — к...» В этом письме совершенно ново требование помилования. В Быхове шел разговор исключительно о реабилитации, и амнистия считалась совершенно неприемлемой. Также безрезультатны были его усилия вырвать из Бердичева находящуюся там в тюрьме группу генералов. Генерал Алексеев, не достигнув в этом отношении никаких результатов в смысле воздействия на Керенского, написал горячее письмо редактору «Нового времени» Б. Суворину, требуя, чтобы немедленно была поднята газетная кампания «против убийства лучших русских людей и генералов». Действительно, вскоре печать занялась нашим делом, хотя, впрочем, усиля ее только разжигали еще более страсти бердичевских военно-революционных организаций.

Но совершенно невыносимым стало положение ген. Алексеева, когда он получил неожиданное сведение, что его действия вызывают осуждение со стороны... ген. Корнилова, который считает, что с ликвидацией Ставки роль генерала Алексеева окончена и что дальнейшее пребывание столь авторитетного лица на посту начальника штаба только укрепляет морально позицию Керенского... Дальнейшая жертва оказалась ненадобной, и генерал Алексеев ушел.

На должность начальника штаба Верховного был призван генерал Духонин, начальник штаба Западного фронта.

Корниловское выступление закончилось.

В ряду катаклизмов русской революции это был едва ли не наиболее спорный в оценке его целесообразности и последствий. По первому вопросу я высказался раньше: нет надобности говорить о целесообразности явления, когда оно стало исторически неизбежным. По второму... Керенский считает корниловское движение «прелюдией большевизма» — оценка, имеющая вполне правильное обоснование, если только довести мысль до логического конца, определив, какой именно момент движения считать «прелюдией».

Таким моментом была, без сомнения, победа Керенского.

Победа Керенского — поражение Корнилова. Этот этап в историческом ходе революции своими ближайшими видимыми результатами вне исторической перспективы заслонил истинный характер движения, создав теории настолько же элементарные, насколько и близорукие: «контрреволюция», «бонапартизм», «авантюризм». Между тем выступление Корнилова было только хотя и односторонней, но яркой вспышкой на фоне долгой, тягучей и бездейственной борьбы между социалистической и либеральной демократией **. Корпус Крымова и офицерские организа-

* Chessin: «Au pays de la démence rouge».

** Правые партии были сметены революцией, и отдельные члены их входили в состав Совещания общественных деятелей и в петроградские военно-общественные организации.

ции, невзирая на преобладание, быть может, в командном составе их элементов более правых, являлись все же в силу сложившейся обстановки и характера организующего центра орудием либеральной демократии. Поэтому, когда в стане своих врагов корниловцы увидели всю революционную демократию и особенно приостановивший на время свое вооруженное выступление левый сектор (большевиков),— это было понятно и естественно. Но что из среды рыхлой, боязливой или инертной интеллигентской массы, сохранявшей «нейтралитет», на той стороне оказалось много, очень много видных либеральных деятелей — это являлось совершенно неожиданным, представляя большое и роковое историческое недоразумение. Газеты начала сентября наполнены резолюциями отделов партии народной свободы и общественных комитетов, из которых одни призывали к осторожности в вопросе осуждения Корнилова, другие выносили ему резкое осуждение, третьи присоединялись к клеветническим выпадам против него революционных организаций. Даже когда последние призывали русских воинов «не верить тем, кто во имя восстановления старого порядка готов предать свободу, предать родину и открыть путь немцам».

И это говорили или по крайней мере с этим соглашались те самые люди, которые только две недели тому назад на Московском совещании пели «осанну» Верховному Главнокомандующему, возлагая на него все свои надежды.

Вообще в эти дни несуществующее * правительство получило от самых разнообразных кругов огромную массу телеграмм и постановлений, выражавших доверие к нему, сочувствие и обещание активной поддержки: революционный этикет имел точно установленные и строго обязательные формы, скрывавшие истинную сущность...

Русская либеральная демократия в этот исторический момент проявила удивительное отсутствие прозорливости и даже простого политического такта. Все ждали, все хотели изменения порядка государственного управления, не могли заблуждаться относительно тех путей, которыми придет это изменение и тем не менее остались теплыми среди холодных и горячих — для того, очевидно, чтобы через два месяца приступить к лихорадочной организации «центров» и очагов восстания и сопротивления.

Буржуазия, распыленная и физически, и духовно, терялась во враждебной ей стихии, и часть ее из чувства самосохранения присоединяла свой голос к голосу тех, кто шествовал за победной колесницей.

Каким образом слагалась эта психология общественности в корниловские дни, поясняют следующие строки одного из видных общественных деятелей того времени:

«Перед страной было неудавшееся, сорванное выступление, которое нельзя было уже ни спасти, ни переделать.

Как могли отнестись ко всему этому так называемые общественные круги?»

«Многие поникли головой и опустили руки. Другие, еще державшиеся на поверхности и пытавшиеся еще что-то спасти, не имели ни времени, ни оснований останавливаться на несостоявшихся действиях и оценивать их в отвлеченности. Им оставалось только идти дальше. Наконец, третьи с резкостью напали на неудачную попытку, которая сыграла в пользу противников».

«Эти три течения были в кругах не социалистических. А среди этих последних стоял скрежет зубовный и клокотала небывалая ярость».

«Я нарочно очерчиваю сейчас общее обывательское состояние, ибо тогда все реагировало, все воспринимало, все отзывалось. Под этим общим настроением разумею и настроение массы членов партии к.-д. и примыкавших к ним. Эти настроения возникали и слагались сами, ибо никакой общей команды из центра партии не было».

«Нужно принять также во внимание и то, что во многих местах к.-д. были связаны разными техническими соглашениями с умеренными социалистами, входили в разные коалиции, которые отражали на местах коалицию Временного правительства. Наконец, нужно иметь в виду, что к.-д. были в составе Вр. правительства.

* Все министры подали в отставку.

И вдруг, это самое Вр. правительство объявляет стране, что готовилось на него, а не на Советы покушение. Очевидно, что для недоумения, соблазнов и неразберхи полной и общей было более чем достаточно оснований. Истинное положение стало выясняться только позднее. В «первые же дни», как это всегда бывает при неудаче, вихрем понеслись обвинения, порицания и проклятия. Эсеровские думы выли от злобы и бешенства. К.-д. фракция отражала названные выше настроения».

Правда, были и объективные условия, способствовавшие углублению недоразумения. В широких провинциальных кругах, мало посвященных в тайны нового «двора», настоящая физиономия Временного правительства и истинная роль в нем триумвирата и Керенского были недостаточно хорошо известны. Еще менее определеным казался политический облик Корнилова в силу исключительного положения его как военного вождя и вследствие конспиративного характера деятельности его окружения. Наконец, с самого своего начала в силу ряда неблагоприятных обстоятельств успех выступления представлялся весьма проблематичным...

Последнее обстоятельство — едва ли не самое главное. Я глубоко убежден, что техническая удача выступления в корне изменила бы всю политическую оценку корниловского движения. Нашлись бы и глубокая почвенность, и сочувствие широких либеральных кругов, и самое яркое, кричащее его проявление. В бесстрастном отражении истории отпадает вся театральная бутафория, созданная человеческой слабостью: резолюция общественных деятелей — дань революционной традиции, приносимая не раз «страха ради иудейска»... Проявление покорности правительству генералов — не только просто ненавидевших его, но и причастных к подготовке выступления... Постановления о своей непорочности и с порицанием «мятежу» — войсковых частей, военно-общественных организаций, неведомых «офицерских депутатов», даже столичных военных училищ, чуть ли не поголовно причастных к конспиративным кружкам... Все эти декорации создавали картину пожарища, где на обширном поле объединенные в несчастье сидят среди своего спасенного скарба — «завоеваний революции» — негодующая демократия, порицающая буржуазия и «обманутые» войска. А посреди мрачно высятся обгорелые стены Быховской тюрьмы.

Генерал Корнилов чувствовал себя всеми покинутым и болезненно нервно относился к сообщениям печати о своем «деле»:

— Я понимаю, что лбом стены не прошибешь, но зачем они так стараются...

Особенно удручали его слухи, что даже его детище — Корниловский полк снял свои карукавные знаки * и пошел «на поклонение новым богам». Слухи были неверны. Возмущенный ими командир полка, капитан Неженцев, писал: «Я приказал снять эмблему, так как был бессилен в борьбе с темной солдатской массой, разжигаемой... агитаторами, заполняющими все железнодорожные станции и, подобно кликушам, выкрикивающими с надрывом голосовых связок против Вас и полка, носящего Ваше имя... Но, сняв дорогую нам эмблему... мы ею прикрыли наш ум, наше сердце и волю»...

Как бы то ни было, после августовских дней в словаре революции появился новый термин — «корниловцы». Он применялся и в армии, и в народе, произносился с гордостью или возмущением, не имел еще ни ясных форм, ни строго определенного политического содержания, но выражал собою, во всяком случае, резкий протест против существовавшего режима и против всего того комплекса явлений, который получил наименование «керенщины».

К половине октября буржуазная пресса открыла кампанию в пользу реабилитации Корнилова, а на возобновившемся многолюдном «Совещании общественных деятелей» в Москве вновь послышалась «осанна» мятежному Верховному... Сначала робко — из уст Белевского, который говорил: «...нас называют корниловцами. Мы не шли за Корниловым, ибо мы идем не за людьми, а за принципами. Но поскольку Корнилов искренно желал спасти Россию,— этому желанию мы сочувствовали». Потом смелее — устами А. И. Ильина: «Теперь в России есть только две партии: партия развала и партия порядка. У партии развала — вождь Александр Керенский. Вождем же партии порядка должен был быть генерал Корнилов. Не суждено было, чтобы партия порядка получила своего вождя. Партия развала об этом постаралась». Оба заявления были встречены «громом аплодисментов».

* На голубом фоне череп со скрещенными костями и надпись «Корниловцы».

Мало-помалу положение стало проясняться. Снова начинало организовываться сбитое с толку в августовские дни общественное мнение, теперь уже явно сочувственное корниловскому движению.

Керенский победил.

Все трагическое значение этой победы обнаружилось на другой же день после ареста Корнилова: 2 сентября 3-му конному корпусу велено было двигаться к Петрограду для защиты государственного строя, Временного правительства и министра-председателя от готовившихся посягательств анархо-большевиков. В составе корпуса были все те же офицеры, которые вчера еще шли сознательно против Временного правительства, и только во главе корпуса вместо «мятежного» генерала Крымова стоял подлинно «царский» генерал Краснов, притом между Ставкой и Керенским происходили трения: последний намечал на должность корпусного командира генерала Врангеля.

Победа Керенского означала победу Советов, в среде которых большевики стали занимать преобладающее положение, упрочила позицию самочинно возникших левых боевых организаций в виде военно-революционных комитетов, комитетов защиты свободы и революции и т. д. Не приобретя ни в малейшей степени доверия революционной демократии — этот термин в понимании масс переместился теперь значительно влево,— Керенский окончательно оттолкнул от себя и Временного правительства те либеральные элементы, которые, пережив период паники, не могли потом простить ему своего ослепления; оттолкнул окончательно и офицерство — единственный элемент, забитый, загнанный, попавший в положение париев революции и все же сохранивший еще способность и стремление к борьбе. Потеряв решительно всякую опору в стране, Временное правительство считало возможным продолжать еще два месяца свои функции, заключавшиеся преимущественно в словесной регистрации тех явлений окончательного распада, которые переживало государство.

В октябре известная часть петроградской печати с легкой руки Бурцева выпускала зажигательные статьи и летучки под общим аншлагом:

«Керенский должен поехать в Быхов и сказать генералу Корнилову: виноват!»

Это предложение вызвало у одних гнев, у других улыбку и казалось тогда лишь более или менее остроумным полемическим приемом — не более того. Между тем официальная реабилитация Корнилова действительно была единственным выходом из положения, требовавшим от Керенского, по нашему разумению, справедливости, по его психологии — политического и нравственного самопожертвования; выходом, который в бесстрастном и нелицеприятном освещении истории стал бы актом высокой государственной мудрости.

В Быхов Керенский не поехал. Но... в конце ноября судьба заставила его поехать в Новочеркасск и постучаться в двери другого «мятежника», генерала Каледина, ища убежища и защиты. Дверь оказалась запертой.

В оправдание свое революционной демократией часто высказывается мнение, что корниловское выступление окончательно развалило армию, ибо «вся трудная работа армейских организаций по созданию новой дисциплины и взаимного доверия в армии была снесена этим неслыханным актом мятежа высшего офицерства»... * Та картина состояния армии, которую я привел в 1 томе, свидетельствует, что развал шел, неизменно прогрессируя, ибо не ставилось никаких преград этому процессу. И если дни выступления вызвали ряд новых кровавых расправ над несчастным офицерством, то это были только пароксизмы в общем течении социальной болезни, ставшей или вовсе неизлечимой, или требовавшей хирургического вмешательства. Подмена генерала революционным деятелем на посту Верховного

* Левый с-р. Штейнберг. От февраля по октябрь 1917 г.

не внесла большого доверия к военной власти: массовые перемены в старшем командном составе не изменили его внутреннего существа, так как в этой среде были «корниловцы», были перелеты, но не было вовсе «керенцев»; выброшенный за борт по подозрению в «контрреволюционности» новый десяток тысяч офицеров, ослабив интеллектуально армию, не сделал оставшийся состав более однородным и революционным.

Армия шла к предначертанному ей концу.

Но и в самом офицерстве под влиянием августовских событий произошло замешательство и некоторый психологический сдвиг. Замешательство при виде неустойчивого и сомнительного поведения многих старших начальников... Сдвиг — пока еще не в области политического миросозерцания, а лишь в поисках тех общественных группировок, которые удовлетворяли бы элементарным запросам их оскорбленного человеческого достоинства и возмущенного чувства патриотизма. В корниловские дни офицерство видело, что либеральная демократия, в частности кадеты, за немногими исключениями находится или «в нетях», или в стане врагов. Это обстоятельство они учли и запомнили. Оно сыграло впоследствии немаловажную роль в создании известных политических настроений в стане антибольшевистских армий. Офицерство больно почувствовало тогда, что его бросила моральио часть командного состава, грубо оттолкнула социалистическая демократия и боязливо отвернулась от него либеральная.

Все описанные явления произвели бурное волнение лишь в верхних слоях — политически действенных — русского взбаламученного моря и отчасти в армии. Глубин народных, того народа, во имя которого строилась, боролась, низвергалась власть, корниловское выступление не всколыхнуло. Совершенно безразлично отнеслась к нему деревня, занятая черным переделом; несколько более экспансивно рабочая среда в массе своих «беспартийных»; а безликий обыватель, еще более павший духом, продолжал писать теперь уже в Быхов — с мольбою о спасении, тщательно изменяя при этом свой почерк и опуская письма подальше от своего квартала.

Глава VIII. ПЕРЕЕЗД «БЕРДИЧЕВСКОЙ ГРУППЫ» В БЫХОВ. ЖИЗНЬ В БЫХОВЕ...

«Бердичевская группа арестованных» ехала беспрепятственно в Старый Быхов. Предполагалась враждебная встреча на станции Калинковичи, где сосредоточено было много тыловых учреждений, но ее проехали ранним утром, и вокзал был пуст. Из конского вагона в Житомире нас перевели в товарный — приспособленный, с нарами, на которые мы тотчас улеглись, и после пережитых впечатлений, вероятно, все заснули мертвым сном. Когда проснулись утром, вся обстановка в вагоне так разительно отличалась от той, вчерашней, которая еще давила на мозг и память, как тяжелое похмелье... Наша стража — караульные юнкера — относилась к нам с трогательным, каким-то застенчивым вниманием. Помощник фронтового комиссара Григорьев, зашедший в вагон, воодушевленно рассказывал, как его на вокзале «помяли» и как он «честил» революционную толпу. Казалось, что мы находимся в кругу своих доброжелателей и единственный, кто чувствует себя арестованным,— это очередной комитетский делегат, вооруженный револьвером в какой-то огромной кобуре, хранящий молчание и беспокойно поглядывающий по сторонам.

В Старом Быхове мы простились с нашими спасителями — юнкерами. Я не знаю ни имен их, ни судьбы: всех разметало по лицу земли, многих погубило русское безвременье. Но если кому-нибудь из уцелевших попадутся на глаза эти строки, пусть примет мой низкий поклон.

На станции нас ожидал автомобиль польской дивизии и брички. Я с Бетлингом * и двумя генералами сели в атомобиль; комитетчики запротестовали: при-

* Командир юнкерской полуроты.

шлось одного взять на подножку. Покружили по грязным улицам еврейского уездного города и остановились перед старинным зданием женской гимназии. Раскрылась железная калитка, и мы попали в объятия друзей, знакомых, незнакомых — быховских заключенных, которые с тревогой за нашу судьбу ждали нашего прибытия.

Явился к Верховному.

— Очень сердитесь на меня за то, что я вас так подвел? — говорил, обнимая меня, Корнилов.

— Полноте, Лавр Георгиевич, в таком деле личные невзгоды ни при чем.

Мы уплотнили население Быховской тюрьмы; я и Марков расположились в комнате генерала Романовского. Все пережитое казалось уже только скверным сном. У меня наступила реакция — некоторая апатия, а самый молодой и экспансивный из нас — генерал Марков — писал 29-го в своих летучих заметках:

«...Нет, жизнь хороша. И хороша — во всех своих проявлениях!..»

Ко 2 октября в тюрьме находились: генералы Корнилов, Деникин, Эрдели, Ванновский, Эльснер, Лукомский, Романовский, Кисляков, Марков, Орлов; подполковники Новосильцев, Пронин, Соотс; капитаны Ряснянский, Роженко, Брагин; есаул Родионов; штабс-капитан Чунихин; поручик Клецандо; прапорщики Никитин, Иванов; военный чиновник Будилович; И. В. Никаноров — сотрудник «Нового времени»; А. Ф. Аладьин — член 1-й Государственной думы.

Быховские узники менее всего похожи были на опасных заговорщиков.

Люди самых разнообразных взглядов, в преобладающем большинстве совершенно чуждые политике и объединенные только большим или меньшим соучастием в корниловском выступлении и безусловным сочувствием ему. Одни принимали в нем фактическое участие, другие попали на таких же основаниях, на которых можно было привлечь 9/10 всего офицерства, третьи — просто по недоразумению. Жизнь разметала их впоследствии: семеро из них погибло *; некоторые по своим взглядам и позднейшей деятельности ушли далеко от идейного содержания корниловского движения... Но тем не менее $1\frac{1}{2}$ месяца пребывания в Быховской тюрьме, близкое общение, совместные переживания, общая опасность и общие надежды оставили после себя живой след и добрую память. Отбросим темные пятна...

Быховские узники пользовались полной внутренней автономией в пределах стен тюрьмы. Ни Верховная следственная комиссия, ни представитель Совета — Либер, ни комиссары Вырубов и Станкевич, посещая тюрьму, не делали никаких посягательств на изменение внутреннего режима. Создавалось такое впечатление, будто всем было очень неловко играть роль наших «тюремщиков».

Корнилов в глазах всех заключенных оставался «Верховным»; его распоряжения исполнялись одинаково охотно как заключенными, так и чинами Текинского полка и офицерами георгиевского караула. Впрочем, распоряжения эти не выходили за пределы лояльности, за исключением разве льготного допуска посетителей и корреспонденции.

День в тюрьме начинался в 8 час. утра. После чая — прогулка и посещение нас близкими. Это право двукратного посещения в день для многих было особенно ценным и мирило с тягостным лишением свободы. С особого разрешения следственной комиссии, на практике — с разрешения коменданта, подполковника Текинского полка Эргардта, допускались и посторонние. Это было по преимуществу офицерство: члены комитета офицерского и казачьего союзов, чины Ставки, приятели... небольшого чина — все люди преданные и не стеснявшиеся столь «компрометирующей» в глазах правительства и Совета близостью к Быхову. За все полуторамесячное пребывание мое в Быховской тюрьме из старших чинов я видел там только генералов Абрама Драгомирова и Субботина. Из числа политических деятелей, так или иначе прикосновенных к корниловскому движению, не был никто: они не вели и переписки и вообще не подавали никаких признаков жизни.

Чаще других приезжали «по должности» комендант Ставки, полковник

* Корнилов, Романовский, Кисляков, Марков, Роженко, Будилович, Чунихин.

Квашнин-Самарин, бывший в мирное время адъютантом Архангелогородского полка, которым я командовал, и командир Георгиевского батальона, полковник Тимановский, ранее — офицер «Железной дивизии». Оба они были глубоко преданы и корниловскому делу, и лично нам и выдерживали яростный напор со стороны могилевских Советов, которым не давала покою Быховская тюрьма. Квашнин-Самарин парировал нападки Советов необыкновенным хладнокровием и тонкой иронией; Тимановский терпел, мучился и ждал только дня нашего освобождения, чтобы освободиться самому от нестерпимой жизни в развращенной среде георгиевских солдат.

Обедали за общим столом. Иногда присутствовал и Корнилов, который вообще предпочитал столоваться в своей камере и по нескольку дней не выходил на прогулку, чтобы, на всякий случай, приучить прислугу и георгиевский караул к своему длительному отсутствию...* Я приглядывался и прислушивался к новым людям. Разговор за столом также мало обличал «заговорщиков», перебегая с одной, подчас весьма неожиданной, темы на другую. Вот Аладьин, как-то особенно скандируя слова, что должно было означать английскую манеру, с пафосом говорит о Бердичеве, который за наши обиды «нужно стереть с лица земли так, чтобы на месте его не выросли джунгли»... Ему возражает Марков:

— Какая кровожадность в штатском человеке, и почему непременно джунгли, а не чертополох?

— Зачем вы сидите здесь, сэр Аладьин? — вмешивается, шутя, генерал Корнилов. — Неужели вам еще не надоело с нами?

Это деликатный вопрос: во всех свидетельских показаниях говорится, что Аладьин попал по недоразумению; его предлагают освободить — он не соглашается.

На другом конце стола Новосильцев с трудом отбивается от атаки Никанорова и Родионова, бичующих кадетскую политику. Новосильцев изнемогает, но, по счастью, появляется «громоотвод»: вмешивается Аладьин, оказавшийся единомышленником с крайними правыми.

— Позвольте, как так? Это говорит «трудовик» Аладьин, который после разгона первой думы подкимал финскую красную гвардию?..

В другом месте Эрдели начал о Толстом, с которым он в дальнем родстве и знаком был лично, и кончил параллелью между литературными типами французской и русской женщины, обнаружив неожиданно большую эрудицию и тонкое литературное чутье.

Мрачный Ванновский вполголоса, угрюмо бурчит о том, что «впереди мерзость запустения» и что «всему виною... отмена крепостного права».

Ему возражает Романовский:

— Конечно, это только образ? Но и он не верен: виною, очевидно, запоздалая отмена крепостного права...

Иногда в спор вмешивается Лукомский солидно, категорично, с некоторой иронией.

А с левого фланга по рукам передают рукопись кого-то из наших поэтов: Брагин — злободневный бытовик, Будилович — лирик.

Пополудни приходят газеты, и поэтому за ужином разговор ведется исключительно на злобу дня: ругаем правительство и Керенского, поносим Совет и ищем проблеска на политическом горизонте. Проблеска, однако, не видно. С 8 октября, после внушения, посланного Корниловым общественным деятелям, газеты переполнены нашим делом. У Маркова под этой датой записано: «До нас доходят тысячи слухов. Рекомендуют опасаться ближайших 10—12 дней. В какой еще водоворот попадешь».

Кисляков, проштудировав последний номер «Известий», меланхолически заявляет:

— Неважно... Как вы думаете — прикончат?

* На случай ухода из тюрьмы последним.

— Нас не за что, а вас — несомненно: подумайте, «какой позор!» — сам на себя восстал!..*

Талантливый и веселый человек, но не слишком мужественный. Напророчил себе несчастье: осенью 1919 года в дни большевистской вспышки в Полтаве, вскоре подавленной, проезжая по улице в генеральской форме, был буквально растерзан толпой.

Нет, положительно, не стан мятежников, а «клуб общественных деятелей» или военное собрание.

Вечером в камере № 6, как самой поместительной, собирались обыкновенно арестованные для общей беседы и слушания очередных докладов. Иногда доклады были дельные и интересные, иногда совсем дилетантские. Темы — крайне разнообразные: Кисляков докладывал, например, стройную систему организации временного управления с «вопросительным знаком» во главе, долженствовавшим изображать фигурально диктатуру; Корнилов рассказывал о мартовских днях в Петрограде; Никаноров — о торговых договорах и православной общине (приходы); Новосильцев рисовал милую пастель на тему о русской старине и роде Гончаровых; Аладьин делал экскурсию в область потустороннего мира. Никогда не выступал Лукомский. Он только оппонировал или поддерживал высказанные положения; характерной чертой его речи было всегда конкретное, реальное трактование всякого вопроса: он не вдавался в идеологию, а обсуждал только целесообразность. Его речь с некоторым оттенком скептицизма и обыкновенно хорошо обоснованная не раз умеряла пыл и фантазию увлекавшихся.

Все разговоры сводились, однако, в конце концов к одному вопросу, наиболее мучительному и больному, — о русской смуте и о способах ее прекращения.

Впрочем, политические идеалы вообще не углублялись, и поэтому быховцев не разделяли. Средством же спасения страны, невзирая на постигшую недавно неудачу, всеми признавалось только одно — заключавшееся в схеме Кислякова.

Глава IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БЫХОВА, СТАВКИ И КЕРЕНСКОГО. ПЛАНЫ БУДУЩЕГО. «КОРНИЛОВСКАЯ ПРОГРАММА»

Председатель следственной комиссии Шабловский принял поручение не от Керенского, а от Временного правительства. Это обстоятельство и давало ему довольно широкую свободу в определении «мер пресечения» и порядка содержания арестованных. Вмешательство Керенского не могло играть поэтому решающей роли, тем более что по ходу дела он являлся если не стороной, то, во всяком случае, главным свидетелем. Тем не менее Керенский требовал от комиссии скорейшего выполнения следствия и ограничения его в отношении военного элемента только установлением виновности «главных участников». Он понимал, что если углубить вопрос о корниловском движении, то правительство останется вовсе без офицеров.

Наружную охрану несла полурота георгиевцев, весьма подверженная влиянию Советов; внутреннюю — текинцы, преданные Корнилову. Между ними существовала большая рознь, и текинцы часто ломаным языком говорили георгиевцам:

— Вы — керенские, мы — корниловские, резать будем.

Но так как в гарнизоне текинцев было значительно более, то георгиевцы несли службу исправно и вели себя корректно.

Неоднократно проходившие через станцию Быхов солдатские эшелоны проявляли намерение расправиться с арестованными. Были случаи высадки и движения их в город. Впрочем, такие неорганизованные попытки быстро ликвидировались польскими частями, расквартированными в городе. Командир польского корпуса, генерал Довбор-Мусницкий, считая свои войска на положении иностранных, отдал распоряжение начальнику дивизии — не вмешиваясь во «внутренние

* Генерал Кисляков, находясь при Ставке, был товарищем министра путей сообщения, и мы шутя отождествляли его с членами Времен. правительства.

русские дела» и в распоряжения Ставки, не допускать насилия над арестованными и защищать их, не стесняясь вступать в бой. Действительно, два-три раза ввиду выступления проходивших эшелонов поляки выставляли сильные дежурные части с пулеметами, начальник дивизии и командир бригады приходили к нам уславливаться с Корниловым относительно порядка обороны.

Тем не менее угроза самосуда все время висела над быховцами. Советский официоз, за ним вся левая печать громко, иногда истерически требовали вывода нас из Быхова и применения каторжного или по крайней мере арестантского режима. Переведенный в Ставку большевистский генерал Бонч-Бруевич *, назначенный начальником могилевского гарнизона, на первом же заседании местного Совета солдатских и рабочих депутатов сказал зажигательную речь, потребовав удаления текинцев и перевода быховцев в могилевскую тюрьму, и с этим требованием во главе депутации явился к Керенскому... Эволюция генерала Бонч-Бруевича по моральным его свойствам хотя и не была неожиданной, но представляет все же известный психологический интерес: в дни первой революции (1905—1907 гг.) в печати появился ряд его статей, изданных потом отдельным сборником, в которых наряду с проявлением крайних правых воззрений он призывал к бессудному истреблению мятежных элементов...

Мелочи жизни: книжку Бонч-Бруевича быховцы отыскали и послали могилевскому Совету с надписью приблизительно такого содержания: «Дорогому могилевскому совету от преданного автора». Не воздействовало: совдеп знал цену людям... с таким широким моральным диапазоном.

Одновременно принимались меры воздействия на текинцев с целью их удаления из Быхова. С мест шли вести, что Закаспийскую область постиг полный неурожай и семьям текинцев угрожает небывалый голод. В то же время Туркменский областной съезд ходатайствовал перед Керенским об отправлении полка в Персию — «вдаль от колес русской революции и лиц, могущих воспользоваться им как слепым орудием», считая, что в корниловском деле полк «действовал против русского народа», уронив себя в глазах «товарищей-солдат, вполне основательно могущих питать (к нему) недоверие и подозрительность». Несомненно, это постановление съезда было инспирировано извне. Корнилов в письме к Каледину, прося его оказать помощь хлебом семьям текинцев, так объяснял происхождение постановления: «Г. Керенский, которому не удалось заставить Текинский полк покинуть меня в критическую минуту, для того чтобы по уходе его организовать над нами самосуд, теперь пытается сбить с толку текинцев, стараясь повлиять на них через Закаспийский областной комитет»...

В то же время шли переговоры между Керенским и Исполнительным комитетом о замене текинской охраны сводным отрядом, составленным по выбору от... армейских комитетов.

Ставка под напором всех этих давлений начала сдавать. Получено было сведение о переводе нас в местечко Чериков, удаленное верст на 80 от железной дороги и занятое гарнизоном из четырех разложившихся запасных батальонов... Позднее, уже в дни октябрьского выступления большевиков, польский гарнизон получил распоряжение об уходе из Быхова, и начальник польской дивизии прибыл к нам в тюрьму со своим недоумением. Все это заставляло нервничать быховских заключенных; генерал Корнилов слал в Ставку грозные и резкие послания; было заявлено, что увод поляков и текинцев, а также перевод в Чериков равносильны выдаче нас на самосуд черни, что из Быхова мы не уйдем и не остановимся перед вооруженным сопротивлением, оставляя последствия его всецело на совести начальства Ставки.

Ставка нервничала еще более. Генерал Дитерихс (генерал-квартирмейстер) присылал от себя и от имени начальника штаба успокоительные заверения. 29 октября он, между прочим, писал генералу Лукомскому: «Увод текинцев — вымысел. Пока мы здесь с Духониным, этого не будет; и для того, чтобы сохранить текинскую охрану как у вас, так и у нас, мы согласились на уступку влия-

* Впоследствии «военный руководитель» большевистского «Верховного совета». («Высшего военного совета».— Прим. ред.)

ниям со всех сторон (что было необходимо для данного момента) временно взять комендантом этого субъекта *... С поляками вышло недоразумение. Будьте покойны». В конце он прибавлял: «Ради Бога, желательно смягчать выражения генерала Корнилова, так как они истолковываются в совершенно определенном смысле. Сегодня в Минске вспышка, т. к. разнесся слух, что генерал Корнилов бежал. Из-за этого на весь сегодняшний день невероятно осложнилась обстановка на Западном фронте, и нам не пропускают ни одного эшелона, то есть потерян еще один день».

В лице Духонина, ставшего фактически Верховным главнокомандующим, Керенский и революционная демократия, представленная комиссарами и комитетами, нашли действительно тот идеал, который они долго и напрасно искали до тех пор. Духонин, храбрый солдат и талантливый офицер Генерального штаба, принес им добровольно и бескорыстно свой труд, отказавшись от всякой борьбы в области военной политики и примирившись с ролью «технического советника» — той ролью, которую революционная демократия мечтала навязать всему командному составу. Судьба как будто хотела, чтобы и этот последний опыт подчиненного сотрудничества с революционной демократией был произведен над умирающей армией — опыт, оказавшийся наименее удачным. Духонина никто из них не подозревал в малейшем отсутствии лояльности. Он не препятствовал продолжавшимся упражнениям новоявленных творцов «революционной армии», хотя и не облекал свое отношение к ним в пафос и ложь брусиловской тактики.

Духонин стал оппортунистом par excellence. Но в противовес другим генералам, видевшим в этом направлении новые перспективы для неограниченного честолюбия или более покойные условия личного существования,— он шел на такую роль, заведомо рискуя своим добрым именем, впоследствии и жизнью, исключительно из-за желания спасти положение. Он видел в этом единственное и последнее средство.

Взаимоотношения Быхова и Могилева (Ставки и «Подставки», как острили в Совете) были поэтому весьма оригинальны. Ставка, несомненно, сочувствовала в душе корниловскому движению. Духонин и Дитерихс испытывали тягостное смущение нелоакости, находясь между двух враждебных лагерей. Сохраняя полную лояльность в отношении к Керенскому, они в то же время тяготились подчинением ему и отождествлением с этим лицом, одиозным для всего русского офицерства; их роль, наших официальных «тюремщиков», также была не особенно привлекательна; моральный авторитет Корнилова в глазах офицерства сохранился, и с ним нельзя было не считаться. Не раз Быхов давал некоторые указания Могилеву, которые по мере возможности Ставка исполняла. Однажды Духонин прислал словесно просьбу Корнилову не приводить в исполнение его якобы намерения — выйти из Быхова и завладеть Ставкой, приводя ряд мотивов о нецелесообразности, несвоевременности и гибельности для общего дела этого шага. Из тревожных и искренних слов Духонина можно было заключить, что он, осуждая в принципе ожидавшийся переворот, решительно никакого противодействия появлению Корнилова не окажет... Духонин, конечно, получил из Быхова успокоительные заверения, что это только вздорные слухи.

Между тем в Быхове слагался определенный взгляд на характер дальнейшей деятельности.

Вскоре после прибытия бердичевской группы на общем собрании заключенных поставлен был вопрос: продолжать или считать дело оконченным?

Все единогласно признали необходимым «продолжать». Загорелся спор о формах дальнейшей борьбы. По инициативе, кажется, Аладьина нашлось немало защитников создания «корниловской политической партии». Я решительно протестовал против такой своеобразной постановки вопроса, так не соответствовавшей ни времени и месту, ни характеру корниловского движения, ни нашему профессиональному призванию. Я считал, что имя Корнилова должно стать знаменем,

* Духонин отрешил от должности преданного корниловскому делу коменданта Ставки, полковника Квашнина-Самарина, и назначил советского избранника, полковника Инскервелли.

вокруг которого соберутся общественные силы, политические партии, профессиональные организации — все те элементы, которые можно объединить в русле широкого национального движения в пользу восстановления русской государственности. Что, став в стороне от всяких политических течений, нам нужно лишь восполнить пробел прошлого и объявить строго деловую программу — не строительства, а удержания страны от окончательного падения. Этот взгляд был принят, и в результате работы небольшой комиссии при моем участии появилась утвержденная Корниловым так называемая «корниловская программа».

«1) Установление правительственной власти, совершенно независимой от всяких безответственных организаций — впредь до Учредительного собрания.

2) Установление на местах органов власти и суда, независимых от самочинных организаций.

3) Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России.

4) Создание боеспособной армии и организованного тыла — без политики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой дисциплиной.

5) Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упорядочения транспорта и восстановления продуктивности работы фабрик и заводов; упорядочение продовольственного дела привлечением к нему кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством.

6) Разрешение основных государственных, национальных и социальных вопросов откладывается до Учредительного собрания».

Так как технически было неудобно опубликовывать «программу Быхова», то в печати она появилась не датированной, под видом программы прошлого выступления.

Другой серьезный вопрос был разрешен в более тесном кругу старших генералов вполне единодушно: хотя побег из Быховской тюрьмы не представлял затруднений, но он недопустим по политическим и моральным основаниям и может дискредитировать наше дело. Считая себя — если не юридически, то морально — правыми перед страной, мы хотели и ждали суда. Желали реабилитации, но отнюдь не «амнистии». И когда в начале октября нам сообщили, что Керенский заявил Аджемову и Маклакову, что суда не будет вовсе, это обстоятельство сильно разочаровало многих из нас.

Побег допускался только в случае окончательного падения власти или перспективы неминуемого самосуда. На этот случай обдумывали и обсуждали соответствующий план, но чрезвычайно несерьезно. В конечном итоге заготовлены были револьверы, несколько весьма примитивных фальшивых документов, штатское платье и записаны три-четыре конспиративных адреса, в возможность использования которых у меня лично не было никакой веры.

Генерал Корнилов тяготился несколько вынужденным бездействием, но до большевистского выступления вопроса этого больше не подымал. О «занятии Ставки» говорили только разве шутя.

Тем не менее вне быховских стен создалось совершенно определенное убеждение о предстоящем нашем побеге. Ставка умоляла не делать этого; советская печать несколько раз сообщала о побеге как о совершившемся факте; Завойко из Петрограда в каждом письме к Корнилову предостерегал от «необдуманного и беспричинного побега», который «может послужить к провалу всего дела»; Быхов «провожал» нас ежедневно и однажды я был немало изумлен, когда священник, служивший у нас в тюрьме вечерню, взволнованно и с глубоким чувством вознес особые молитвы, чином вечерни не установленные... о путешествующих.

Общее мнение укрепилось окончательно, когда Текинский полк стал чинить вьюки и ковать лошадей...

Я думаю, что больше всех наш побег доставил бы удовольствие Керенскому.

Чтобы облегчить нам вынужденный уход из Быхова, в особенности если бы пришлось идти походом с текинцами, принимались меры к постепенному освобождению арестованных. В этом нам содействовали и Ставка, и Верховная следственная комиссия. Корнилов не раз убедительно просил Духонина путем сношения с Керенским или с Шабловским добиться скорейшего освобождения из Быхова ряда лиц, «привлечение которых к его делу и дальнейшее содержание в заключении является сплошным недоразумением». Действительно, к 27 октября ушла из тюрьмы половина заключенных, позднее и прочие, за исключением генералов Лукомского, Романовского, Маркова и меня, которые принципиально должны были оставаться до конца с генералом Корниловым.

Большое затруднение для нас представляло полное отсутствие денежных средств. Широкое субсидирование корниловского выступления крупными столичными финансистами, о котором так много говорил в своих показаниях Керенский, — вымысел. В распоряжении «диктатора» не было даже нескольких тысяч рублей, чтобы помочь впавшим в нужду семьям офицеров, выброшенных за борт и вообще пострадавших в связи с выступлением. Необходимо было помочь закупкой хлеба семьям текинцев, позаботиться приобретением для всадников Текинского полка на случай зимнего похода теплой одежды и т. д. Наконец, нелегко было положение самих быховцев, которых Керенский лишил содержания. Семейные бедствовали. Вместо содержания Керенский, лишенный чувства элементарного такта, приказал выдавать небольшие пособия из своих (по должности Верховного Главнокомандующего) экстраординарных сумм. Одни отвергли, другие по нужде брали. Это распоряжение было совершенно незаконным, так как даже подследственным арестованным полагалось половинное содержание, а быховские узники по компетентному разъяснению председателя комиссии Шабловского «не могли почитаться состоящими под следствием * и поэтому не лишены были права на получение содержания».

По этому поводу одним из заключенных, прапорщиком Никитиным, подана была жалоба в сенат с просьбой: «1) распоряжение Главковерха отменить, 2) привлечь присяжного поверенного Александра Керенского, по должности Верховного Главнокомандующего, к ответственности по таким-то статьям за превышение власти»...

Для поддержания средств существования быховцы затеяли издание альманаха, из которого, впрочем, ничего не вышло.

Генерал Алексеев через Милюкова еще 12 сентября обратился к Вышнеградскому, Путилову и др. «Семьи заключенных офицеров, — писал Алексеев, — начинают голодать. Для спасения их нужно собрать и дать комитету союза офицеров до 300 тыс. рублей. Я настойчиво прошу их прийти на помощь. Не бросят же они на произвол судьбы и голодание семьи тех, с которыми они были связаны общностью идеи и подготовки». Результаты этого обращения мне неизвестны.

Только в конце октября Корнилову привезли из Москвы около 40 тыс. рублей, которыми он мог удовлетворить важнейшие нужды.

Между тем на этой почве в столице и других местах развивался крупный шантаж. В Быхов начали поступать сведения, что к состоятельным людям и в банки приходят какие-то неведомые лица и обращаются с требованием больших сумм на «тайную корниловскую организацию». Предъявляют записки московских общественных деятелей, иногда «собственноручные» якобы письма Корнилова.

Под влиянием этих сведений после большевистского переворота в начале ноября генерал Корнилов по настоянию прапорщика Завойко, которому продолжал еще доверять, согласился на образование им «единой центральной кассы в Новочеркасске, особого комитета и контроля для распоряжения этими (собираемыми) деньгами и наблюдения за их использованием». Вместе с тем, Корнилов подписал присланные Завойко письма к 12 финансистам с предложением жертвовать в пользу создающихся вокруг него организаций для борьбы с большевизмом, указывая, что единственным его доверенным лицом по сбору денег является Завойко. Я не знаю, откликнулись ли адресаты, но к декабрю в Новочеркасске — и в распоряжении Корнилова, и в фонде Добровольческой армии, организовавшейся Алексеевым, — денег не оказалось.

Последний эпизод, быть может, обусловлен недоверием к новому Минину (Завойко), но вообще постановка финансового вопроса весьма показательна. Я

* Пока шло только «расследование».

остановился несколько на ней, считая небезынтересным своеобразное отношение крупной буржуазии к антисоветскому и антибольшевистскому движению — той самой крупной буржуазии, которую революционная демократия тщится представить вдохновительницей и покровительницей движения, созданного якобы на ее средства и для ее благоденствия. От буржуазии генералы Алексеев и Корнилов требовали жертв, но служили не ей, а народным, национальным интересам. Быть может, это обстоятельство и вызывало те трудно преодолимые препятствия, которые они встречали не только в среде враждебной, но и в другой, казалось бы, заинтересованной в наступлении правового порядка.

Куда уходить в случае нужды?

Только на Дон. Вера в казачество была сильна по-прежнему; совет казачьих войск, находившийся в постоянных сношениях с Быховым, гальванизировал эту веру, добросовестно заблуждаясь и не чувствуя, что он, как и вся казачья старшина, оторван от казачьей массы и давно уже не держит в своих руках реальной силы — войска. В Быхове составлялась преподанная Ставке дислокация казачьих частей для занятия важнейших железнодорожных узлов на путях с фронта к югу, чтобы в случае ожидаемого крушения фронта сдержать поток бегущих, собрать устойчивый элемент и обеспечить продвижение его на Юг. В то же время шла деятельная переписка между Корниловым и Калединым.

Каледин сам еще находился в опале и в совершенно неопределенном служебном положении. В дни корниловского выступления Временное правительство, обвинив его «в мятеже и в желании путем занятия донскими частями железнодорожных узлов отрезать Донецкий бассейн от центра», отдало приказ об отрешении Каледина от должности, об аресте его и предании суду. Дон не выдал своего атамана и не допустил его устранения. Керенский лихорадочно собирал улики и не находил решительно ничего, что могло бы изобличить в нелояльности донского атамана. Временное правительство оказалось в чрезвычайно неловком положении и тщетно искало не слишком компрометирующего его выхода. 17 октября Керенский в разговоре с донской депутацией признал эпизод с калединским мятежом «тяжелым и печальным недоразумением, которое было следствием панического состояния умов на юге». Это не совсем верно: паника имела место главным образом на севере; ее создали своими заявлениями Авксентьев, Либер, Руднев (московский городской голова), Верховский, Рябцев (помощник команд. войск. Московск. округа) * и многие другие. Официальной реабилитации, однако, так и не последовало, и атаман, объявленный мятежником, к соблазну страны два месяца уже правил в таком почетном звании областью и войском.

Каледин едва ли не трезвее всех смотрел на состояние казачества и отдавал себе ясный отчет в его психологии. Письма его дышали глубоким пессимизмом и предостерегали от иллюзий. Даже на прямой вопрос, даст ли Дон убежище быховским узникам, Каледин ответил, хотя и утвердительно, но с оговорками, что взаимоотношения с Временным правительством, положение и настроение в области чрезвычайно сложны и неопределенны.

Таким образом, начало возникать сомнение в ценности единственной, как тогда представлялось, исходной базы для дальнейшей борьбы. Корнилов был склонен приписывать это освещение субъективным побуждениям казачьих верхов. В этом убеждении его усиленно поддерживал Завойко, пробравшийся в Новочеркасск. В каждом своем письме он рисовал широкими мазками народные якобы настроения: «Ваше имя громадно, его двигает вперед уже стихия; за ним стоят не отдельные силы или люди, а в полном смысле слова — стихия»... И кстати добавлял: «Здесь на Дону Ваше имя и значение — бельмо на глазу Богаевского **, он полностью забрал в свои руки Каледина и в этом направлении влияет на него; здесь политика по отношению к Вам — двуличная и большая личная ревность. Боятся, что Вы будете наверху, боятся, что Вы не позволите пожить за счет других (?) и т. д.»...

Подобные ориентировки не проходили бесследно, отражаясь на взглядах и

* Первый донес о «калединском мятеже».
** М. Богаевский, помощник донского атамана.

настроении Корнилова. Весьма сдержанно отнесся он также к полученному известию, что 2 ноября приехал в Новочеркасск генерал Алексеев и приступил там к формированию вооруженной силы.

Вообще наряду с ожиданием самосуда в Быховскую тюрьму набегала волна, заносимая многочисленными посетителями и обширной почтой, — волна, выносившая «быховских узников» на авансцену политической жизни. Не в таких кричащих тонах, как в письмах Завойко, но в таком же свете представляли они общественные настроения в отношении корниловского движения. Цель Завойко, о т д а л е н н о г о от Быхова, довольно определенно сквозила в строках одного из писем: «Помните, что стихия за Вами; ничего, ради Бога, не предпринимайте, сторонитесь всех; Вас выдвинет стихия; Вам не надо друзей, ибо в должный момент все будут Вашими друзьями... За Вами придут — это делаю и я»... Другие приносили Корнилову свою искреннюю веру и свое добросовестное, но чисто индивидуальное и зачастую ошибочное понимание текущих событий.

А стихия действительно бушевала. Но стихия, всецело враждебная корниловскому движению. В его орбите оставались только неорганизованное офицерство и значительная масса интеллигенции и обывательщины, распыленная, захлестываемая, могущая дать искреннее сочувствие, но не силы, нужные для борьбы.

(Продолжение следует.)

Илья ГАБАЙ

На темы Иова

В ночь после смерти Ильи Габая я перечел его стихи, и заново открывшегося слуха словно впервые коснулся пронзительный трагизм их звучания. «Мне невозможно жить», «Мне стыдно, что я жив, когда творят правеж безжалостность и жадность, ложь и вошь»,— слова, произносимые в худую минуту многими, искренне и в то же время риторично, для него были исполнены смертельной серьезности.

В марте 1971 года он писал мне из Кемеровского лагеря о своих стихах: «Я недавно многие из них перечел (мысленно) и подивился одному обстоятельству: многое все-таки было предугадано. Интересно, интуиция ли это или как-то малозаметно подгоняешь жизнь под стихи, которые все-таки при всех обстоятельствах — определенная квинтэссенция помыслов».

Стихи всегда были о самом главном для него, а по сути — единственном: о трагическом самоощущении человека, обнаженная душа которого воспринимает, как свои, все боли времени, о страстных поисках достойной позиции в трудном, противоречивом мире.

Значит, должен я выискать место
В этом крошеве местей и свар?..
По какому наитию? Чести?
Но откуда ж мне ведома честь
Государственных тяжб и воительств?

Илья Габай известен как правозащитник; но политиком его вряд ли можно назвать. В своем последнем слове на суде в 1970 году, ярком, страстном, умном слове, которое, надеюсь, когда-нибудь войдет в хрестоматию по истории нашей общественной мысли, он по праву мог заявить: «Мне, я думаю, несвойственно общественное честолюбие». Исходным мотивом его действий всегда был нравственный импульс, чувство невозможности терпеть:

Ах, слава Богу, мы не Робеспьеры.
Но почему должны терпеть мы стыд?

Любимым героем Ильи всю жизнь был Дон Кихот. Он говорил мне об этом в первый год нашего знакомства, когда мы оба учились в педагогическом институте, и верность «священному донкихотству» сохранил до конца.

Я не встречал человека, столь чувствительного к чужой беде, незащищенности, униженности, столь неспособного переносить ложь, фальшь, несправедливость. И его участие в движении, которое потом стало называться правозащитным, оказалось естественным, само собой разумеющимся. Впрочем, тогда это еще не воспринималось как движение. Встречались, знакомились, собирались люди самых разных возрастов, специальностей, судеб, достоинств, даже взглядов — хотя взглядам еще лишь предстояло во многом оформиться и уточниться,— и все эти знакомства, обсуждения, споры немало тому способствовали. Объединяла этот людской конгломерат разве что неудовлетворенность общественным состоянием, потребность понять что-то в нем, в своей истории, что-то, может быть, изменить. Это незрелое поначалу движение со временем принимало форму различных протестов, заявлений, писем и демонстраций.

5 декабря 1965 года Габай принял участие в одной из первых правозащитных демонстраций на Пушкинской площади, затем в другой — против введения

статьи 190[1] Уголовного кодекса («распространение заведомо ложных измышлений») — той самой, по которой его потом и осудят. Перед судом Габай впервые предстал в феврале 1967 года. Дело пошло как-то необычно: сначала было возвращено для доследования, потом, в июне, неожиданно прекращено.

В августовские дни 1968 года Ильи не оказалось в Москве — он уехал на заработки с археологической экспедицией в Молдову; можно не сомневаться, что иначе он стоял бы с друзьями на Лобном месте во время той знаменитой демонстрации. Я помню, грешным делом, испытал по этому поводу облегчение. Но речь опять могла идти только об отсрочке — иначе он просто не мог.

Философы утверждают, что ситуация, в которой оказывается человек, не совсем для него случайна: она знак его личности, и судьба, быть может, заложена в душевной структуре, как в генетическом коде.

Я ощутил до богооткровения,
Что я погиб, что лето не спасенье,
Что воробьи и солнце не спасут,—

это было написано в то самое, молдовское, лето. Габай вернулся в Москву в начале сентября — вырвался, не дожидаясь конца экспедиции. Мы встретились с ним во дворе суда, где проходил процесс над участниками августовской демонстрации. Об этом есть его очерк «У закрытых дверей открытого суда». В октябре он уехал в Ивановскую область, ему была обещана работа в деревенской школе; в Москве он уже не мог устроиться. Но долго не выдержал, кажется, уже зимой вернулся и с головой ушел в нараставшую правозащитную деятельность. Печатались с его участием «Хроники текущих событий», составлялись письма и обращения, приезжали из Средней Азии и останавливались у него крымские татары, он ходатайствовал по их делам.

19 мая 1969 года его арестовали в последний раз, в январе 1970-го осудили на три года и отправили в Кемеровский лагерь общего режима.

В лагере, выкраивая редкие свободные минуты, Габай писал последнюю свою поэму «Выбранные места», где в форме воображаемой переписки с друзьями заново осмысливал основные мотивы своей жизни и творчества. Реальных примет каторжного быта в этих стихах практически нет. Илья и в письмах из лагеря был поразительно сдержан. Это не просто оглядка на цензуру. Это была душевная собранность, не допускавшая жалоб, перекладывания на других своих тягот. Даже вернувшись, он рассказывал о пережитом скупо, и лишь изредка прорывались подробности блатных расправ, лагерных унижений и невзгод.

Однако трагизм звучания этих стихов определяется не только обстановкой, в которой они создавались. Илья умел, как немногие, веселиться, бывал удивительно остроумен, легок, не особенно страдал от внешней неустроенности быта: но мироощущение его, выразившееся в стихах, трагично в самой основе. Чтобы не быть трагичным в трагической действительности, надо либо обладать известной степенью толстокожести, способностью отстраняться, не замечая этого трагизма,— либо возвыситься до некоего надличного представления о мире как о вечном и неизбежном круговороте жизни и смерти, радости и страданий — представления, не знающего ни страха перед миром, ни отрицания, ни оправдания его. У Габая нет примирения с жизненным трагизмом, приятия его, уважения к нему, столь близкого равнодушию. Терпя в своем поиске поражение за поражением, он не отказывается от него — он не верит в право души не задавать вопросов, не искать выхода из противоречий:

Своди — но воедино **как** свести?
Ищи рубеж — но **где** его найти?

Он так и не сумел свести воедино свой трагически разорванный мир. Тот, кому это удалось, пусть спросит себя: какой ценой?

К концу срока состояние Ильи становилось все более тягостным: «Ослабел я маленько, брат,— писал он мне,— поверишь, дошел до того, что пару ночей назад взял подшивку прошлогодних «Огоньков» и стал решать кроссворд за кроссвордом». В следующем письме он спешит извиниться за сорвавшееся сетование: «Судя по тому, как ты меня постоянно успокаиваешь, я написал тебе, очевидно, неврастеническое и мизантропное письмо. Прости, дружище, что-то, стало быть, не ладилось с самоконтролем». В последнем письме, пришедшем из лагеря, все же вырвалось: «Я сильно устал, душевно особенно... Но это сетование привычное и, подозреваю, малопонятное».

Можно только вообразить, как он при тогдашнем нервном состоянии считал дни и что значило для него, когда за два месяца до конца срока, в марте, его перевели в Москву для дачи показаний по некоему новому делу. Это был рассчитанный ход изощренных тюремных психологов.

Для Габая начался новый тур допросов, давления и угроз. Угрозы касались теперь не только его, но и его близких и друзей. Ему заявляли, что многие из них уже арестованы, требовали показаний на них. Делалось как будто все, чтобы выбить из него формальное раскаяние и отречение. Добиться удалось куда меньшего — обязательства воздерживаться от общественной деятельности. С тем его пока и выпустили.

19 мая 1972 года мы с женой Ильи Галиной и Юлием Кимом всю ночь дежурили у Лефортовской тюрьмы: вдруг выпустили бы его сразу после полуночи, с началом новых суток; кто-то сказал, что формально такое возможно. Ждали почти до полудня с нараставшей тревогой: неужели не выпустят? — и не решались навести справки. Оказалось, Илья в это время уже был дома. Его выпустили в восемь утра через дверь следственного корпуса, за которой мы к этому времени перестали следить. Может, умышленно постарались предотвратить нашу встречу. До нашего приезда он успел принять ванну, переоделся и встретил нас до удивления не изменившимся — даже волосы отросли за время следствия; разве только худее, чем обычно, какой-то миниатюрно-тонкий, но и это стало привычным через полчаса. А речь, шутки, интонации — те же, как будто лишь вчера расстались...

И только на фотографии, приклееной к документу об освобождении, он был совсем на себя не похож (так неузнаваем потом был он в гробу). Возможно, фотообъектив выявил то, чего в первый момент не разглядели мы: это был уже потрясенный человек.

Потянулись месяцы неустроенности, поисков работы, безденежья, новых вызовов и допросов. Жить приходилось на зарплату жены, кое-что подбрасывали друзья; иногда удавалось достать приработок, чаще оформленный на чужое имя. Положение было нервным, неопределенным. Уже начинала поторапливать с трудоустройством милиция. Но его нигде не брали. Сотрудники КГБ, в свое время обещавшие помочь, демонстративно удивлялись трусости отделов кадров (как им было не удивляться!). Наконец, подыскали место корректора в газетной редакции. Утомительное механическое чтение мелкого шрифта при его зрении и нервах сказывалось болезненно, он приходил с работы разбитый, и это вплеталось в общую подавленность и бесперспективность.

В июне арестовали Петра Якира, одного из особенно близких Илье людей, вскоре за ним Красина; происшедшее с ними было для Габая серьезным ударом. Колебалось, утрачивало прочность то, что прежде было жизненной опорой. На очередных вызовах и допросах Илье стали предъявлять новые показания, требовали новых показаний от него. Однажды спросили: не собирается ли он уехать за границу? Он ответил, что ему не хотелось бы. Но здесь он не видит никакой возможности жить и работать. «Держать вас не будем»,— намекнули ему.

Этот способ избавляться от неудобных людей был опробован и по-настоящему пущен в ход, когда Илья был еще в лагере. В письме туда я рассказывал ему об одном нашем общем знакомом, который одним из первых использовал этот путь. Илья отвечал: «Трудно поверить, что он мог когда-нибудь кровно воспринимать сионские боли. Я тоже, наверное, не смог бы — а без этого как же жить там?».

За день до смерти он объявил близким, что все-таки решился уехать. Порой мне кажется, что отъезд оказался бы вариантом отсрочки,— не представляю его там...

Однажды он обрадовал меня, сказав, что вновь пробует писать, вчитывается в библейскую «Книгу Иова» для продолжения своей поэмы, начатой еще в 1963 году. В этих страстных стихах уязвимый и уязвленный Бог обращается с мольбой и требованием к человеку: «Не предавай меня, Иов!» — ведь само существование его возможно лишь благодаря человеческой истовости в поисках.

Собственные стихи как бы стояли на страже: стихи-обет, стихи-напоминание, стихи-укор... И теперь-то, после пережитого,— как мог бы он написать «Иова»! Если бы дело было только за душевным опытом! Дальше выписок, однако, не пошло. В последний день августа 1973 года я, провожая его от себя, спросил, пишется ли ему. Он усмехнулся:

— Я, может, скорей напишу последнее письмо.

И я все еще не слышал? Слышал, как же! Мы говорили об этом с друзьями, гадали, что бы придумать, и не могли придумать больше, чем помочь деньгами, подыскать заработок; надеялись на таблетки, на то, что обойдется,— а он уже падал, падал со смертельной высоты, медленно, как в страшном сне,—и, как во сне, мы не умели шевельнуться, чтобы удержать его...

20 октября 1973 года Илья бросился с балкона своей квартиры на одиннадцатом этаже. В предсмертной записке он просил близких и друзей простить все его вины: «У меня не осталось ни сил, ни надежды». Сам почерк записки и то, как он позаботился положить рядом с ней очки, подтверждают, что все совершалось в ясном разумении.

Заупокойную службу по нему, неверующему, служили в православной церкви (что возле Преображенского кладбища), в иерусалимской синагоге и в мусульманской мечети: крымские татары убедили муллу забыть о недозволенности отпевать самоубийцу.

Он погиб тридцати восьми лет, трагически доказав подлинность своей человеческой и поэтической последовательности. Как немыслим для него был разрыв, зазор между стихами и жизнью, так не оказалось его между стихами и смертью.

Марк ХАРИТОНОВ

Из поэмы «Книга Иова»

Есть честный страх: в текучке
лживой,
В такой-то месяц, час, число
Вдруг променять на живость слов
Живую боль и душу живу.

Быть знатоком словесных дел,
Лихим в литье аллитераций
Куда как проще, чем пробраться
К людскому лиху, чем отдаться,
Чем сжить себя в людской беде.

Уходит доброта — куда?
Куда впадает? В злую скуку?
В немилость? В острословье?
В скупость?

На милость? В щедрость на удар?
Куда уходит доброта?

Чужое — просто сокрушить:
Легки — чужие крах и сломы...
Как мало смысла — много злобы
На нашу маленькую жизнь!

Так ль слово «жалость» —
скверный тон?

Так ль уж постыдно слово
«милость»?
Вы их превыше, ваша милость,
Я — ниже! И стою на том!

Еще и то: сознанье — суд.
Суд над собой. В самосудействе
Ни каламбур, ни лицедейство
От «есть ли в поле?» не спасут.

Необязательность изъятий
Есть смена лжи и почестей.
Вот вам пример: с изъятьем ятей
Слова не сделались честней.

И с сокрушеньем слов и чисел
Не рушились свои мосты.
И ложь, что смелые мазки
Есть чистота и смелость мысли!

Слова! Слова!.. Весь этот хлам —
Но соучастье ль, друг Гораций,
В постыдной смене декораций
И париков — без смены драм?

Есть страх из страхов: не прилгнуть,
Не слицедействовать б! Известно ж,
Как легок до Голгофы путь,
Когда уверен, что воскреснешь.

Да не простятся никому
Иль мне хотя бы не простятся
Соблазн сезонного страдальца,
Соблазн героя на миру!

Есть просто — не сложилась жизнь.
А есть — о жизненном пространстве.
Есть сказ о лжи и постоянстве.
А здесь — о постоянстве лжи.

— Поймешь ли? — Понял. И тогда
Пойду и к финишу — не к цели
Приду, заброшенный, как церкви.
Не загостился ль? Вот беда —
Не загостился ль?

* * *

Я сам свой Бог. Но слабый, вздорный Бог,
Издерганный, юродивый, убогий.
Не дай вам Бог — любить такого Бога
И быть, как Он,— не приведи вас Бог.

Я, верно, Бог. Порочный, жалкий Бог.
Но если я и вправду Лик пречистый —
Так дай вам Бог быть мирным атеистом,
А Богом быть — не приведи вас Бог...

Я, точно,— Бог. Бессильный в толчее.
По логике смещенья четких граней
Музеи нынче обитают в храме,
А боги обитают в толчее.

Прости меня за манию величья,
Но Божьего величья нет в судьбе
Карать себя и отпускать себе
Грехи — прости за манию величья.

Но Божьего величия — карать —
Не пожелаю ближнему: не смею

Желать ему таких шахсей-вахсеев.
Не дай вам Бог — как Бог, себя карать.

Не дай вам Бог — прощать себе грехи.
Не дай вам — непрощенья опасаться.
Не дай вам Бог — до Бога опускаться:
До отпущенья собственных грехов.

Я — только я. Бог — это только Бог:
Гордыня непомерная и горесть.
Не дай вам — уповать на Божью совесть
И жить ей вопреки. Не дай вам Бог!

* * *

Господь — Сатане: «Обратил ли ты внимание на Иова...»

Я знаю цену льстивых слов,
Но я хотел бы верить в цену
Затверженных бесстрастных слов.
Не предавай меня, Иов!

Пусть обещание измены
В потоке их бесстыдных слов —
Пускай! Не мне ли знать им цену!
Не предавай меня, Иов!

Ценой предчувствия измен
(в их раболепности вассальной
все — почва будущих измен)
Плачу за слабость быть
всесильным,
Творить и рушить, чтоб затем
В их раболепности вассальной
Увидеть признаки измен —
И все за слабость быть
всесильным!
В затверженности льстивых слов
Всегдаготовность измениться.
Я так хотел бы обмануться
В цене бесстыдных льстивых слов.
Не предавай меня, Иов!
Мне страшно знать изнанку слов.
Мне невозможно не взмолиться:
Не предавай меня, Иов!

Я обессилел от чудес.
В минуту слабости всесильной
Я, обессилев от чудес,
Готов идти дорогой пыльной,
Готов принять земную плоть
И на юдоль земного люда
Сменить бессмертие небес.
Предать забвенью чудеса,
Забыть саму возможность чуда,
Простить, что в их потоке слов
Не ожиданье Христа,
А ожидание Иуды.

Я отдаю возможность чуда
За чудо — хлевное тепло —
И право высшего суда —
За перебранки, пересуды.
Я знаю цену льстивых слов,
Но я б хотел презреть их цену,
Забыть бесстыдство и измену,
Сменить на хлевное тепло
На перебранки, пересуды
Бессмертье и возможность чуда.
Но, бог и раб бесстрастных слов,
И я не вправе измениться;
Мне остается лишь молиться:
«Не предавай меня, Иов!»

1964—1965

Из молдавских стихов

Ну, как не знать!
И все же — в это лето,
в очередной осмысленный побег,
я по-иному ощутил нелепость,
которой жив нелепый человек.

И то — побег! И разве кануть в Лету
и убежать подобия страстей,
когда ни чистых глаз анахорета,
ни мудрости угрюмых рыбарей.

И в эти дни без воплей, без бравады
я понял: есть предельная черта.
За ней нельзя нелепость и неправду
встречать опять ужимками шута.

Спасибо, южный город отчужденья,
за равнодушный, праздный твой уют.
Я ощутил до богооткровенья,
что я погиб. Что лето — не спасенье.
Что воробьи и солнце не спасут.

Я в это лето пролистал страницы
пророческих косноязычных книг.
Они открыли мне, как духовидцу:
пророков нет, и ты давно погиб.

Ну как не знать! Но только этим летом,
но только в отчужденье, в этот зной,
я понял: мне отпущен, как поэтам,
лишь выбор между чернью и чечней.

И дело здесь, пожалуй, не в утратах,
не в том, что нечто обратилось в прах,
что прапорщик, блистательный когда-то,
ты тянешь лямку в вечных унтерах,
что что-то сбилось и сдалось на милость,
что надо лицедействовать и лгать,
что что-то не сбылось и не случилось
(не написалось, надо полагать!)
что все — из рук и с тем пребудет, видно,
и так живешь уже который год,
что жаловаться книжно и бесстыдно,
а гордость клоунадой отдает,
что я не белой кости и не касты
особенных и что в моих устах
простая горечь, скорбь Экклезиаста —
расхожий лозунг, чуть ли не устав,
что даже сокровенные идеи —
масонский знак обличья высших каст,
что горстка православных иудеев
потешится, а там — глядишь — предаст,
что спор и крик давно отлились в окрик,
в высокий жест и в барственный приказ,
что каждый раз рассказ у нас — апокриф,
что все давно невесело у нас, —

а в том, что возвращенье к полубедам
заведомо таит в себе побег.
Что не сбежать. Что нет тебе побега.
Что просто ты нелепый человек...
Когда-нибудь (не вечна же тщета
соединенья бардаков и бардов)
наступит час Нестрашного Суда.
Но ты найдешь подобие щита:
ты примешь суд с ужимками шута,
со скованной развязностью бастарда...

29 июня, 1968
Требужены

Публицистика и очерки

Борис ХАЗАНОВ

Что такое демократия

Вам угодно знать, что я подразумеваю под демократией. На это можно было бы ответить совсем просто: демократия — внешний гарант свободы; но тогда вы спросите, что такое свобода, и тут уж двумя словами не отделаешься, понадобятся длинные рассуждения о том, что в самом определении свободы заключен парадокс, и если я скажу, что свобода — это то, без чего жизнь перестает быть жизнью, вы возразите, что с таким же успехом монета могла бы утверждать, что она падает орлом, а не решкой, оттого что свободна решать, упасть ли ей решкой или орлом. Вопрос незаметно свелся к свободе выбора и свободе выбирать условия выбора; чем дальше, тем безнадежней мы вязнем в метафизике, и, может быть, самое лучшее — вовсе отказаться от определений. Ведь, в сущности, мы и так знаем, что такое свобода и демократия,— не правда ли?

Я — не знаю.

Вы спрашиваете, что за диковинная штука демократия, спрашиваете меня — или нас, тех, кто никогда ее не нюхал, у кого о ней такое же представление, как об устрицах и ананасах в шампанском. Странным образом демократия, которая, если не ошибаюсь, имеет отношение к простому люду, демосу, кажется нам чем-то изысканно-чужеземным, роскошным и аристократическим. Не зря, должно быть, это слово не имеет эквивалента в русском языке. «Народоправство» больше похоже на самоуправство.

Придется вернуться к первоистокам, к великому умершему языку, который отхлынул, как древнее море, оставив разбросанные там и сям ракушки-слова. Мы ходим, и подбираем их, и слушаем в раковине гул моря.

«...Тирания, это ужасное и гнусное бедствие, обязана своим происхождением только тому, что люди перестали ощущать необходимость в общем и равном для всех законе и праве. Некоторые думают, что причины появления тиранов — другие и что люди лишаются свободы по недоразумению и без всякой вины, просто потому, что они стали жертвой тирана. Но это ошибка... Как только потребность в общем для всех законе и праве исчезает из сердца народа, на место закона и права становится отдельный человек. Поэтому некоторые люди не замечают тирании даже тогда, когда она уже наступила».

У этого голоса нет имени, цитата так и дошла до нас в виде цитаты — из сочинения неизвестного моралиста V века, какого-нибудь современника Фукидида, если только это не был сам Фукидид. Но не все ли равно, откуда это заимствовано? В сущности, здесь все сказано. Обратите внимание, что речь идет о демократии, несмотря на то, что слово это ни разу не названо.

«Тирания, это гнусное бедствие...» Мне было семнадцать лет, когда я вычитал эти слова в одной книжке, это был первый год после войны и лучшее время нашей жизни, я прочитал эти слова, и внезапно мне пришло в голову, что ведь это — о нас и что самый отъявленный антисоветчик не мог сказать о нас хуже. Тот, кто живет в деспотическом государстве, сам в этом виноват, ибо принадлежит к народу, который в этом виноват. Гнусное бедствие оттого гнусно, что оно превратилось в нормальный образ жизни. И потому подданные тирана не замечают, что ими помыкает ничтожество, не замечают тирании, как глубоководные рыбы не чувствуют давления воды и не страдают от мрака. Когда же им приходится слышать о существовании другого мира, они оказываются способными рассуждать о нем лишь в терминах своего собственного, подводного мира. Вот почему мы можем определять демократию лишь отрицательно, как то, чего у нас нет, примерно так, как Шопенгауэр определял человеческое счастье: счастье — это когда нет несчастья.

Вы спрашиваете, что такое демократия; я отвечу. Демократия — это тот невероятный случай, когда можно философствовать о том, что такое демократия, не боясь, что вас за это посадят в лагерь. Демократия — это общество, которое ухитряется существовать без лагерей. Демократия — это такое общество, где смеются над авторитетами, где не чтят святынь, не кланяются портретам, не обожествляют алебастровых идолов, не поют хором, не шагают в ногу, не ликуют по расписанию, не сморкаются по приказу, общество, которое находит особое удовольствие в том, чтобы ставить под сомнение все свои институты, и всегда спрашивает себя, оправдывает ли оно свои вывески, общество,

удивительная особенность которого состоит в том, что там не поощряют доносов, не превозносят посредственность, не преследуют оригинальность, не карают за талант, не рассматривают юмор как государственное преступление,— и при этом оно каким-то чудом продолжает жить. Демократия — это маленькая Греция, которая выставляет триста воинов, и эти воины умудряются защитить ее от варварских полчищ; это кораблик Франции, который качается на волнах и не тонет; демократия — это богатырь в одежде шута, которому пепел отца стучит в сердце, но никто об этом не знает; это дворец, в котором сидит король, нацепив на себя желтую шестиугольную звезду, и ничего с этим глупым королем не поделаешь; демократия — это то, до чего мы с вами не доросли и никогда не дорастем, потому что время роста давно миновало. Демократия — это юность, а тирания — это гнусная старость.

1982

Отклик

КНИГА ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА «БРОДЯЧИЙ ТЕАТР» — прежде всего акт дружества, а затем уже — факт литературы. Если автор и издатели, не дай Бог, обидятся на эту фразу, то будут неправы: дружество как раз и есть та сердечно требовательная среда, в какой литература может достойно произрастать, не отвлекаясь на иноприродную ей борьбу с внешними трудностями — от политической цензуры до нехватки бумаги. «Бродячий театр» издан в уже ставшей традиционной для издательства «Книга» манере: прекрасная бумага, строгий и легкий шрифт, изящная скромность художественного решения книги. Художник Михаил Златковский (в своей области никак не менее известный, чем Леонид Филатов — в своей) — столь же полноправный создатель книги, как и автор текста.

Название книги замечательно точное: актер и режиссер Леонид Филатов носит свой грустно-веселый театр с собой повсюду, будто кукольник — цветастую ширму и корзину с маленькими актерами из лоскутков и папье-маше. Его «серьезные» стихи, зонги к спектаклям, «переводы» (кавычки — авторские, Филатов не склонен преувеличивать свои переводческие достижения), водевиль «Часы с кукушкой» и заразительно-веселая, обаятельно-легкая, искрящаяся остроумием сказка для театра «Про Федота-стрельца, удалого молодца» рождены театральной стихией, неотразимо притягательной для многих и по сию пору, вне зависимости от справедливости сетований на упадок театра и холод зрителей.

Что производит самое яркое впечатление в книге? Пожалуй, все-таки «таганский цикл» пародий на поэтов-«шестидесятников». Хорошо знакомые, эти тексты тем не менее сохраняют удивительную свежесть — благодаря снайперской точности пародиста и его искренней симпатии к «подвергнутым». Не берусь предсказать с уверенностью, войдет ли, например, хоть одно стихотворение Роберта Рождественского в будущую хрестоматию поэзии советского периода, но голову даю на отсечение, что пародия Филатова в любую антологию пародии — от популярной до академической — въедет на белом коне. Этот пародийный цикл — тоже маленький театр, своего рода «балаганчик» или комедия дель арте, где Коломбина — Ахмадулина, а Панталоне — Михалков... Другие же пародийные циклы — на тему мультика «Ну, погоди!» и «Мухи-цокотухи» — при всей прелести отдельных находок кажутся, в отличие от «таганских», так и не вышедшими за пределы капустника.

Уже упомянутая сказка «Про Федота-стрельца...» — бесспорная и веселая удача. Истинно театральное чувство соразмерности позволило Филатову создать самодвижущуюся конструкцию, держащую читателя (и, должно быть, зрителя; мне не повезло увидеть телепередачу, где Филатов сам играл свою сказку) в постоянном, но легком и радостном напряжении. Пенящийся раёшник ли послушен Филатову, автор ли беспечно отдается его пестрому кипению,— в любом случае из этих озорных волн в полном и завидном здравии восстает то самое «честное действующее лицо», о котором говорил Гоголь. Восстает уверенный в своей бескровной победе Смех. Смех, который умеряет трепет непечатающегося поэта (а Леонид Филатов долгие годы делил эту участь со многими; одно утешение — компания у него была хорошая!) перед покоящимися в столе стихами. Эти стихи, несомненно, имеют цену честного и точного свидетельства о жизни талантливого человека в нашей стране и в наше время. И в этом качестве стихи Леонида Филатова, превращенные в очаровательную книжку, займут свое место на рабочем стеллаже будущего историка общества, литературы, театра, души...

...А мне — ну что тут поделаешь! — все вспоминается: «Таганка, Женя, это грандиозно! Мадонна, мне бы этот коллектив!..»

Галина ГОРДЕЕВА

г. Чебоксары

Свящ. С. ЖЕЛУДКОВ — К. А. ЛЮБАРСКИЙ

Христианство и атеизм*

Как родилась эта книга

Мне посчастливилось познакомиться с о. Сергием Желудковым еще в 1971 г. во время одного из его очередных приездов из Пскова в Москву, уже тогда я был покорен неукротимой энергией и светящейся чистотой этого человека. К сожалению, знакомство наше не было продолжительным: вскоре меня арестовали.

Год с лишним, проведенный в Лефортовской тюрьме, был для меня годом практически полной изоляции от внешнего мира. Под следствием письма вообще не выдавались, да и после суда меня достигали лишь немногие. Только в лагере щель стала чуточку пошире, и одними из первых ко мне через нее попали письма Сергея Алексеевича.

Лагерная цензура строга, и в письмах, идущих по официальным каналам, невозможно обсуждать большинство волнующих тебя тем. Практически любое высказывание, показавшееся цензору подозрительным, может быть расценено как «искаженное освещение внутренней и международной жизни» (говоря словами цензурной инструкции). А это автоматически влечет за собой конфискацию письма.

Поэтому я был рад, что о. Сергий нашел для нашей переписки нейтральную в цензурном отношении тему и начал частями пересылать мне свой реферат об анонимном христианстве. Это давало возможность регулярно получать от него весточки, не опасаясь, что они попадут под цензурный нож. Тот, кто был за решеткой, поймет, как это много — даже сам конверт с несколькими словами, написанными дружеской рукой!

Но неожиданно эта переписка стала для меня гораздо более значительной и серьезной, чем казалась вначале. Она затронула такие темы, которые меня волновали давно и глубоко, а в условиях концлагеря и тюрьмы зазвучали совсем по-новому, приобрели новый смысл, новые грани. Вопросы соотношения веры и атеизма, генезиса религиозного миросознания, происхождения морали, альтруизма, социальный смысл религии — все эти и многие другие вопросы не могут не иметь глубочайшего значения для любого культурного человека. Особенное же значение они, как мне кажется, должны иметь для людей, своею волею или волею судеб вовлеченных в движение за права человека в Советском Союзе, или, как его еще называют, демократическое движение. Это движение, на мой взгляд,— одно из наиболее значительных явлений нашего времени, знаменующее поворот к новой эпохе. Какой она будет — эта эпоха,— предсказать трудно, но к старому возврата нет.

Демократическое движение — не только политическое, но и в столь же большой степени — движение нравственное. Это и объясняет большой интерес к духовным проблемам — в том числе и к религиозным, само собою разумеется,— среди политических заключенных советских тюрем и лагерей 70-х годов. Не составил исключения и я. Отсюда и неожиданная острота, которую приобрела наша переписка с о. Сергием, вылившаяся в подлинную дискуссию.

И вот когда все наши письма легли рядом и мы их перечитали, нам с о. Сергием показалось, что, может быть, наши споры и разногласия представят интерес, и не только для нас — участников переписки... И мы решились предложить наши письма читателю. Даже если комунибудь наши рассуждения покажутся малоинтересными по существу — все равно они имеют ценность как человеческий документ, иллюстрация наших духовных поисков, таких, каковы они есть.

Все письма приводятся в первозданном виде. Мы не стали дополнять или «улучшать» их. Пусть все будет, как было. Внесена лишь минимальная правка (устранены некоторые явные ошибки) и в самых необходимых случаях даны примечания.

Всякий читающий переписку должен постоянно помнить, что это подцензурная переписка. О многом в ней умолчано, многое сказано эзоповским языком. Такие места читатель легко обнаружит и расшифрует сам. Многие вопросы (например, параллели между историей религии и историей общественно-политических идей, религиозный характер «научного» коммунизма и т. д.) не могли быть здесь

* Брюссель, 1982. «Октябрь» публикует журнальный вариант

обсуждены, хотя и заслуживают этого. «Дополнять» переписку мы не стали. Надеюсь вернуться к этим вопросам в другом месте.

Вот, пожалуй, и все. Стоило ли выносить наши споры на всеобщее обозрение — судить читателю. Мы надеялись, что стоит.

Кронид Любарский

г. Таруса, 2.3.1977 г.

Сергей Алексеевич Желудков
*(некролог)**

«Современные теологи поняли и растолковали, что драма веры разыгрывается не столько в уме, признающем, что он «верит», сколько в глубине совести, избирающей милосердную любовь, а не своекорыстие. Это и есть ответ Богу — пережитое, а не сказанное Да. Человек может считать себя неверующим, когда в этом смысле, на этой глубине он — истинно верующий.

Я вижу глазами веры неверующего, который любит ближнего и живет по правде, и я узнаю в нем предузнанного Богом и осененного благодатью. Сам Господь почитает свободу и внутренний мир неверующего».

В одном из своих писем С. А. Желудков привел эти слова из книги «Я верю в надежду» Хосе Марии Диес-Алегрии: ему казалось, что они хорошо передают его собственное умонастроение.

Умерший в ночь на 30 января 1984 г. в Москве Сергей Алексеевич Желудков — русский православный священник отец Сергий Желудков — был одной из самых привлекательных фигур религиозного и демократического движения в СССР. По общему мнению всех, знавших его, он обладал чертами святости. Выдающиеся свойства его личности сделали его духовным руководителем многих людей. Отец Сергий, оплакиваемый сейчас по обе стороны железного занавеса, был выдающимся теологом, самобытным религиозным мыслителем и видным правозащитником.

В молодости о. Сергий Желудков — сын церковного старосты в подмосковном Зарядье — был богоискателем; уже взрослым человеком он поступил в Ленинградскую Духовную академию и окончил ее в 1958 г. Рукоположенный в священники, он занимался пастырской деятельностью в смоленской, кировской и псковской епархиях. В 1958 г. он выступил против развернутой в те годы антирелигиозной кампании. Общественная активность и религиозное миросозерцание о. Сергия привели его к конфликту с церковными властями. Под нажимом КГБ он был лишен права церковного служения. Это обстоятельство, однако, лишь способствовало широкой популярности о. Сергия среди оппозиционной интеллигенции. Свои философские, религиозно-этические и общественные взгляды Сергей Алексеевич Желудков изложил в книге «Почему и я христианин», в многочисленных письмах и статьях, ходивших в самиздате, частично опубликованных в самиздатском журнале «В Пути» (издателем которого четыре года был о. Сергий) и на Западе. Отдельно нужно упомянуть сборник «Литургические заметки», в котором автор рассматривает трудный и болезненный вопрос о жизнеспособности византийского правоверия в условиях современной жизни и советской действительности. Именно эта книга послужила конкретным поводом к тому, что о. Сергий Желудков был обвинен в отходе от православия.

Литературное творчество С. А. Желудкова выгодно отличается от многочисленных произведений на религиозные темы, создаваемых в СССР и в среде русской эмиграции: его тексты написаны простым, ясным и вместе с тем проникнутым сдержанной сердечностью языком. Благородный стиль отца Сергия отражает черты его личности — скромность, искренность, серьезность, отсутствие какого-либо самолюбования, отвращение к претенциозной роли пророка и истерической экзальтации.

Особой формой общественной деятельности о. Сергия, обладавшего редким даром объединять людей, были инициированные им диспуты по вопросам веры, на которых следует остановиться подробнее. Нет нужды говорить о том, что в Советском Союзе невозможны какие бы то ни было открытые дискуссии на недозволенные темы. Обсуждения, организованные С. А. Желудковым, носили характер многосторонней переписки, в которой участвовали люди, часто не знавшие друг друга; каждому корреспонденту была присвоена условная литера и оставалась его единственным обозначением; буквой «А» подписывал свои письма Сергей Алексеевич Желудков. Среди этих переписок нужно особо выделить обсуждение переведенной по инициативе отца Сергия книги известного современного теолога Ганса Кюнга «Быть христианином» (за которой последовал перевод второй книги того же автора — «Существует ли Бог?») и два тома переписки на тему о взаимоотношениях христианского вероучения и современного атеизма, изданных институтом «Вера во Втором мире» (Цюрих) и издательством «Жизнь с Богом» (Брюссель) под одинаковыми заголовками «Христианство и атеизм». В этих эпистолярных дискуссиях, выявивших значительное многообразие точек зрения, приняло участие несколько десятков человек — писателей, философов, историков, богословов, математиков, верующих, сомневающихся и вольнодумцев.

Такая форма духовного общения оказалась чрезвычайно плодотворной — не только потому, что она представляет со-

* Опубликован в журнале «Страна и мир», 1984 г., № 1 (Мюнхен). Редактор журнала К. А. Любарский.

бой единственную возможность коллективной религиозной дискуссии в условиях тотальной несвободы. Преимущества анонимной переписки вытекают из самого предмета, обсуждаемого участниками этой новой разновидности «невидимого колледжа». У нас нет сверхъязыка, который позволил бы нам соединить несоединимое — рефлексию о Боге с непосредственным переживанием Его присутствия (или чувством, что Его нет). Тем не менее человеку присуще стремление открыть себя другим. Одной из внутренних предпосылок наблюдаемого сейчас в России религиозного брожения в среде интеллигенции, пробуждения интереса к религиозной проблематике можно считать потребность, испытываемую многими, ответить каким-то образом на вопросы, которых нельзя избежать, и сделать это по возможности ясно и четко, как подобает разумному человеку. Противоречие между субъективной и объективной стороной религиозности преодолевается благодаря пониманию того, что если мысль — насилие над чувством, то она же и способ испытать глубину и подлинность чувства. Так рождается потребность в интеллектуальной исповеди, обращенной к себе и к другому и вместе с тем не стесняемой ничьим присутствием.

Оставаясь предельно интимной, негласной и не претендующей на какой-либо профессионализм, переписка была одновременно обращена к неопределенно широкому кругу адресатов. О них было известно только то, что они представляют ту или иную точку зрения. Перепечатанные на машинке письма ходили по рукам, возбуждая желание так или иначе откликнуться, обрастая новыми корреспондентами. При этом инициатор переписки — отец Сергий Желудков — постоянно находился в центре духовного кружка; он был единственным, кто знал всех участников, отвечал каждому, он же распространял письма среди всех корреспондентов. Оценить по достоинству эту работу может лишь тот, кто жил в СССР.

Здесь нет возможности рассмотреть подробно деятельность Сергея Алексеевича Желудкова как участника демократического правозащитного движения и члена организации «Международная амнистия». Одной из форм этой деятельности были открытые письма и статьи, из которых отметим небольшую статью, написанную к шестидесятилетию академика А. Д. Сахарова (опубликована в юбилейном сборнике на русском и основных европейских языках). В статье о Сахарове о. Сергий возвращается к концепции Анонимного христианства — ключевой для его мировоззрения. Термин «анонимное христианство» принадлежит, как известно, Карлу Ранеру, крупнейшему католическому теологу нашего века; но не столько чтение Ранера, сколько впечатления жизни, опыт священнослужителя и борца за права и достоинства личности в Советском Союзе были источником размышлений отца Сергия Желудкова.

В последние десятилетия много говорится и пишется о возрождении церковного христианства в современной России. В лице С. А. Желудкова это представление нашло серьезного критика. Его аргументация опирается на отчетливое понимание того, что русская церковь в большой мере утратила контакт с современной жизнью. Этот разрыв, это чувство омертвения живого Слова под золоченым панцирем «слов» переживаются мыслящей интеллигенцией и в особенности молодежью как глубокая трещина, уходящая в далекое прошлое и грозящее расколоть будущее. Можем ли мы,— спрашивает о. Сергий Желудков,— положа руку на сердце, утверждать, что летаргия православия вызвана только внешними условиями, что только так, съежившись и спрятав голову, вера сумела выжить в СССР, а церковь — сохранить минимальное влияние и авторитет? К сожалению, есть основания предполагать, что если бы вдруг каким-нибудь чудом церковь освободилась от государственного гнета, церковное сознание едва ли бы переменилось. Причина этого, по мнению отца Сергия, двоякая: она связана и с особым консерватизмом восточной догматики, и с традиционной для России общественной пассивностью церкви, сосредоточенностью православия на личном спасении.

В ряде работ о. Сергий развивал свое понимание новозаветных текстов, близкое к известной на Западе концепции «демифологизации». Согласно толкованию С. А. Желудкова, Евангелия — это «иконы Христа». Они повествуют о жизни и деятельности основателя христианства на языке, который обусловлен эпохой и специфическими обстоятельствами возникновения Нового Завета и не может быть понят буквально. Воскресение Христа, как и бессмертие человеческой души,— сверхразумная тайна, не поддающаяся расшифровке доступными нам средствами. Область тайны разграничивает сферы компетенции религии и позитивной науки, но ни в коей мере не означает их несовместимости; существует язык, на котором с равным достоинством, не унижая друг друга, могут изъясняться вера и разум. Условием и главным качеством веры, противопоставляемой обрядоверию, отец Сергий Желудков считает, вслед за Н. А. Бердяевым, духовную свободу.

Центральным для размышлений С. А. Желудкова нужно считать убеждение, что христианство не есть идеология и не сводимо ни к системе верований, ни к перечню догматов. Ядром христианства является этический кодекс, заповеданный Христом и поддерживаемый особого рода «онтологическим» оптимизмом. Этого оптимизма не может быть, по мнению С. А. Желудкова, у атеистов, не верящих в вечную жизнь и существование абсолютно благого божества (что превращает для них в абсурд всякое бытие вообще), но это отнюдь не значит, что атеисты отлучают себя от христианства и Христа. В мире больше христиан, чем нам кажется. Примеры истинного следования заветам Христа, образцы высокой человечности отец Сергий находит у людей, которые формально не верят в Бога, но, быть может, ближе к Нему, чем иные громко возглашающие о своей вере христиане. Таков, например, Сахаров.

«В представлениях христианства Бог не «за границей»,— писал о. Сергий,— Он везде с нами там, где мы позволим Ему быть в нашей человеческой жизни... В том-то и дело, что христианство — это не только вероисповедание, христианство — это духовная и культурная сила, действие Духа святого, который дышит, где хочет, и в этом своем качестве христианство давно уже «вышло из берегов» церковных исповеданий».

1984 г.

С. А. ЖЕЛУДКОВ

Церковь доброй воли, или Христианство для всех

Реферат, нигде не прочитанный

Посвящается Крониду Любарскому

...Мы рассмотрели проблему, которую обозначили наименованием: «Христианство для всех». Вот как это выглядит в сокращенном итоговом изложении:

Есть Христианство веры. В самом общем смысле оно определяется как вера в Божественное достоинство Человека Иисуса Христа. Эта вера дается немногим, она есть особенный дар, по слову одного католического писателя — «поцелуй» Божественной благодати. Апостол Павел писал, что «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (к Коринфянам, гл. 12). И в наше время вера в личную Божественность Христа бывает либо следствием исключительного откровения (приводилось яркое личное свидетельство митрополита Антония Блюма), либо наследием церковного воспитания. Христианство веры есть явление элитарное, это не Христианство для всех.

Христианство универсальное, Христианство для всех есть Христианство воли. Автор напоминает и подчеркивает, что говорит с точки зрения Христианства веры. Христос — Вечный, Божественный Человек, и всякая направленность нашей воли к идеальной человечности есть направленность ко Христу. Конечно, не может быть ничего лучше, когда такое Христианство воли совмещается с Христианством веры. Но бывает и так, что люди, далекие от исповедания Христианства веры, далекие от всякой религии, по своим настроениям, оценкам, стремлениям, действиям оказываются явно ближе ко Христу, чем мы, присяжные, крещеные христиане веры. Современный католический теолог Карл Ранер назвал таких людей «анонимными христианами». Тут уместно вспомнить, что писал об этом же еще в прошлом столетии А. С. Хомяков. «...не Христа ли любит тот, кто любит Правду? не Его ли ученик, сам того не ведая, тот, чье сердце отверсто для сострадания и любви? Не единственному ли Учителю, явившему в Себе совершенство любви и самоотвержения, подражает тот, кто готов пожертвовать счастьем и жизнью за братьев? Кто признает святость нравственного закона и, в смирении сердца, признает и свое крайнее недостоинство перед идеалом святости — тот не воздвиг ли в душе свой алтарь Тому Праведнику, перед Которым преклоняется воинство умов небесных? Ему недостает только знания; но он любит Того, Кого не знает, подобно самарянам, которые поклонялись Богу, не ведая Его. Говоря точнее: не Его ли он любит, только под другим именем; ибо правда, сострадание, любовь, самоотвержение наконец — все поистине человеческое, все великое и прекрасное, все, что достойно почитания, подражания, благоговения, все это — не различные ли формы одного Имени нашего Спасителя?».

Христиане веры должны по достоинству оценить явление «анонимного» Христианства воли. Все лучшее в нашей человечности принадлежит Христу — и не может быть никакого другого Первообраза духовной красоты. По слову апостола Павла, «един... Посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (к Тимофею 1, гл. 2, ст. 5). Если бы вера в личную Божественность Христа была непременным условием приближения к Богу, то Христос был бы не посредником, а препятствием для совершенно подавляющего большинства людей, которые жили и будут жить на земле. Нет, по слову блаженного Иеронима — «Христос не так беден, чтобы иметь Церковь только в Сардинии». Христос — глава всего человечества доброй воли, а не только нашей церковной провинции крещеных, из которых многие столь наивно думают о себе, что только они спасаются. Нет, принцип спасения — не в вере, самой по себе, а в направлении воли. Апостол Иаков в соборном послании (гл. 2) трижды настойчиво повторяет, что «вера без дела мертва». Протестантские схоласты противопоставляли этому учение апостола Павла, что «человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (к Римлянам, гл. 3). Но недоразумение рассеивается, как только мы сообразим, что этот апостол под «делами закона» разумел иудейское обрезание. Совершенно ясно представляется дело в евангельской притче о Страшном суде (Мф 25). Сын человеческий на решающем, последнем суде не говорит: приди-

те, наследуйте Царство, потому что вы веровали в Мою Божественность. Нет. Он говорит: приидите, наследуйте Царство, *потому что вы были добры ко Мне* в лице страждущих братьев Моих меньших. «Ибо голодал Я, и вы дали Мне есть... Болен был, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Милосердие, как и всякое иное проявление прекрасной, святой человечности,— вот что фактически, сущностно приближает, приобщает человека к Абсолютному, Вечному Человеку. И это независимо от того, узнал ли человек своего Господа во Христе, в Его историческом явлении на нашей земле. Апостольский образ Церкви — *Тело Христово*. И вот оказывается, что в теле присутствуют живые клетки, которые не знают своего Главы.

Но было высказано и другое суждение — что только Христианство веры и притом именно наше православное Христианство веры есть все-таки непременное условие наибольшей близости ко Христу. Это воззрение было представлено в такой графической схеме: круг — это наше православие, а далее располагаются концентрически кольца: католичество, протестантизм, затем иудаизм, мусульманство, потом индуизм и так далее до агностиков и атеистов доброй воли включительно — но на самом удаленном кольце. Схема эта представляется некорректной, ибо приводит к абсурдам. Православный Иван Грозный оказывается в центре — ближе ко Христу, чем святой индуист Ганди. Абсурдный пример из современной жизни явился в истории двух академиков. Один, далекий от всякой религии, на деле показал истинное благородство и нравственное мужество, выступив в защиту страждущих «узников совести». Другой, верующий, православный, не только не присоединился к этой защите, не только промолчал, но подписал клеветническое обвинение против своего одинокого бесстрашного коллеги. Судя по этим примерам, схема оказалась ложной.

В противовес ей в дискуссии возник другой графический образ:

Всечеловеческая Церковь Христова есть Реальность высочайшего порядка, говорить о ней можно только в символах и парадоксах. Такова и эта графическая символизация Церкви. Ее центр — Христос, Божественный Человек. Ее окружность, граница — направление воли. Эта граница проходит между людьми, и она проходит в душе каждого человека. Злая воля — всегда вне Церкви, только добрая воля — всегда в Церкви, и это независимо от всех наших исповеданий и поверхностных убеждений. Итак, круг — это Христианство воли, Христианство для всех. В заштрихованных секторах — Христианство веры. Здесь особенно благоприятные, благодатные условия приближения ко Христу. Но и в других секторах, в других религиях и без религии осуществляется такая возможность. Эта возможность — Христианство воли... Радиусы секторов проведены условно, без всякого количественного расчета.

Этот графический символ Церкви автор будет иметь в виду при последующих размышлениях.

Показательно и многозначительно, что и в секторах *Христианства веры* нет формального единства — и разделениям не видно конца. Ибо никогда уже католики не откажутся от принципа папского главенства в мировом христианстве — и никогда не согласятся с этим другие христиане Востока и Запада. И другие вероисповедные различия непримиримы. Кто нас в этом рассудит? В эпоху вселенских (имперских) соборов споры о вере решал собор. Сегодня если бы и собрался всемирный собор (что практически невозможно) — он не принял бы никакого общего решения и все разъехались бы обратно в свои стороны в добросовестном сознании каждый своей правоты.

Рассматривая три сектора Христианства веры, следует прославить великую жизнеспособность *католичества*. Об этом писал Н. А. Бердяев: «...Католичество не одолеют и впредь, потому что в истории его жили не только грехи человеческие, жила в ней и вселенская Церковь Христова. Католичество остается осью западной истории. Все проходит, все минует, все тлеет, одно католичество остается. Оно вынесло все испытания: и возрождение, и реформацию, и все еретические и сектантские движения, и все революции. Чувство вселенскости, которое дает католичество, поражает своей мощью и приводит в трепет даже неверующих. Даже неверующие должны признать, что в этой исключительной силе католичества скрывается какая-то тайна, рационально необъяснимая»... Сегодня правда этих слов особенно убедительна. Но при всем нашем общем уважении к католичеству тем более печально сознавать какую-то общую неловкость от догмата о личной безошибочности Папы в делах веры и нравственности. Да, конечно, в воинствующей Римской Церкви должен быть единый главнокомандующий и все должны ему повиноваться. Но зачем было облекать эту практическую насущную правду в столь неправдоподобную догматическую форму?

И мы имеем уже факты новейшей истории, когда Папа так явно для всех *ошибается* ex cathedra: энциклика Павла VI о запрещении противозачаточных средств, еще раньше — догмат Пия XII о телесном Вознесении Богоматери.

В порядке примечания надо остановиться на этом новом догмате. «И восшедшего на небеса, и седящего одесную Отца»,— эти слова древнего Символа веры в наше время могут быть истолкованы

только как образное выражение непостижимой тайны Воскресения. В некоторых древнейших рукописях Евангелий *нет Вознесения*, все явления Христа Воскресшего заканчиваются подобно явлению в Эммаусе: «И стал невидим для них»... Говорить о натуральном телесном «полете» Христа «через стратосферу» (есть у нас и такие эксцентрики) — сегодня просто кощунственно. В сущности, *мы не знаем, что и думать нам* о Вознесении Христа, и, может быть, самое лучшее было бы смотреть на этот праздник как на символическое заключительное торжество Воскресения. И вот в такое-то время преподнес нам Папа новый догмат *о телесном* Вознесении Богоматери. А в некоторых кругах католичества проектировалось телесное Вознесение еще и Иосифа-Обручника. Хорошо, что хоть это не попало в безошибочный новый догмат,— и дай Бог братьям-католикам благополучно выбраться из этих новых трудностей, которые они сами наделали.

Наше *Восточное православие* сохраняет в неприкосновенности догматическое наследие неразделенной Церкви. Символ веры IV века да постановления соборов V и VII веков против учений о неполной будто бы человечности Христа — вот и все наши догматы.

В этой догматической сдержанности — великое преимущество Восточного православия и большие возможности для свободной Христианской мысли. Сохранилось известие, как покойный патриарх Тихон возразил кому-то, обвинявшему покойного профессора М. М. Тареева в протестантизме: «Что ты, что ты — какой же он неправославный? *Православие тем и хорошо, что многое может вместить в свое глубокое русло*».

Так в основах — в учении веры. Но в том, что касается практики Восточной Церкви, лучше бы по возможности не употреблять термина «православие». Его историческое содержание многозначно, буквально же он выражает гордость, которая часто не имеет себе оправдания. Часто оказывается так, что наше православие неправославно. Не касаясь фактов и проблем, связанных с совершенно особенными внешними условиями, приходится отметить крупные недостатки нашего церковного Богослужения: закрытый алтарь, поразительное многословие, необъяснимые церемонии, фальшивые титула, торговля у свечного ящика, литургическое унижение женщины и многое другое. «Православием» называют слепое обрядоверие и церковное фарисейство. Автор недавно узнал, что есть дремучие духовники, которые именем «православия» запрещают новым христианам молиться за своих неверующих родных... Некоторые стремятся сделать «русское православие» знаменем ущербного национализма.

Но есть у Восточной Церкви и подлинно драгоценные сокровища прошлого: философия, мистика, аскетика, икона... Да и в церковном Богослужении нашем, при всех недостатках, многие находят качество особенной мистической теплоты. В принципе возможно и у нас литургическое возрождение в свободном, широком разнообразии форм.

Говоря о *протестантизме*, сразу же надо отметить, что у нас он представлен в своей самой худой, для некоторых прямо-таки отвратительной форме так называемого «баптизма». Принципиально же протестантские идеи личной свободы и постоянного обновления форм принадлежат к самой сущности Христианства. Вероятно, правильна характеристика протестантизма как преимущественно «мужского» Христианства, и не случайна распространенность его в «мужских» северных странах. Существенный изъян протестантизма — отсутствие *всякого* почитания Божией Матери и святых, запрещение молиться за умерших. Но в свободе протестантизма возможно ведь и возвращение его к этой древней практике Христианства... Однако есть в Западном протестантизме и такие явления, которые должны быть вынесены из сектора Христианской веры. Автор вспоминает встречу со студентом-теологом — да, теологом, который запросто объявил, что не признает за «Иисусом» никакого Божественного достоинства, считает Его «революционером». По-видимому, на Западе подобные взгляды не такая уж редкость. Христос сказал, что всякая хула на Сына Человеческого простится человекам. Но нельзя же называть это Христианством веры.

Возвращаясь к протестантизму подлинному, христианскому, надо еще указать, что с ним связаны инициатива и неудача так называемого *экуменического движения*. *Оно задавалось целью: при свободе вероисповедных различий организовать единство действий* всех христианских церквей. Но католики — едва ли не бóльшая часть всех христиан на земле — от участия отказались. Остальные же церкви отказались от действий. В результате под титулом Всемирного Совета Церквей влачит существование малоавторитетная канцелярия.

Итак, *разделение* христиан по вероисповеданиям остается и ему не видно конца. Но изменилась атмосфера, исчезла вражда, все переходят от анафемы к мирному диалогу. Вспоминается крылатая фраза, сказанная нашим Киевским митрополитом Платоном (Городецким) в речи при посещении костела: «Наши перегородки до неба не достигают». Можно вообразить современное просвещенное Христианство веры как бы надконфессионального плана, когда человек с любовью и пониманием участвует и в Восточном, и в Западном обря-

дах, с благодарностью приемлет все лучшее, вдохновенное, что посчастливится ему встретить на каждом из этих трех направлений Христианства веры. Как выразился Карл Барт: «*Единство Церкви не создается — его открывают*».

Это единство — в общем уповании всех христиан, которое основано на общей вере в Божественное достоинство Христа. «Сущность христианства — в Личности Христа, в космическом значении этой таинственной Личности. Через Христа Бог стал родным и близким человеку» (Н. А. Бердяев). Христос — «*Икона Бога Невидимого*» (к Колоссянам, 1). Христос — «Человеческое Лицо Бога»... Во Христе Бог явился нам воистину достойным совершенного преклонения, и во Христе Человек явился воистину достойным Божественной славы. «Посему и Бог Его превознес и даровал Ему Имя выше всякого имени, дабы перед Именем Иисуса всякое колено преклонилось — небесных и земных и (даже) преисподних» (к филиппийцам, 2). И Этот Человек в таинственной общности со всем человечеством соделал за нас невозможное для нас — Собою приобщил нас к Божественной жизни... Таковы общие символы Христианства веры, в этом — единая Надежда всех христиан на земле. И в этом — единственно-истинная, т. е. заслуживающая этого слова *Надежда* всего человечества.

Автор воздерживается говорить о других исторических религиях, потому что познания его в этой области крайне поверхностны. С точки зрения Христианства веры — *все религии истинны* в том, что у них есть общего с Христианством. Это общее — религиозная интуиция Божественной Святости, побуждающая человека нравственно бояться Бога, любить Бога, надеяться на Бога.

К религиям нехристианским надо отнести и религии новейшие, так сказать, самодельные, которые принимают этику Христианства, но не признают личной Божественности Христа. Таковы нехристианские ответвления протестантизма, таково наше толстовство. Характерна их претензия называть себя все-таки Христианством: так прекрасно моральное учение Христа. Но посмотрим, например, символ толстовства. Вместо Отца Небесного — «Хозяин», который велит нам, работникам, вести себя хорошо и делать добро. А сам он вовсе не добр, сам он скуп и жесток: он убивает работников, он не дарует им личного Воскресения, участия в Вечной жизни... При всем уважении к личности изобретателя такой религии — нельзя называть ее Христианством — Христианством веры.

Христианство же воли открыто для всех. Ганди, Швейцер — вот наиболее известные имена праведников нашего века в «инорелигиозном» секторе Церкви Христовой.

Что такое *атеизм*? Кажется, для всех уже должно быть достаточно ясно, что атеизм вульгарный есть недомыслие, недодуманность. Атеизм более просвещенный, так сказать, интеллигентный должен признать присутствие за природными явлениями некоего Разумного Начала, по слову Эйнштейна — «Высшего Интеллекта», проявляющего себя в упорядоченности мира». Но в этом упорядоченном мире — зло и страдание, невинное, бессмысленное страдание. Вот сильнейший аргумент атеизма. «Высший интеллект» — это не Бог, атеист не испытывает по отношению к нему религиозного чувства. *Кто же это, что же это?* Получается так, что мы существуем, копошимся под равнодушно-жестоким взором какого-то сверхчеловеческого Сознания, абсолютно нам чуждого и враждебного. И если атеизм вульгарный есть Абсурд бессмысленности, то атеизм разумный есть Абсурд какого-то чудовищного, кошмарного Смысла... *Атеизм — это абсолютное Отчаяние, невыразимый Ужас.*

Когда человек мыслит себя в Абсурде атеизма — казалось бы, естественно ему опуститься, погибнуть. Увы, так это и бывает в явлениях цинизма и пьянства. «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Апостол Павел цитирует эти слова пророка Исайи, показывая отчаяние человека без веры в Воскресение (2 Коринфянам, 15). Но вот, нет же — мы знаем удивительных людей, которые называют себя атеистами, практически же проявляют чудное благородство стремлений и великую душевную силу. В личном общении, в драгоценных встречах автор получил волнующее откровение «анонимного» Христианства воли. «Безрелигиозный сектор Церкви Христовой» — это не абстракция, это радостная реальность, которая с точки зрения Христианства веры только так и может быть обозначена. Мой друг называет себя атеистом, на деле же он поклоняется тому же самому, общему для всех, единственному Идеалу человечности, который мы, христиане веры, увидели во Христе. Но у нас, в Христианстве веры — наследственный и личный религиозный опыт, у нас молитва, таинства, чудеса, у нас надежды, от которых дух захватывает. А у него ничего этого нет, он поклоняется и служит, служит Богу совершенно, так сказать, бескорыстно, не ожидая себе никакой награды, никакой Вечности, из одного, можно сказать, воистину чистого, *свободного* уважения. Это возвышает его в моих глазах чрезвычайно. *Что это?*.. Надо прямо так и признать, что это чудо, это какая-то таинственная глубинная, мощная связь человека с Высшей, Вечной Человечностью нашего Господа. Это очень таинственно.

В практике жизни, *достойной жизни*, такой человек *забывает* о

теоретическом Абсурде, об отчаянной безнадежности своего будто бы атеизма. Но при всем уважении — нельзя назвать похвальным такое состояние неполной сознательности. И первое, что я уверенно посоветовал бы моему другу,— это переименовать себя из атеиста в *агностика*.

Мне не по силам вести философский разговор, но для этого достаточно и простых честных размышлений. Из письма другого моего приятеля, образованного математика: «Для человека моего поколения и моей среды важно осознать, что атеизм не есть неизбежный выбор, что выбор зависит от нас самих». Все мы должны, по совести, согласиться на том, что *не знаем подлинного* последнего значения бытия. Только интуиция и религиозный опыт стремятся в символах выразить свои прозрения, как они полагают, в сверхразумную тайну. Если такая интуиция у меня отсутствует или, быть может, спит — я должен, по совести, воздержаться от суждения. Если у меня нет слуха — не могу же я утверждать, что нет музыки. Почему это я обязан думать, что в основе столь таинственного бытия — будто бы бессмысленность или будто бы кошмарный Смысл, Смысл кощунственный, чуждый нашим человеческим святыням? А ведь именно это утверждает атеизм.

Аргумент зла и страданий не имеет решающего значения. Он действует при условии превратного представления о Боге как о Самодержавном Властителе, который будто бы повседневно управляет всем, что бы ни вытворялось в нашем мире,— распоряжается землетрясениями, войнами и лагерями. Думая так, мы приписываем Богу все зло и все страдания в мире. Но ведь можно думать иначе. Бог творит мир не «внутри» Себя Самого. Он творит воистину, творит отдельный от Себя, *свободный мир*... И Он не вмешивается в жизнь свободного мира насильственно. Попробуем вообразить себя, так сказать, на месте Бога, сотворившего свободный мир. Если это подлинная свобода, то это свобода и для зла. А зло есть причина страданий. Страдают все — виноватые и невинные, потому что природа и человечество есть единый целостный организм. Вмешаться насильственно Богу в жизнь этого целостного свободного мира — это значило бы все нарушить, остановить, уничтожить... Итак, главный аргумент атеизма бледнеет перед прозрением о *свободе*. Да ведь и сама эта возможность нашего атеизма, возможность отрицать «существование» Бога — разве не есть это *откровение свободы*, которую даровал Бог человеку?

Но пусть не подумают, что такое представление о Боге означает только возврат к «деизму» XVIII века. В символах Христианства Бог — не равнодушный, благополучный Зритель. Нет, через Сына Сам Бог участвует в трагедии свободного мира, входит в нашу историю, несет бремя наших грехов, принимает наши страдания. Бог сострадает нам и Божественное сострадание абсолютно. Здесь уместно привести мало кому известные строки из «Терцин» Л. П. Карсавина: «*Страдаешь мукой Ты всего живого: в огне сжигаем, на дыбе разъят, в слезах ребенка ты, в страданиях больного*»... Тут надо договорить еще, что, вместе со всем этим мы, верующие, всегда таинственно чувствуем в Боге вседержительную мощь, Основу всякого бытия. Мы веруем в возможность чуда, в таинственный Промысел Божий в личной судьбе человека. Как это все совмещается — *мы не знаем*, это сверхразумные *тайны*, вечная проблематика Христианства. Привожу эти сведения бегло-конспективно, только чтобы показать, как все это значительно и как непросто. Нет, атеизм не есть неизбежный выбор, для этого нет вполне достаточных оснований.

Поэтому если у меня действительно нет никакой религиозной интуиции — мое место на позиции *агностика*. Покинуть ее — это значит выйти либо в Абсурд атеизма, либо в сверхразумную таинственность религии. *Бытие — тайна*, это чуткий человек должен бы ощущать ежесекундно, и у этой тайны только два альтернативных решения. Либо это *тайна безумия*, либо это *тайна священная*. По совести, крайне легкомысленно было бы остановиться на первом решении — ведь, право же, у нас нет для этого достаточных оснований. *Не знаем!* Нерешаемость, непостижимость, неизвестность. В этой позиции агностика есть честность — и в ней уже есть утешение. Ибо неизвестность — это уже *вероятность Надежды*. Постоянная, пребывающая вероятность, ибо отвергнуть ее — это значило бы в ту же секунду принять вероятность обратного значения: *Отчаяние, Ужас, Абсурд*. А для этого, право же, у нас нет достаточных оснований.

Второе, что я посоветовал бы моему другу, это поближе познакомиться с Христианством веры. Паскаль написал: «*Вот наследник, который находит документы на свой дом. Неужели он скажет: а может быть, они фальшивы,— и не сочтет все-таки нужным исследовать их?*»... Неужели мы откажемся проверить документы на Дом Вечности — мы, пребывающие в холоде безнадежности, во мраке смерти? Но тут я должен заранее предупредить о великих трудностях. Нужно будет сразу же войти в современную проблематику Христианства веры. Здесь так нужно бы живое общение, церковность в истинном значении слова, а у нас ее нет. Нужна информация, а она у нас так недостаточна, либо же так горестно не соответству-

ет величию Христианства. Что уж и говорить о наших храмах, где бедные священники проповедуют теперь, как правило, всегда только на двойку — что уж и говорить о них, когда кафедры всемирного значения используются так недостойно, подчас прямо-таки издевательски нехорошо. В присутствии уважаемых людей мне было бы стыдно включить радио с религиозной передачей из Лондона или Вашингтона. Какой упадок, какая выдающаяся бездарность по сравнению, скажем, с передачами о спорте! Единственное исключение — священник о. Александр Шмеман: но его не слышно.

Давно уже замечено, что проповедь Христианства никогда не оставляет только нулевого, безразличного впечатления. Всегда в результате — либо взволнованность, радость, душевный подъем, либо уныние, подавленность, отвращение. Очень опасна неискренность. Но не менее вредна бывает даже и искренность, когда она выражает себя в благочестивом примитивизме или в наивной апологетике «от науки». Со стыдом вспоминаю рассказ, как к знаменитому физику явился добрый христианин и принялся убеждать его, ссылаясь почему-то на Эйнштейна, что он должен уверовать в Бога. Ученый мягко возразил, что «для этого нужны более глубокие основания». Он прав абсолютно. Уверование — это великое таинство души, чудесное рождение в ней личного молитвенного отношения к Богу Живому.

Должен быть какой-то сокровенный высший смысл в том, что сильному человеку не дается благодати религиозной веры. Мы можем оценить связанную с этим захватывающую идею свободы. Бог наш чтит свободу человека. Он не заставляет Себя признать, Себе покориться принуждением «науки», логики или подавляющей интуиции. Трудно уверовать в Бога — но нельзя же и успокоиться в Абсурде атеизма. Нерешаемость, неизвестность — это свобода, постоянное напряжение свободы. И в этом положении благородный, милосердный, великодушный агностик, не сознавая себя религиозно, определяет себя религиозно фактически, в самом глубоком смысле слова религиозно. Да, мы не знаем, «существует» ли Бог. Существует Святыня, духовная Красота истинной человечности. Согласен ли я вот так, ничего не зная о Боге, без всяких расчетов и гарантий, свободно преклониться перед этой Красотой, ее избрать в решающий Принцип моих стремлений и действий? Вот подвиг свободы, который с точки зрения Христианства веры заслуживает высочайшей оценки. **Достойно жить в неизвестности.** Вот девиз мужества и свободы, при исполнении которого бывает радость великая на небесах.

В заключение автор предостерегает от ошибочного впечатления, будто сказанным выше как-то унижается церковное Христианство веры. Напротив! Можно сказать попросту так: все у нас остается на своем месте, но очень расширяются наши представления о владениях Господа нашего Иисуса Христа.

Январь 1974 г.

К. А. Любарский — свящ. С. А. Желудкову

Глубокоуважаемый Сергей Алексеевич!

Искренне прошу у Вас извинения за задержку ответа на Ваши письма. Вызвано это было исключительно спецификой моего нынешнего положения. В апреле я твердо собрался Вам ответить — как раз к этому времени я получил все письма,— но неожиданно уехал из зоны и был разлучен с ними, а не имея письма под рукою, отвечать трудно (взять их с собою было нельзя). Апрель и май я находился в больнице, а в июне я обязан был написать старику-отцу, ибо, как выяснилось, мое предыдущее письмо к нему пропало. И вот только нынешний, июльский лимит на письма я имею возможность потратить на ответ! Что делать: два письма в месяц. Не обессудьте...

Приступая к ответу на Ваш реферат, я ощущаю затруднение двоякого рода. Я с искренним, глубочайшим уважением отношусь лично к Вам. Тем огорчительнее мне, что мне придется выразить несогласие, порой довольно резкое, с тем кругом идей, которые, как я знаю, составляют самую суть Вашего существа. Это неизбежно причинит Вам боль. Но что делать — притворяться, что я думаю иначе, я не могу, да и едва ли Вы одобрили бы это. Давно уже сказано: Платон мне друг, но истина дороже. В конце концов серьезный разговор, каким является Ваш реферат, требует и серьезного ответа. Мы ведь не комплименты собрались говорить друг другу, а разговаривать по-мужски. Надеюсь, Вы поймете меня.

Второе, что затрудняет меня, связано с наслоениями последнего года и особенно последних месяцев. То, с чем пришлось мне столкнуться здесь, в лагере, и особенно недавние тяжелые события наложили на мое сугубо рациональное неприятие религии, существовавшее всегда, еще и эмоциональное, личное неприятие и возмущение. Это влияет на мои оценки, и я в этом отдаю себе полный отчет. Обещаю Вам, что я буду об этом помнить, и постараюсь, чтобы этот личный момент не привел бы к искажению того, что мне хотелось бы Вам сказать.

Мне трудно обсуждать те части Вашего реферата, где речь идет о вопросах чисто догматических, те части, где Вы обсуждаете конфессиональные различия различных секторов христианства. Я слишком мало знаком с догматикой христианства, чтобы высказываться по это-

му вопросу. Это бы полбеды. Я опасаюсь, что я плохо представляю себе и глубинную сущность христианства, и поэтому мои высказывания будут лишь высказываниями плохо осведомленного дилетанта. Что ж, в этом случае так их и примите: «И не оспоривай глупца»...

Думать о том, что весь ход наших мыслей лежит в разных плоскостях, меня заставляют Ваши суждения об атеизме. То, как Вы описываете его в реферате, показывает, что Вы просто творите атеиста по своему образу и подобию. Вы вводите в мир атеистов какой-то «Высший интеллект», «сверхчеловеческое Сознание», его «равнодушно-жестокий взор», «кошмарный смысл», «ужас». По сути, религиозная, а не атеистическая концепция Мира: Вселенная и нечто вне ее, взирающее на нее.

Истинный Мир атеиста (пользуюсь этим словом только в его простейшем смысле — не верующий в Бога,— без всяких наслоений, которые уже приобрел этот термин) — не имеет с этим ничего общего. Видимо, ощутить этот Мир изнутри для Вас так же невозможно, как мне — ощутить изнутри Мир христианина. Мир атеиста — это Мир, детерминированный законами природы, и только ими, принципиально лишенный чего бы то ни было внешнего по отношению к нему. Мир, которого частицей являемся и мы сами. Мир, в принципе познаваемый и понимаемый нами. Этот Мир творит сам себя, и никто внешний не вмешивается в него и не наблюдает его, будь то сострадающе или равнодушно. И радостно сознавать, что мы, частица этого Мира,— в силу одного этого! — тоже непрерывно участвуем в этом акте самотворения Мира! Каждый из нас, если хотите, немножко демиург. Верно и то, что эту функцию творения Мира мы разделяем и с любой иной частицей этого Мира. Но в отличие от нее мы, во-первых, сознаем эту свою функцию демиургов, а во-вторых, способны ставить себе цели творения. Таковы особенности человека. Этим он не «хуже» и не «лучше» всего прочего материального Мира. Просто он таков есть. В этом его функция. Он, если хотите, орган самопознания Мира.

Не знаю, сумел ли я сжато изложить, что такое Мир атеиста. Видимо, нет. Я этот Мир вижу изнутри, а Вы неизбежно будете смотреть на него со стороны. Но для меня этот Мир не ужасен, а радостен. Человек в этом мире заслуживает уважения, ценен сам по себе не потому, что он творение Бога, создан по Его образу или подобию или вступает через Богочеловека в некую мистическую связь с Ним. Человек ценен автономно только в силу того, что он Человек.

В историческом прошлом наиболее приближается к этой концепции концепция ренессансного человека. XX век, существенно прояснивший точным знанием место Человека во Вселенной, дает для нее более серьезные основания.

Мы поняли, насколько неантропоцентрична Вселенная. Мы поняли, насколько относительно слаб и беззащитен в этой Вселенной Человек, сколь скромное место он занимает в мире. И одновременно мы поняли, что эта капля протоплазмы сама в себе обретает силу, достаточную, чтобы познать бесконечный Мир и даже изменять его. Это ли не вызывает уважение? Легко быть сильным, легко быть Демиургом, если ты Бог. Труднее быть демиургом, если ты Человек. Видимо, Вы помните старое стихотворение Дм. Мережковского (его у меня нет под рукой и, как обо всем, я пишу по памяти) о том, как

...Шла толпа бродяг бездомных
К водам Ганга из далеких стран.

Непогода загнала их в буддийский храм, где они увидели статую Будды с огромным алмазом во лбу. И бродяги подумали о том,

Сколько хлеба, серебра и платья
Им дадут за дорогой алмаз

и решили взять его. Попытка эта вызвала громы и молнии, негодование божества. Но вожак их не испугался этого и смело выступил вперед, говоря:

Владыка Неба — Ты не прав!

И пристыдил Божество, ставящее почитание Себя выше страданий «малых сих». Я не припомню всей его речи, но

Он умолк, и чудо совершилось:
Чтобы взять алмаз они могли,
Изваянье Будды преклонилось
Головой венчанной до земли.
Бог, великий Бог лежал в пыли.

Мне это стихотворение представляется весьма значительным. Позиция Человека явно достойнее позиции Бога. Он не имеет молний и все же решается бросить Ему вызов.

Нет, не абсурд, не ужас, не отчаяние — позиция атеиста. Это позиция законной гордости, понимание самоценности и бесконечная радость познания. Это страшно интересно, прямо-таки дух захватывает — быть инструментом самопознания Мира.

Вы, однако, правы, предлагая атеисту переименовать себя в агностика. Действительно, помнится, еще со времен Канта известно, что бытие Божие нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Поэтому, строго говоря, я действительно не знаю, есть ли Бог. Казалось бы, при позиции незнания обе платформы, верующего и атеиста, должны считаться равноценными. Но это не так. Вы должны смириться с тем, что Вы имеете дело с естествоиспытателем, с человеком научного склада мышления. Так вот — со средневековья, со времени становления современной науки, ученые всех веков и народов в своей деятельности руководствуются принципом, известным под названием: бритва или лезвие Оккама. Он гласит: сущности не должны умножаться беспредельно. В расшифровке это означает —

если факты не принуждают меня признать наличие некоей новой сущности, я не должен вводить ее в свои построения. В противном случае, если я без оснований ввожу в свои построения сущность А, то почему бы мне не ввести и сущности В, С, D и так далее до бесконечности. Есть ли у меня основание вводить в мою концепцию Мира сущность «Бог»? Таких оснований у меня нет.

Кажется, Тьюринг в попытках определить, что такое разум, предлагал следующий эксперимент. Пусть за непрозрачной стенкой находится нечто: кибернетическая машина, Человек или что-либо еще. Мы вступаем с ним в общение. И если по поведению этого «Нечто», которого мы не видим, мы не сможем отличить его от человека, то это нечто — разумно. Короче: разум — это то, что ведет себя разумно.

Так вот — воспользуемся тем же методом: Мир, который мы наблюдаем, ведет себя так, как если бы Бога не было. В этой связи вспоминается четверостишие Тютчева о «природе-сфинксе»:

> ...никакой от века
> Загадки нет и не было у ней.

Это, разумеется, не доказательство. Это обоснование выбора. Если я получу в руки факты, необходимые для введения новой сущности «Бог», я не поколеблюсь изменить свою позицию. К этому меня побуждает честность ученого. Пока же таких фактов нет.

Все это я написал, чтобы Вы лучше поняли, что такое атеизм. Боюсь, что слабо написал. Ну, если Вы захотите, в дальнейших письмах мы обсудим еще эту тему.

До сих пор речь шла о приятии или неприятии концепции Бога. Я согласился с Вами, что термин «агностик» здесь вернее, ибо неприятия Бога у меня нет. Просто нет оснований для приятия Его. Теперь перейдем к религии. Я намеренно разделил эти два вопроса, ибо понятие «религия» включает в себя многие исторические, социальные, этнографические и другие наслоения. В понятии «религия» — не только Бог (если даже допустить Его существование), но и отношение людей к Нему и между собою.

Так вот, религия (а не Бог) для меня активно неприемлема по основаниям нравственным. Вас это удивит, ибо традиционно религия считается основанием всякой нравственности. Постараюсь объясниться.

Обращение к религии всех времен и народов убедительно показывает, что между религиозностью и нравственностью отдельного человека нет никакой связи. Примеров несть числа. Инквизиция и Борджиа, «обращение» индейцев и рептильность церковной иерархии, «неправославность православия», о котором Вы пишите... Да что говорить! Это крайние проявления, но и не в столь диких формах — сколь много безнравственных христиан! И сколь много нравственных атеистов!

Социологические обследования не проводились, конечно, по этому вопросу, но если бы они были проведены, то, видимо, результат был бы прост: нравственность и безнравственность равно распределены среди верующих и неверующих. Религия и мораль (в лучшем случае) — величины независимые. Человек морален или нет не потому, религиозен он или нет. Этого своего впечатления я пока не могу, конечно, подкрепить точными цифрами, но и Вы не можете. Примеры — всегда только примеры.

Для доказательства моральности религии (конкретнее — христианства) обычно указывают на декалог. Он действительно в наиболее концентрированной и четкой форме формулирует основания общественной нравственности. Но вот что интересно — основные положения декалога с малыми вариациями повторены в моральных кодексах всех религий и даже нерелигиозных социальных учений. Это одно заставляет заподозрить, что дело не в богодухновенности декалога, просто он фиксирует основания естественной нравственности.

Не хочу уходить в сторону и обсуждать, что такое естественная нравственность. Выскажу лишь мою позицию биолога (ибо я не только астроном, но и биолог): естественная нравственность, равно как и естественное право,— это сумма норм поведения, максимально способствующая сохранению человека как биологического вида Homo sapiens. Человек в своем эволюционном пути от стадного животного к разумному социальному организму не потерял же в конце концов своей биологической природы! Основной закон сохранения биологического вида распространен и на него: вид должен увеличивать свою численность, расширять свой ареал, регулировать численность (плотность) особей так, чтобы индивидууму обеспечивался необходимый минимум средств существования. Все это требует от вида и определенных норм поведения, которые вырабатываются методом проб и ошибок. У животных — это жесткие законы иерархии в стаде, у человека — социальный опыт, фиксированный сначала в устных, а затем и в письменных преданиях.

Так что самое наличие декалога не есть еще свидетельство его богодухновенности. Им было бы то обстоятельство, что верующие в особой степени строго следуют ему, что вера повышает их мораль. Этого мы не видим.

Это о прописных истинах нравственности. Но религиозное мироощущение добавляет к ним и еще некоторые моменты, по сути своей аморальные и для меня неприемлемые абсолютно. Их, как минимум, два. Первое — это идея воздаяния. Идея рая и ада. Сама мысль о плате, воздаянии вводит в мораль, в поведение — корысть. Это уже безнравственно с моей точки зрения. Я, видите ли, должен быть

честным и смелым, добрым и щедрым потому, что мне за это заплатят! Неважно, в чем эта плата состоит, неважно, что ею является спасение души. Плата велика, но это плата. И какие хитросплетения слов ни создаются вокруг идеи воздаяния, абсолютное большинство людей во все века воспринимали ее именно так. И чем проще человек, тем проще и воспринимает он эту идею. Отсюда такие крайности, как убеждение в возможности купить вечное блаженство — купить за деньги. Отсюда индульгенции и пожертвования на храмы да и та торговля у свечного ящика, о которой Вы с возмущением пишете. Это примитив. Но и в самом непримитивном, возвышенном варианте суть остается той же.

Это — развращающая, аморальная идея. Человек же должен быть нравственным не потому, что он что-либо получает за это, а без всяких условий. В конечном счете нравственность должна быть укреплена на уровне инстинктов, человек должен быть воспитан так, чтобы он не мог быть безнравственным. Идея воздаяния мешает этому. Она сводит мораль на одну доску со всем, что продается и покупается. А раз так, вопрос идет только о цене.

В тесной связи с этим находится и идея страха. Человек должен «бояться» Бога. В какие кавычки ни ставь это слово, но это все-таки слово «бояться»! Мы и так слишком много боимся. Человеку ли создавать себе лишние жупелы? Богу ли хотеть, чтобы Его боялись? Невозможно понять, почему отношения между Всемогущим и смертными должны строиться на такой основе! Велика ли честь для Всемогущего, что Его будут бояться? Есть ли чем гордиться Демиургу, создавшему пребывающие в страхе существа?

Прошу простить мне это сравнение, но мир, построенный на такой основе, слишком напоминает лагерь. Идея «воспитания» та же: взыскание — поощрение, в зависимости от поведения. Несостоятельность такой системы давно уже подтверждена всем ходом истории.

Второй круг идей, для меня абсолютно неприемлемый,— это идеи, связанные с понятием покорности. Основная идея, питающая другие, дочерние идеи,— это идея покорности Богу. «Все в руце Божией». Как всегда в авторитарной системе, возникают и более низкие уровни, также требующие себе подчинения. И идея покорности освящает и их: «Нет власти аще не от Бога», «Воздайте Кесарево — Кесарю» и т. д.

Самое страшное в идее покорности Богу — это не она сама по себе, а то, что ею воспитывается своеобразное миропонимание. Если человек однажды позволил себе покориться, не рассуждая, покориться абсолютно, то это погибший человек. Душу, разъеденную покорностью, очень легко подвести под любое другое ярмо. Лиха беда начало! В этом смысле религиозное мироощущение и мироощущение тоталитарных идеологий до страшного близки. «Не сомневайся!» «Веры!» «Те, кто выше тебя, лучше тебя». Крайности сходятся, несмотря на отмеченные в истории резкие конфликты. Но это конфликты не противников, а конкурентов.

В этом смысле религиозное и тоталитарное мышление совокупно полярны научному. Научное мышление все основано на праве сомнения. Все есть предмет проверки и критики. Ничто не должно быть воспринято на веру. Евангельский прообраз научного мышления — апостол Фома.

Вот здесь мы, пожалуй, подошли к центральному пункту нашего несогласия. Человек поверил в Бога. Казалось бы, надо радоваться, ведь Бог — это Бог. Но вот беда. Единожды допустив возможность беспредельной, безусловной веры, человек в принципе допускает возможность и других вер, вер в то, что отнюдь не Бог. И человеческая история показывает, что эта принципиальная возможность всегда осуществлялась. Такова уж структура человеческого мышления. Этим можно огорчаться, но нельзя этого не констатировать.

Это чувствовали и сами основатели религий. Призыв — «не сотвори себе кумира» — не случаен. Авторы его понимали, что верующий человек очень расположен верить еще и в любое иное, более близкое и понятное ему, верить в кумира. Это неизбежно диктует ему структура его мышления. И это тот призыв, который во все века оставался безуспешным. Люди творили, творят и еще долго будут творить себе кумиров, пока не будет понято одно: высшая ценность для человека — это Человек. И ничто вне его, ничто над ним, ничто рядом с ним...

До сих пор речь шла об обобщениях. Позвольте мне теперь очень кратко коснуться некоторых моих личных живых наблюдений последних лет. Они сделаны в здешних, весьма своеобразных условиях. И своеобразие их в том, что они очень быстро обнаруживают истинную сущность людей и идей. Все хорошее и все плохое скорее чем где-либо достигает здесь своего крайнего выражения. Это обычное свойство трудных условий. Так вот, если я сейчас настроен так резко, как Вы почувствовали из этого письма, то львиная доля этих настроений — результат знакомства и наблюдений над местными верующими[1].

Как правило, вера всегда влечет за собою безудержный, агрессивный шовинизм. Идея особой роли России призванной нести через православие свет всему миру, тут же приводит к злому, глухому непониманию нужд и забот любого дру-

---

[1] Примечание 1977 г.: По выходе из заключения я прочел создававшиеся почти в то же время «Дневники» Эд. Кузнецова. Близость наблюдений и оценок поразила меня. Среди них такое: «Характерно, что ничто так не отвращает от религии, как личный — особенно камерный — контакт с верующими».

го, не-русского человека. Мне, русскому, стыдно за таких верующих, но, увы, среди здешних русских — именно они большинство, почти абсолютное. Я со своей совсем иной оценкой тут практически один. Но тем более мой долг показать, что бывают и иные русские.

Далее. Уверовавший человек здесь, как правило, уходит «в никуда». Он замыкается в себе, забывает все некогда одушевлявшие его идеи, становится пассивным. Фактически умирает для других людей. «Все суета сует». «Все, что есть,— это по воле Божией, и надо подумать, за какие грехи на нас ниспослано это наказание». Удивительно удобная позиция, выгодная позиция, но кому? И вот еще любопытно — это позиция, доставляющая определенные выгоды и самим этим людям, чисто земные выгоды [2]. Ведь идея воздаяния распространена широко. И нет ли в этой позиции, гласно основанной только на религиозных понятиях, еще и некоторой доли пусть неосознанного, но лукавства? Желания спокойно жить? И религия лишь обеспечивает для этого удобное прикрытие?

К этой, если можно так выразиться, социальной черствости добавляется еще и черствость личная. Я был свидетелем, как тяжелый кризис, развивавшийся в одном из наших друзей, не только не вызвал тревоги в этих верующих, но, напротив, вызвал радость, ибо эволюция шла в их сторону. «Исаия, ликуй!»... Ничего не помогало, даже мои мольбы, чуть ли не со слезами на глазах, поберечь человека, быть с ним повнимательнее. Пока не грянул гром [3]. Где же эта даруемая верой чуткость, открытость сердца?

В данном случае нет речи о том, что это индивидуальные особенности людей, безотносительные к их вере или неверию. Судьба поставила чистый эксперимент. Я лично наблюдал нескольких человек в течение более года и с ужасом убедился, как менялся на глазах человек, некогда бывший буквально средоточием всего лучшего, что может быть в человеке: честности, мужества, бескомпромиссности, доброты, мягкости... И все это больше и больше отмирало в нем по мере того, как катастрофически усиливалась в нем религиозность.

Ваши письма, в частности, вызвали у этих людей очень большой интерес, но при этом — резкое несогласие. Многие их возражения касаются чисто церковной проблематики, мне непонятной. Но вот: Ваше утверждение о том, что Ганди более близок к Богу, нежели Иван Грозный, вызвало протест, близкий к ужасу. Боюсь, что Вы для них — неправославный.

Но это заметки в сторону. Частности и личные наблюдения. Хотя и небезынтересные, на мой взгляд.

Так как же с «анонимным христианством»? Я горжусь Вашей оценкой, оценкой одного из самых мною уважаемых людей, хотя и понимаю всю ее незаслуженность и преувеличенность (без скромности, просто реально оценивая себя). Буду лишь стараться в будущем стать достойным Вашего мнения обо мне. Но не могу согласиться с титулом «анонимного христианина».

Казалось бы, почему? Ведь, как бы мы ни спорили между собой, нас с Вами одушевляют одна мораль, одни стремления, одно дело, одни идеалы. Так ли уж важно, как их назвать? Важно, ибо исторически со словом «христианский» сцеплено многое такое, чего принять я не могу. А человеческая психика устроена так, что принимает понятие в целом, таким, как оно сформировалось в истории. Назвав кого-либо христианином, пусть даже анонимным Вы тем самым в глазах других людей создаете его вполне определенный облик, отличный от того, который Вы сами себе представляете и который действительно имеет место. Слово имеет самодовлеющую силу и пользоваться им надо осторожно.

В а ш е понимание мне импонирует. Название это в В а ш и х устах — для меня честь. Но что будут вкладывать в это другие уста? Боюсь, что Ваших единомышленников будет среди них мало.

Все, что я писал до сих пор о религии, конечно, в первую очередь относится к христианству, к религии, с которой я знаком более, чем с другими. Хотя знаком, конечно, очень мало, так что не могу, конечно, сказать, что, по Паскалю, проверил документы на право владения со всей тщательностью. Но если «проверять документы» христианства, то почему бы не проверить и документы других религий? Мусульманства? Буддизма? Индуизма? Отбросить любую из них — значит сделать выбор до проверки, и тогда сама проверка теряет смысл. А «проверить документы» всех, даже крупнейших, мировых религий — на это не хватит ни жизни, ни сил. Тут уже нужен другой образ: не знакомиться с документами на право наследства, а перерывать огромный архив, в котором, возможно, находятся такие документы, а возможно, и нет. А ведь пока я разрываю, я мог бы возделывать свой виноградник! По-моему, ситуация именно такова.

---

[2] Примечание 1977 года: Речь идет о простом — лагерная пассивность, неучастие в протестах в политическом лагере уже вознаграждается: человек избегает суровых наказаний, получает дополнительные свидания, посылки и т. д. Это малое для многих в лагере становится крайне значительным. Увы...

[3] Примечание 1977 г.: Всего за два месяца до написания этих строк один из лучших людей в лагере, юноша чистейшей души и мужества, заболел — с явными признаками религиозной мании (самый распространенный в лагере вид душевной болезни). Кризис разразился в одну ночь: человек бросился на колючую проволоку запретной полосы, под пули охраны, а затем пытался покончить с собою, к счастью, безуспешно. Верующие, ликовавшие по поводу его духовной эволюции, позднее горько каялись в своей слепоте. Но лишь позднее... Фамилий никаких я не называю намеренно. Участники событий, если прочтут эти строки, узнают всех персонажей и — себя.

Вы абсолютно правы, говоря о том, ч т о   д о л ж е н   б ы т ь   н е к и й   в ы с ш и й   с м ы с л   в   т о м,   ч т о   с и л ь н о м у   ч е л о в е к у   н е   д а ю т с я   о т к р о в е н и я   р е л и г и о з н о й   в е р ы. Да, такой смысл есть. И поскольку направление развития человечества — желаемое и действительное — в сторону увеличения числа людей сильных (духовно, речь идет и у Вас и у меня, конечно, не о сверхчеловеках), то каковы же исторические перспективы веры?

И если принять Вашу концепцию свободного Мира (все же, вопреки Вашим заверениям, мало отличающуюся от концепции деистов), если принять (на минуту) концепцию Верховной воли и Создателя, то не придем ли мы к выводу, что Бог н е   х о ч е т, чтобы люди были верующими. Когда они росли, Он давал еще им подпорку, но теперь, скажет Он, Вы взрослые, перестаньте же цепляться за материнскую юбку. Ведь вы — люди!

Видите,— и Ваша и моя концепция Мира в итоге не так уж и расходятся. И — это главное — они диктуют нам общую линию поведения, общие оценки Мира, в котором мы живем, общую мораль. Они диктуют нам не разделение, а сближение. И это — в конце концов главное. Давайте работать рука об руку, уважать друг друга, не пытаясь зачислить друг друга по своему ведомству. Ведь в этом и состоит великий принцип демократии, что все воззрения, все идеи, все концепции, не претендующие на уничтожение других, равно уважаемы и имеют абсолютное право на жизнь. Будем уважать друг друга не потому, что мы одинаковые, а потому, что мы разные!

Вот вкратце то, что мне хотелось бы ответить Вам в связи с Вашим рефератом. Перечитывать письмо я не стану. И так я чувствую, что, видимо, я Вас огорчил. Но что делать, дорогой Сергей Алексеевич,— ответив иначе, я был бы неискренен. Вы уж простите меня как христианин: не могу я быть иным...

Искренне Ваш, в ожидании ответа

10.7.1974

Свящ. С. А. Желудков — К. А. Любарскому

(серия писем)

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич! Приношу Вам сердечную благодарность за письмо. Мне совестно — Вы так тревожитесь, что причините мне боль. Нет, поверьте. Ваше драгоценное письмо причинило бы мне только радость — если бы не боль при мысли о Вашей скорбной судьбе.

Благодарю Вас за корректирую орфографию величайшего из слов и его местоимений. Вообще полемической вежливости надо у Вас поучиться. Чтобы не пропустить ничего, я буду отвечать последовательно по тексту вашего письма. Ответ мой будет в нескольких письмах.

С приветом и наилучшими пожеланиями...

30.7.74

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич! Теперь моя очередь опасаться — как бы не слишком огорчить собеседника. Но мы ведь условились, что у нас — мужской, мужественный разговор. А мужество Ваше уже прошло самые тяжелые испытания.

Мне очень не по себе в описанном Вами «мире атеиста». У меня острое чувство подавленности, несвободы. Почему это мне запрещается подумать о физической Вселенной «извне», почему я должен обязательно принять как аксиому, как догму, что действительность заключается только в физической Вселенной? И даже если говорить пока только о ней — почему запрещается иметь понятие о Высшем Интеллекте? Когда ученый открывает закон природы и мы восхищаемся его интеллектом — как же тут не подумать о Высшем Интеллекте, который «установил» эти столь премудрые законы? Как согласиться, что для этого не требовалось никакого ума? Эйнштейн написал (цитирую по выписке из книги К. Зелинга): «Моя религия — это глубоко прочувствованная уверенность в существовании Высшего Интеллекта, который открывается нам в доступном познанию мире». Правда, он тут же назвал себя «пантеистом», в чем был уже догматизм. Но столь же догматично и отрицать само это естественное понятие о Высшем Интеллекте. Или вот эта Ваша декларация, что « м и р   т в о р и т   с а м с е б я »: для меня это — совершенно мистическое выражение, в котором я не чувствую мистической правды. Правда же рациональная заключается в том, что одинаково непостижимы для обычного нашего разума оба предположения — что мир сотворен и что мир не сотворен.

Подождать с догмами, остановиться перед тайной,— в этом свобода агностика, и Вы признаете правомерность этой позиции — но тут же спешите уйти с нее обратно в мир догматического атеизма. Ссылаетесь на Вашу честность ученого. Но позвольте напомнить, что есть другие ученые, и притом самого высокого класса, которые свидетельствуют, что наука не запрещает им не быть атеистами. И даже напротив — некоторые заявляют, что наука-то и направляет их к религии. Мне запомнилось имя Нобелевского лауреата А. Комптона, который написал об этом очень просто: «Гипотеза о разумном Божестве дает более приемлемое объяснение Вселенной, чем любая другая гипотеза». Нашел эту выписку — это из сборника «Современные религиозно-философские течения в капиталистических странах», М. 1962, стр. 32. В этом же сборнике на стр. 124 приводится изложение взглядов реакционного философа Эмиля Жирардо: «...Сама наука толкает нас к познанию некоей мистической среды, которая не поддается

рациональному познанию и не укладывается в рамки логических категорий. Раскрывая перед нами несравненно более богатую и более сложную, чем это предполагалось ранее, природу, наука напоминает нам об уважении к трансцендентности и к могуществу мистики. Позволяя нам прогрессировать в изучении реальности, наука толкает нас к познанию «ультрареальности», т. е. того, что мы оцениваем как метафизику. Бессилие физики, в частности атомной теории, объяснить существующую гармонию мира, заставляет нас предположить иной первоначальный Принцип, чем материальное начало...» В послесловии к переводу книги «Симметрия» Германа Вейля (М. 1968) излагается суждение автора, что «именно наука и особенно математика открывает для мыслящего человека путь к Богу». Разумеется, это — не доказательства; но это достаточные свидетельства, что совсем не обязательно ученому быть атеистом.

Вы подчеркиваете: «Мир, который мы наблюдаем, ведет себя так, как если бы Бога не было». Но позвольте заметить: в понятие «поведение мира» разве не входит и религиозный опыт человечества? Пусть он выражен не на языке науки; но объявлять его иллюзорным — это значило бы решать вопрос догматически. Верующий может возразить, что связи Бога и мира бесконечно таинственны — невидимы для науки. Бог — это не предмет, не «новая сущность», для естествоиспытателя. Бог выше всякой сущности и всякого определения. Если бы Бога не было, то и ничего бы не было. И вместе с тем мы можем уверенно догадываться, что вмешаться в «поведение мира» насильственно — для Бога значило бы разрушить свой мир, свой замысел свободного мира... Если представить эти доводы на суд агностика — он должен будет признать их уважительными. Я думаю, что «вопрос о Боге» должен всегда оставаться под знаком вопроса — в принципиальной нерешаемости. Продолжение следует.

С величайшим уважением

31. 7. 74

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич! Продолжая изучение мира атеизма, я обращаюсь к его ценностной, как Вы выражаетесь — нравственной характеристике.

Вероятно, вы не будете возражать, если в целом Ваше мировоззрение определить как оптимистический безбожный гуманизм. «Высшая ценность — Человек». Какой Человек? Конечно, Вы имеете в виду не белокурую бестию. Везде по тексту Вашего письма видно, что критерий ценности для Вас — «нравственность». Если Вы разрешите, можно перевести это на общий язык нашего разговора так: духовная красота.

В гуманизме христианском, в Христианстве веры духовная красота называется святостью и ей принадлежит верховное владычество над всем бытием. Идеал человечности для нас — Христос, Сын Божий. В таинственной общности с Ним все мы, каждое лицо человеческое, надеемся на Вечную жизнь.

С такими идеями христианства я вхожу в мир гуманизма безбожного — и что же я здесь вижу: я вижу, что духовная красота, идеальная человечность здесь поругана, повержена в прах. Христос умер и не воскрес, и все мы приговорены к вечной погибели. Говорят, что пусть мы умрем — зато будущие поколения возрадуются чему-то на наших могилах. Но еще праведный Иов надеялся: «Мои глаза, не глаза другого, увидят Его»... Нам предлагается верить, что глаза другого увидят за нас что-то уж такое хорошее, что и описать невозможно. Но увидят они то же самое, что и мы — свою смерть.

Где же этот Человек с большой буквы, высшая ценность бытия? Оказывается, что его нет — что это только обозначение суммы нулей, суммы смертей личного существования. А без личности нет и человечности. И даже обходя проблему личности, говоря о человечестве только собирательно, даже только физически: «Если нет Бога, нет Вечности — то нет и человечества». Ибо вот — и в Вечности его нет, и на земле его нет, на земле только дежурное, в свою очередь исчезающее поколение. А все человечество оказывается не на земле, а в земле — этой нашей общей могиле.

Есть ли нравственный смысл в этом царстве смерти? Только один пример. Вот человек страдает за правду, страдает вполне бескорыстно, не ожидая себе никакой Вечности,— и это в высшей степени нравственно, прекрасно. Но то, что он не увидит Вечности, будет уничтожен,— это в высшей степени безнравственно, чудовищно безобразно, и с этим я никак не могу примириться. Я готов бываю иногда примириться с моим личным уничтожением, но с уничтожением Христа я не могу примириться. И с Вашим уничтожением я не могу примириться. Такой мир не достоин существования, выражаясь на Вашем языке,— это мир безнравственный.

Итак, я имел основание, воображая себя в мире атеизма, испытывать чувство ужаса, сознание абсурда человеческого существования. Но вот, я читаю — Вы не унываете, Вам интересно жить, радостно жить... Правильно поступаете. Ибо и я-то ведь только воображал себя в мире ужаса и абсурда. С точки зрения верующего я думаю, что у Вас — очень здоровая душевная конституция, и в оптимизме Вашем действует природная и сверхприродная сила Вашей человечности.

1.8.74

(Продолжение следует.)

Наталья ИВАНОВА

Выйти из ряда

К ПОЭТИКЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА

1

Где и «когда» мы находимся?

Праздный и странный вопрос, скажут мне.

Если же задуматься над тем, что М. М. Бахтин определял как хронотоп — единое культурно-историческое время-пространство,— то вопрос покажется не таким уж странным. И вовсе — не праздным.

После того, как в начале 20-х большевики силой вернули назад ранее входившие в состав Российской империи пространства и народы, обретшие было кратковременную независимость, мы оказались в некоем фантомном пространстве — СССР. Граница, пропускавшая в это пространство, была строго идеологизирована. Сергей Прокофьев, возвращавшийся в «страшную СССРию» в 1926-м, отмечал в дневнике: «Поезд проехал под аркой, на которой написано: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» Человек попадал в другой мир — в новый, идеологически более высокий и лучший мир: «Начинается Земля, как известно, от Кремля». Дома стояли еще те же самые, но функция их стала иной. «Очень интересно было увидеть огромное здание Коминтерна,— записывает Прокофьев,— нечто вроде банки с микробами, которые рассылаются отсюда по всему миру». «Весь мир» противопоставлялся этому «новому миру». «Особым торжественным законодательным актом организовать на пространстве Союза 10 революционных заповедников, в коих бы и собрать атрибуты и живых участников великих событий — для вечного показа потомкам и поучения их»,— пишет А. Платонов примерно в то же время в рассказе «Надлежащие мероприятия».

Комментатор платоновского текста замечает: «Подзаголовок («святочный рассказ к 10-й годовщине»)... выбран автором не случайно. Соединив в нем название традиционного народного праздника (зимних святок, отмечаемых с 25 декабря по 6 января по старому стилю) с новым реолюционным календарем, А. Платонов обнажает пародируемый объект: абсолютную подчиненность единому революционному содержанию всех уровней культуры и жизни» («Новый мир», 1991, № 1). Не только пространство — время тоже подверглось идеологизации, исчислялось по пятилеткам, принимавшим особые названия. В фильме К. Шахназарова «Цареубийца» на вопрос императрицы о том, какой сегодня день (император в затруднении — смотря по какому стилю считать!), царевич твердо отвечает: «По стилю Ленина сегодня 16-е». «Год великого перелома» стал не просто 1929 годом от рождества Христова, а особым годом советского летосчисления.

Церковные праздники, которым следовал православный календарь, заменялись революционными. Год был расчислен — от первомая до 7 ноября. Под идейный запрет попадали как традиционные праздники, так и связанные с ними ритуалы и даже предметы — например, рождественская елка. Ее «реабилитацию» Пастернак отметил радостным стихотворением. Но к елке теперь полагалась не вифлеемская, а пятиконечная звезда. Живое время человеческой жизни управлялось, регламентировалось и упразднялось идеологией (десять лет, двадцать пять лет и другие «приговоры»). Пространство офици-

ально объявлялось безгранично свободным («широка страна моя родная»), а на самом деле превращалось в агрессивно расширяющуюся Зону.

Прошедшее, историческое время и в нашем, посттоталитарном исчислении обязательно сохраняет вынужденную идеологическую окраску. Мы делим исторические периоды на «оттепель», «заморозки», «застой». Вехами времени называли XX съезд, XXII съезд. «Шестидесятники» — не просто люди одного из поколений, а идееносное понятие.

Мы так свыклись с существованием в идеологизированном времени-пространстве, что трудно вообразить существование других стран (скажем, Западной Европы) в принципиально иных измерениях. И если уж в Великобритании или в США переход со сложившейся исторически системы мер и весов на европейскую требует по мировым стандартам огромных средств, то можно себе представить, каких усилий потребует возвращение колоссальной страны с ее народами в нормальное «место» и нормальное «время». И недаром почти все так называемые «межнациональные» конфликты связаны с возвращением территорий (Нагорный Карабах, Крым, Поволжье) или возвратом в свое национальное историческое время (до пакта Молотова — Риббентропа в республиках Прибалтики; до 1921 года в Грузии и т. п.). Если спрашиваешь в Латвии — скажите, когда построен этот дом? — тебе могут ответить: до катастрофы. Они еще помнят о нормально текущем, органическом историческом времени,— нам в России вернуться сознанием в утраченное время и место несравненно труднее.

Если составить частотный словарь нашего времени, то все слова и словосочетания, связанные со словом «идеология» — прорыв идеологии, борьба с идеологией, конец идеологии, наконец, деидеологизация,— окажутся, я полагаю, самыми употребляемыми.

«Идеологию» подпирает «политика», «идеологизацию» — «политизация».

Слово «идеология» продолжает употребляться в единственном числе — под «идеологией» подразумевается прежде всего марксистско-ленинская, коммунистическая.

Меж тем идеологий вокруг объявилось множество. Еще в середине 1990 года я писала об этом в статье, опубликованной «Литературной газетой». Я считала (и продолжаю считать) становление многоголосия идей основной характеристикой переживаемого нами момента.

В 1991 году в статье «Схватка с Левиафаном» («Новый мир», № 1) о том же напомнил В. Потапов: «Толком не раздышавшись после многолетнего засилья «научной идеологии», служившей к каждой бочке затычкой, мы хотим освобождения, хотим деидеологизации. Но ведь она означает не упразднение, а смену идей».

Несмотря на употребление им множественное число слова «идея», В. Потапов замечает, что идеологический кризис выражается «в отсутствии достаточно авторитетной, приемлемой для основных групп нашего общества идеологии». Отсутствие — неужто опять единственной? — идеологии признается кризисным. Что же из этого следует? Что для преодоления этого кризиса «основные группы общества» опять должны выработать объединяющую, «авторитетную», «приемлемую» всеми идеологию? Какую? В небольшой по объему статье дается прямой ответ: «Привлекательную перспективу открывает понятие соборности», «личность существует в соборности», «идея соборности могла бы быть разделена всеми». Во всяком случае, именно она в глазах критика «выглядит самой обнадеживающей и самой истинной». И как критик не оговаривает свое заключение — мол, «вряд ли» соборность «можно выразить в рациональных категориях», «это надо почувствовать»,—как он ни сравнивает искомую соборность с рублевской «Троицей», притягивая к этой идее не только верующих христиан, но и иноверующих, и вовсе неверующих, но тяготеющих к прекрасному, тем самым призывая нас вернуться от логики общественного развития к чувственно-эмоциональным категориям,—но смысл сказанного остается вполне очевидным. Путь же к торжеству соборности указан через «согласие» и «добровольное самоограничение».

Разбирая в связи с кризисом идеологии публикации идеологических романов, появившихся в последнее время, критик сосредоточивается ив их идеях. Литература опять, уже в который раз, служит прикладным материалом для высказывания заветных мыслей о том, кто, что и как спасет Россию.

Я же попробую, попытаюсь «зайти» с другой стороны — со стороны поэтики. Ибо проза есть все-таки — и прежде всего — проза, и идеология «ведет» себя в романе иначе, нежели в публицистической статье. Это все вещи банальные, но мы, оказывается, более чем привыкли без них обходиться.

Русское общественное сознание, развивавшееся необычайно интенсивно («ускоренно» — сказал бы Г. Гачев), как бы проецированное в литературу, посылало в поэзию и прозу «импульсы» сменяющихся исторических характеров — от «лишних людей» и декабристов до нигилистов. Уже в 60-е годы прошлого века в русской литературе возникает жанр идеологического романа, романа — полигона идей (первоначально — шестидесятнических и антишестидесятнических). В формировании жанра участвовали Тургенев и Лесков, Чернышевский и Достоевский, Герцен и Гончаров. Последекабристский романтизм с его акцентом на внутренней жизни личности, выражением которого в литературе стало возникновение психологического романа, сменяется социологическим очерком, а на базе двух этих жанровых образований и формируется русский идеологический роман, блестящим образцом которого, оказавшим определяющее влияние на русскую прозу (и — жизнь) XX века, стали «Бесы» Достоевского.

В литературе послереволюционного периода запретные «Бесы» приобрели статус антиромана, а идеологический роман, роман-драма идей, был замещен романом идеологизированным, ведущим свое происхождение от канонизированного «Что делать?» Чернышевского. Роман идей (идеологический) ушел в подполье, в неофициальную литературу; его развитие связано с именами Е. Замятина, Б. Пильняка, А. Платонова; подлинными романами идей стали «В круге первом» и «Раковый корпус» Солженицына, «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана («Колымские рассказы» В. Шаламова тоже складываются в грандиозную фреску, которую можно рассматривать и как драму идей). В литературе социалистического реализма восторжествовал роман монoидеи: от «Матери» Горького к «Как закалялась сталь» Н. Островского и — через множество эпигонов — к советскому так называемому «политическому роману» Чаковского, Проханова и т. п.; к идеологизированному роману, одним из последних образчиков которого и явился роман В. Белова «Все впереди», повторяющий родовые черты совкового соцреалистического клише. Претензии, предъявленные критикой, здесь носили прежде всего идеологический, а затем уже—художественный, эстетический характер. «Общим местом» для многих, выступивших против романа с либерально-демократических позиций, было противопоставление «двух» Беловых: Белова-раннего, подлинного художника,— Белову-позднему, одному из идеологов национализма.

При этом никто — ни с «правой» стороны, ни с «левой» — не попытался исходить из жанра; текст использовали как аргумент в идеологической полемике.

Роман В. Белова стал символом, знаком: отрицательным — для демократов («...есть нечто человеконенавистническое».— Т. Толстая), положительным — для «охранителей». И сам сюжет, и расстановка героев, и пространные их монологи, в которых явно слышался авторитарный голос, безапелляционно расставлявший не только акценты, но и оценки, выстраивали определенную каркасную идеологему, населенную марионетками, которых писатель обряжал в беллетристические одежды.

«Все впереди» — роман художника-архаиста, певца и реставратора старинного лада и исчезающей русской деревни. Писатель-архаист чувствует, как городской материал отталкивает, мнет его стиль,— и принимает это крушение за крушение всего мироздания. Отсюда — стилистическая катастрофа романа. Неудача Белова — не столько идеологическая (в конце концов роман не статья и история литературы знает множество примеров, когда из «неправильной» идеологии рождалось замечательное в эстетическом отношении произведение), сколько художественная. Возникает впечатление, что Белов намеренно пожертвовал художественностью — ради того, чтобы наконец окончательно высказаться. Впечатление ложное, я думаю, обманчивое,— ибо какому художнику хочется принести такую жертву добровольно? Думаю, что жертва была непроизвольной.

Примитивным было бы полагать, что «плохая», с нашей точки зрения, идеология в этом виновата: мол, если бы Белов насытил свой текст «хорошей» идеологией, то она спасла бы роман...

Белову не удалось развернуть необходимую для полноценного осуществления жанра, им избранного (идеологического романа), драму идей. Более того, такой задачи он перед собою и не ставил. Откуда же взяться драме идей, если автору абсолютно точно и с самого начала ясно, кто во всем виноват. Установка монополизирующего истину авторского сознания «съела» художественность.

Либеральная критика ностальгически вздыхала: куда же исчез художник Василий Белов, автор «Привычного дела»? Но источник идеологии «Все впереди» можно обнаружить и в ранней повести, поистине замечательной в художественном отношении (идеология разоренного крестьянства, выброшенного из гнезда, из привычного дела и образа жизни). В «Привычном деле» Иван не задумывается над тем, почему же он обречен на недочеловеческое существование. Его дети, горожане в первом поколении, задумались. Я не оценку даю, а определяю источник романа, плеснувшего бензином в уголья идеологического спора, мерцавшего под пеплом.

2

Спустившись с поверхности подцензурных изданий, эти споры в 70-е годы переместились в неподцензурную, или, как еще ее называют, диссидентскую литературу.

Идеи обновленного национал-радикализма и либеральной демократии ушли вглубь исторически одновременно — и формировались в противостоянии официальной идеологии.

В публицистике Л. К. Чуковской, вошедшей в книгу «Процесс исключения», анализируются способы сопротивления машине, стремившейся поработить мыслящего человека. Л. Чуковская подробно описывает свое поведение и действия — как своего рода самоэксперимент.

Статьи Чуковской, вызвавшие яростное негодование аппарата, появлялись прежде всего в «самиздате» — а затем и в «тамиздате». То, что мы сегодня по праву называем идеологическим романом, или романом идей, вызревало в недрах «самиздатовской» публицистики. И сегодня «Процесс исключения» читается как автобиографический роман — «чужие» слова, записываемые допрашиваемой коллегами-литераторами Чуковской, выразительны, «изобразительны» и почти не требуют комментариев и объяснений.

При идеологической однородности «голосов» литературных палачей и их пособников, осуществлявших расправу над беззащитным словом, способным, однако, стать обвинителем перед судом истории, любопытны их оттенки: от наглой пошлости и цинизма — до трусости, трусливого обволакивания «словесами»; от мелодраматического заламывания рук над «бедной памятью отца» — до стремления как можно грубее растоптать достоинство человека. Чуковская — не только замечательный общественный деятель (у меня, правда, не подымется рука написать что-то вроде «совесть народа» или «совесть цеха»,— нет, не потому, что это не соответствует истине: очень даже соответствует, а потому, что пафос этих словосочетаний, активно используемых ныне как «правыми», так и «левыми», оставляет на губах дурное послевкусие), но прежде всего писатель, прозаик. В моем восприятии «Процесс исключения» именно как проза сильнее беллетризированного «Спуска под воду»; и несомненные высокие литературные достоинства первого проистекают из существеннейшего для проблематики и поэтики «Процесса» события: перехода через границу, через стену, отказа от участия в подцензурной литературе, требовавшего определенных компромиссов. Осуществлению себя как литератора в условиях неподцензурной печати, неподцензурного слова.

«Как все литераторы, я печаталась в рамках советской цензуры,— пишет Л. Чуковская.— А в этих рамках всякий литератор неизбежно превращается в арифмометр. Согласишься на уступку — и тебе разрешат произнести вслух нечто, представляющееся тебе чрезвычайно важным. Не согласишься — не дадут сказать ничего. Считай, что разумнее. И я когда-то была арифмометром: рассчитывала — высчитывала».

От решения этого вопроса, как показывает Чуковская в «Процессе исключения», зависело окончательное определение ее литературной и человеческой судьбы. И, конечно же, не только ее.

(Именно поэтому вопрос выбора жизненного поведения становится в «Процессе исключения» сюжетообразующим.) Этот выбор был наисущественнейшим для каждого литератора, и каждый решал его по-своему. Я намеренно выношу за рамки статьи официоз, ибо для «разрешенной литературы» этой проблемы не существовало вовсе. Но внутри круга писателей, для которых эта проблема была существенной, сформировалось по крайней мере три пути. Разделение это, конечно же, условное, и писатели (или чаще всего их произведения) подчас кочевали из группы в группу.

Первый — выбор эзопова языка. С одной стороны, это был путь высвобождения от гнетущих цензурных рамок, с другой — поиска особых художественных средств для реализации такого «лукавого» освобождения.

Второй — путь сознательного раздвоения, деления своего творчества на подцензурное и неподцензурное.

И, наконец, третий — полный отказ от сотрудничества с официальной печатью: путь, обрекавший писателя на изгойство. Это был путь, сознательно избранный А. Солженицыным, В. Корниловым, В. Кормером, Ф. Световым, В. Максимовым... Именно в кругу этих писателей — при всем различии их дарований — и формируется современный идеологический роман. Мощнейший толчок развитию и становлению этого жанра дал Солженицын — «Кругом первым» и «Раковым корпусом», а также публицистикой, в которой впервые с безоглядной независимостью зазвучал голос другой идеологии. В прозе нашего времени именно Солженицын совершил не только идейный, но художественный переворот, освободив своих героев (и их сознание) для выражения и столкновения в бесконечных спорах разных «правд», разных оценок действительности. И, хотя идеологическая модель солженицынского мира с его пафосом пророчества и учительства иерархична, ибо автор знает Истину, каковых не может быть несколько (см. статью «Наши плюралисты»), более тяготеет к толстовской, чем «достоевской» модели,— отпущенные автором на свободу голоса оказали колоссальное воздействие на развитие неподцензурной литературы и явили «плюрализм в действии».

Несмотря на решительный переход через границу подцензурности, эта литература подчас продолжала опираться на беллетристический сюжет, не «завязанный» в идеологии. Традиционный беллетристический сюжет стал каркасом, на который нанизывались различные идеологии, «вызревавшие» в героях.

Сюжет романа В. Корнилова «Демобилизация» — история любви офицера Бориса Курчева и аспирантки Инги Рысаковой, окруженная историями «неистинных» любовей (интрижек) других персонажей. Этот сюжет — подспорье для основного, идеологического сюжета: попытки человека вырваться из системы государства в государстве (военной), «демобилизоваться». В этом сюжете Корнилов сводит целый ряд «голосов», точек зрения, сознаний, открытых к полемике. И — выбирает в герои литераторов, сочинителей, отчасти — графоманов.

Сочиняет свой реферат («О насморке фурштатского солдата») Борис Курчев. Но это все-таки не столько научный реферат, а скорее художественное эссе, в обсуждение которого втягиваются (и по отношению к которому формулируют свою идеологию) другие герои: литератор-неудачник, неославянофил Бороздыка, «марксист»-философ, тяготеющий к «поискам национальных корней», раздвоенный даже в фамилии Алексей Сеничкин-Сретенский; сама Инга, специалист по английской литературе, либералка по убеждениям; ее первый муж, либеральствующий краснобай Крапивников.

Все они пока еще варятся в одном котле, входят в один кружок (Корнилов относит действие романа к 1954 году, но на споры героев постоянно падают отсветы и рефлексы проблем и споров 60-х годов,— что уже было отмечено критикой). Это типичное московское интеллигентское окружение, в котором и зародятся те, кого назовут диссидентами: «великие, но непризнанные поэты, художники, безработные актеры, журналисты, историки», которые не могут жить без «полупьяной веселой болтовни, без последних, самых свежих анекдотов и непроверенных новостей, без вольных разговоров, прерываемых в самый опасный момент».

Глава кружка — Крапивников, «критически мыслящая личность», обрисованная автором через восприятие Инги вполне иронически: «эти критически мыслящие личности прямо на ее глазах распа-

дались. Днем говорили одно, вечером — другое; провожая ее домой, измывались над тем, что без всякого смущения провозглашали с изрядным пафосом с факультетской трибуны».

Повторяю: «крапивниковское вольнодумство» людей, чья свобода «весьма ограничена»,— это пока еще преддиссидентский кружок.

А курчевский реферат — камушек, заброшенный в бурлящие воды кружка. Оттолкнувшись от фразы Л. Толстого, Курчев размышляет о проблеме личности. Он прежде всего оспаривает низведение человека, на какой бы ступени общества он ни стоял, к чему-то неживому (живое ведь «даже округлять нельзя») — «гвоздю, винту, болту, гайке и прочей скобяной мелочишке» (это, конечно же, ответ на знаменитое сталинское сравнение). Разбирая этот трактат-эссе, ставя его в центр авторских идей, текущая критика вычленяет в романе «комплекс «идей», характерный для идеологии либерализма: уникальность человеческой личности, понятие некоего «пространства свободы», «свободы выбора». «Главный комплекс либералистского сознания — в связях оно видит прежде всего путы», его «пути к свободе отрицательны», либералистское сознание «не р а з р е ш а е т извечный конфликт личности и общества» («Новый мир», 1991, № 1).

Не анализ идей романа В. Корнилова (или даже эссе его героя) отчетливо слышен в этих словах, а суд над одной из них. Мне как-то неловко напоминать, что идеи автора и идеи героя — это не одно и то же, что герой не является alter ego автора; что Корнилов пишет не исповедь, а роман; и либералистский «комплекс идей», обнаруженный критиком, вовсе не покрывает собою проблематику даже эссе Курчева. Критик лишь выбирает из нее наиболее удобную, подходящую для «антилибералистской» концепции мысль и в соответствующем стиле ее интерпретирует.

Вывод же критика («Проблему свободы либерализм склонен решать юридически, в категориях прав личности, демократического механизма общественной жизни») рожден не текстом Курчева (а тем более — Корнилова), а, смею предположить, влиянием солженицынских полемических антилибералистских идей, особенно тех, что выражены в статьях «Образованщина» и «Наши плюралисты». Именно поэтому с таким отчуждением говорится о правах человека (хотя, слава Богу, этот термин пока еще не употреблен в кавычках, как это делает И. Шафаревич). Направляемый «упрощенным» Солженицыным В. Потапов пишет: «в пределе все эти права могут быть осуществлены разве что на необитаемом острове». В пределе — может быть, и да; но в нормальной жизни их осуществляют западные демократии, и чем дальше, тем с большим успехом.

Читая идеологический роман, критика сама впадает в соблазн идеологизирования и уводит от текста произведения — впрочем, это наследственный грех отечественной критики, увлеченной прежде всего «идейностью» — от тех самых ревдемократов, от которых эта критика постоянно открещивается. Но вследствие отчуждения детей от родителей генетическая связь не исчезает.

Между тем реферат Курчева отнюдь не сводится к «либералистскому сознанию».

Главное в нем, на мой взгляд,— это постановка п р о б л е м ы п о в е д е н и я, п о в е д е н ч е с к о г о в ы б о р а в конкретных социально-исторических условиях.

«...Так ли страшно оказаться отлученным?» — вот над чем бьется Курчев, определяя свою будущую жизнь. Страшно ли быть «исключенным из ряда»? «Страшно»,— отвечает он сам себе. Но можно определить «четкие пределы этого страха». Курчев пытается выломиться из железной структуры. Попытка демобилизации, предпринятая им,— это отнюдь не только увольнение из армии.

В своем реферате он перебирает различные модели оппозиционного поведения. Крайние формы протеста — дезертирство, бегство (подразумевается эмиграция). Есть и формы промежуточные: нерадивость, леность, филонство (итальянская забастовка, «ничегонеделанье», «саботаж»).

Интеллектуальный саботаж — для таких, как Курчев. То есть неучастие. Отказ от участия во лжи. Вспомним слова Л. К. Чуковской: «Чем будут заниматься исключенные? Писать книги». Нет, недаром герой романа В. Корнилова — литератор. Не случайно демобилизовавшийся еще раньше прагматик Новосельнов, твердо стоящий ногами на земле и не желающий участвовать ни в работе «системы», ни в оппозиции, прозорливо говорит Курчеву: «Тебе бы стихи писать, а не историей заниматься», а Инга прежде всего обращает внимание на «стиль» реферата, то есть его литературное качество.

Выбор поведения сознателен. Выламывание, освобождение из системы (демобилизация) дается крайне, чудовищно трудно. Но — дается.

В кружке, описанном В. Корниловым, встречаются люди, избравшие для себя разные модели поведения. Этот кружок еще достаточно открыт, вход (и выход) в него свободен, доступен. В него может «зайти» и философ-марксист Сеничкин-Сретенский, и даже полковник Ращупкин.

Корнилов раскрывает перед читателем не только различные модели сознания и поведения, но и вводит в повествование героя, критикующего эти модели.— Новосельнова, не приемлющего «образованщину». «В дерьме живете, но других учите, чертовы болячки... Вдруг узнают чего-то, чему сто лет в обед, и разорутся: караул! грабят! — хотя давно все разграблено-переграблено. Живет такой слепой болван и вдруг очухается и начинает, понимаешь, в колокол бить. Вроде Герцена твоего».

(Отметим здесь существенное: «Герцена т в о е г о». Тоже не случайная отсылка, а историческая ниточка, по которой Корнилов вытягивает историческую родословную своего героя.)

С первого взгляда Новосельнова можно принять за этакого Обломова, возлежащего в подштанниках на раскладушке и декларирующего отказ от участия в осуществлении «либералистских» идей. Но и мысли, и поведение Новосельнова гораздо сложнее: он скорее не Обломов, а Штольц. Он хоть телевизоры чинить может (золотые руки) — и при этом не участвовать в государственной лжи. Идет работать к заведомому жулику — но парадокс системы в том, что жулик (или, если хотите, ловкач-предприниматель) больше пользы приносит человеку, чем п р а в и л ь н о е (по государственным нормам) экономическое поведение.

И, наконец, еще одно: идеи «кружковщины» В. Корнилов проверяет исторически. Опять-таки совершенно не случайно он вводит в роман сюжетную линию, связанную с историей семьи Инги Рысаковой. Да и фамилия ей дана «говорящая», идеологическим смыслом наполненная: Николай Рысаков был одним из бомбометателей-народовольцев. «Родственник ее бомбу в царя кидал? — Кидал.— ...В истории он есть. Его помнят.— А чего помнить? Кучера убил и всех своих выдал». Примерно в годы работы над романом Корнилов написал стихи об убийстве царя. Террористическую практику большевизма он проверил ее началом, не просто «осудил сталинизм», а пошел в глубь истории, доходя до корней, до ядра, до зарождения тоталитарной системы в головах свободолюбивых революционеров. Именно поэтому в «кружке» Крапивникова столь ироническую реакцию вызывают и стихи Твардовского, опубликованные в «Новом мире»,— кружковцы уже переросли «новомировское» сознание.

Дискутируя о свободе, Курчев эпатирующе заявляет: «Свобода... это свобода. Это, знаете, как девственность. Либо она есть, либо ее нету». Но этот его тезис проходит через целый ряд явных и неявных (исторических) сопоставлений. Ведь и полковник Ращупкин думает о свободе — конечно, по-своему, по-ращупкински: «Офицер тоже свободен, когда не занят. Офицер осознанно и необходимо свободен».

Роман Корнилова — диспут о свободе и ее границах, о праве государственном и о правах человека, о мертвящей догме марксистско-ленинской «философии», о тоталитарном режиме — и о поведении, о возможностях, о попытке спасения, о выламывании человека из системы. Сводить роман только к требованиям беспредельной свободы для личности — значит намеренно упрощать авторскую задачу. И мысль — тоже, ибо и Корнилов, и его герой бьются над тем, чтобы ее, не разрешаемую столь просто, «разрешить».

Корнилов оставляет финал открытым. Испытывая «постыдный страх обреченности», подавляя в себе «отчаянную жажду бегства», его герой «выходит из ряда» навстречу жизни, сознательно отдавая себе отчет в том, что «у него впереди ничего веселого». Да, конечно, Курчев подвергает яростно-веселой критике комплекс идей новоявленного славянофильства, можно сказать, что Корнилов слегка пародирует их через своего Бороздыку. Но Корнилов подвергает тщательно-

му рассмотрению (и критике) и либерально-демократическую идеологию.

Можно ли вообразить себе идеологический роман, написанный человеком, тяготеющим к националистической идее, с такой же степенью внутренней свободы подвергающим самокритике свои идеи?

По крайней мере мне такое произведение, увы, пока не встречалось. Но, может быть, это моя проблема.

3

Всеобщая политизация привела к тому, что не только читатели, но и мы, критики, осваиваем литературу (в том числе и идеологический роман, безусловно провоцирующий на такое прочтение) преимущественно как философский монолог героев — или отождествленного с ними автора. Предлагаем читателю увлеченное софилософствование с героями — или увлеченную полемику с ними же. Подгоняем идеологию автора под идеологию героев, укладываем эту идеологию в прокрустово ложе выбранной нами заранее концепции (как правило, не слишком оригинальной). В лучшем случае — совмещая софилософствование с психологическим анализом героев-идеологов (а в последнее время счастливо избегая даже этого).

И это связано не только с издержками политизации. Такой способ анализа, для которого характерна невосприимчивость к художественным особенностям романной структуры, ведет свою родословную и от традиции философской монологизации, означенной возрождаемыми ныне именами Розанова, Волынского, Мережковского, Шестова и других.

Попытка втиснуть множественность изображенных сознаний в монологические рамки единого мировоззрения (в случае с В. Корниловым названного «либералистским») порождает в критике «конфузные» ситуации — зачем тогда, собственно говоря, роман, если мы считаем себя вправе ограничиться собственными размышлениями по поводу трехстраничного эссе героя?

Произведение, при анализе которого достаточно применить такой способ анализа, я бы отнесла к идеологизированной прозе.

Идеологический же роман — это, по моему мнению, тот, что преодолевает оковы идеологизации и выходит из ряда на простор многозначности, неразрешимости. Драмы идей.

Идеологизированный роман, как правило, наследует соцреалистическую поэтику — даже в случае прямого отказа, отречения автора от «заветов» соцреалистической догматики. Он характеризуется безусловным «соцклассицистическим» разделением героев на «наших» и «ненаших» (при этом все симпатии автора безоговорочно отданы, конечно, «нашим»), отсутствием полутонов в построении «ненаших», а полутона в «наших» если и присутствуют, то извинительны и вызваны влиянием «ненаших». Среди «наших» в обязательном порядке присутствует идеализированный герой («Хороший Человек»), являющийся рупором авторской моноидеи (или идеи-фикс, как у В. Белова и прямых эпигонов его романа «Все впереди» — «Развязки» С. Арцыбашева и «Разменной монеты» Ю. Козлова; к этому же типу сочинений относятся и последние романы Ю. Бондарева, особенно только что опубликованный — «Искушение»). Моноидея «завязывается» на антидемократизме (комплексе национального превосходства перед прогнившим и погрязшим в «демократии», в «правах человека» Западом), изоляционизме, моральном дидактизме. Как правило, идеологизированный современный советский роман страдает фемииофобией: женщина представлена воплощением дьявола (отсюда — сильнейший «антиженский» комплекс; все, что связано с женским телом, рассматривается как соблазн враждебной идеологии). В идеологизированном романе главной задачей Хорошего Человека является дело, то есть воплощение Идеи в жизнь,— чему мешают «не-наши».

Все диалоги между «нашими» — это псевдодиалоги, поучения, не нуждающиеся в другой точке зрения, в идее другого. Этот художественный мир не знает чужой мысли как предмета изображения. Идеологом (знающим и понимающим) является только автор, отсюда — идейная одноакцентность произведения. Оно может разоблачать жидомасонов, просто евреев, или сионистов, или «экологов», замысливших погубить нашу природу. В любом случае они (однозначно) — «ненаши», или воплощение «дьявольщины» (и то, и другое — из фундаментального лев икона Александра Невзорова).

Идеология в идеологизированном романе не является формообразующей. Идеологический же роман ведет свою родословную не от «соцклассицистической» поэтики, а от поэтики европейского романа воспитания (становление самосознания героя, раскрытие этого самосознания), от поэтики продолжившего эти традиции Достоевского. «Бесы», в сущности, явились непосредственной моделью для романа В. Кормера «Наследство» («Октябрь», 1990, №№ 5—8), написанного в середине 70-х.

Предваряя публикацию романа, И. Виноградов оговаривает, что в «Наследстве» полифония осуществляется скорее по М. Бахтину, чем по Достоевскому. Прежде чем говорить о содержательно-смысловом итоге, о собственной позиции автора по отношению к тем, кого он сводит в духовном споре (И. Виноградов считает, что автор — «соглядатай» — вообще устраняется от сверхоценки, заменяя ее композиционным единством текста), я хочу опять остановиться на поэтике романа.

Перед нами первый, насколько мне известно, и наиболее подробный роман о диссидентстве, написанный и не в осуждение этого движения (а тем более — не в хвалу), и не являющийся ни в коей мере ни карикатурой, ни гротеском. Как ни парадоксально это прозвучит, но «Наследство» — это идеологический роман, сверхзадачей которого было разоблачение идеологизации как разрушительного начала. Разоблачение соблазна идеологизации. И для решения такой сверхзадачи автор избрал идеологизированную среду (исторически последующий этап после корниловской «кружковщины») и поместил в нее героев — идеологов различных воззрений и убеждений.

Главного своего героя — так же, как и В. Корнилов,— Кормер делает писателем. Наблюдателем. Слово «соглядатай» в русском языке несет эмоционально негативный оттенок, да и стоит-то Вирхов как бы и чуть в стороне, и внутри круга, им отчасти описываемого (он работает над романом о диссидентах). Но пишет не только Вирхов — сочиняют в романе многие; среди диссидентов почти каждый пишет стихи, прозу, публицистику. Один (Мелик) сочиняет трактат об Иуде, другая (Лиза) — детская писательница, третья (Татьяна Манн) — филолог-романист, переводчик; у ее бывшего мужа (Льва Владимировича) «книга пошла в набор», приехавший с Запада ученый — филолог-славист. Практически все герои романа имеют дело со словом. Но это «слово» — всякое: не только прямое и открытое, но и слово с «ужимкой» с вывертом, с примесью лжи: «— У тебя тут икорка, рыбка, ты как-то устроился. Книжки пишешь, врешь там с три короба...— А ты не врешь?— Может, и я вру тоже,— согласился Мелик...— Но, видишь, мне никак не удается соврать как следует». В. Кормер изображает в романе двоемыслие интеллигенции, которое он же безыллюзорно проанализировал в статье «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» («Вопросы философии», 1989, № 9).

Роман, который сочиняет Вирхов, начинается с исторической линии — повествования о судьбах людей и идей первой эмиграции, и «роман в романе» определяет структуру произведения.

В. Кормер проводит читателя вслед за Вергилием-Вирховым по двум идеологическим «кругам»: кругу диссидентства 60—70-х годов и кругу эмиграции 20-х годов, укрепляя «идеологический сюжет» своего романа (столкновение и борьба идей, попытка реализации, претворения идеи в действительность) сюжетом чисто беллетристическим, и даже с детективным оттенком, сюжетом о «миллионном» наследстве.

Название романа — «Наследство» — носит, как и у Корнилова, метафорический характер (это же название В. Кормер дает и роману своего героя, Вирхова). «Самый малый шаг в глубь времен мгновенным ударом отдавался в чьей-то сегодняшней судьбе. Каждый отвечал не только за свои, но и за чужие грехи, и все судьбы, все грехи переплелись так тесно, что их нельзя было оторвать друг от друга. Каждому в дар доставалось от кого-то за что-то наследство». В последние годы мы радостно употребляем это слово — наследство — только с положительным оттенком: Кормер же видит в нем и отягощающее начало — расплату за грехи предшествующих. Предшествующих — в чем? В том, что он (и его герой) определяет как «бесовщина»: узость кружковщины, порождающую лукавство, предательство, обман, оторванность от реальности: грех идеологизирования.

Почти каждый из его героев — идео-

лог, и почти каждый проходит через свое «безумие», как метафорическое, так и действительное. Провести грань между идеологизацией и безумием подчас затруднительно: речи героев экстатичны, сверхэмоциональны, иногда — почти припадочны. И. Виноградов определяет роман как «религиозно-философский», но религиозность и философствование у В. Кормера есть скорее предмет изображения, чем жанровая установка.

Герои В. Кормера (как современные, так и исторические) исповедуют разные «веры»; в романе представлен целый спектр убеждений, верований, идеологий: евразийство, сменовеховство, европеизированный либерализм, катакомбная церковь, неославянофильство, обретение православия, неозападничество, сионизм... Всех героев, разделенных общественными, духовными, нравственными устремлениями, автор «сводит» не только в кружках, но и в церковном дворике (в финале) во время пасхального богослужения.

Значит ли это, что в романе В. Кормера побеждает христианская идея?

И сознание героев, и отношение к ним Вирхова, а затем и самого автора все время колеблется, вызывая в читателе отвращение, связанное с восхищением.

В. Кормер беспощадно ведет линию от детей — к отцам; не только к «евразийцам», но и к мучителям из НКВД: недаром Мелик «провидит» в выжившем из ума старом палаче с треугольным черепом своего отца. Да в каком-то отношении тот и является его духовным отцом: старик из палача превращается чуть ли не в обвинителя режима, а Мелик, напротив, из ненавидящего режим становится чуть ли не его прямым пособником.— впрочем, не только он.

Вспомним вопрос из реферата Курчева: страшно ли оказаться отлученным?

Для корниловского героя ответом на этот вопрос станет его будущая, за рамками романа, жизнь.

Герои Кормера тоже дали свой ответ на этот вопрос. Уже выбрали. Они выломились из ряда, попытались в воплощении «идеологий» в жизнь осуществить свое самостояние.

Но — не личностное, опять-таки групповое.

Группа «толстовцев» уезжает в подмосковную деревню, дабы там учительствовать и жить своим трудом, в том числе трудом на земле. Однако ничего, кроме фарса, из этого «идейного» предприятия не выходит.

Кормер проверяет «идеологии» героев (сформулированные в их горячечных монологах или сочинениях) — жизнью.

Поступок, поведение становятся голгофой идеи.

Герои как бы ставят практический эксперимент своей теории, своей идеологии.

Выломиться из ряда — это, оказывается, только самое начало, у с л о в и е. Самое трудное, как и предчувствовал корниловский Курчев, начинается потом. «Свободу вам подавай, свобода вам нужна! А з а ч е м в а м с в о б о д а?» — вот уже вопрос для кормеровских героев. И отвечает на него первым пошедший на прямое сотрудничество с властями: «Вы все хотите от самих себя убежать...» И, несмотря на то, что эти слова отданы прожженному циннку, в них присутствует большая доля истины.

Взгляд Кормера на последствия идеологизации беспощаден. В конечном счете идеологизация оборачивается победой не только над человечностью, но и над самой идеей. Поиск свободы завершается новой несвободой. Татьяна Манн ощутила злое дыхание этой новой несвободы, подавления личности, на себе: «Я хочу быть человеком со своим мнением и жить, как я хочу, а не как они хотят... А то, как они говорили, когда бегали с этим письмом в защиту Иркиного хахаля? Нас, видите ли, не интересует, почему ты подписываешь и о чем ты при этом думаешь! Подписывая, ты становишься просто социальной единицей «инакомыслия» и в качестве таковой только и имеешь значение».

Что же может спасти, уберечь личность от подстерегающих ее и здесь, в «демократическом» окружении, давлений? Давлений новых идеологий, которым надо в чем-то подчиниться, «отдать» свою уникальность, свою единственность?

Проводя своих героев по кругам «идеологических» искушений, Кормер приводит их к церкви; но ответ его отнюдь не прямолинеен, ибо и в самой церкви (не говоря уже о собравшейся кругом пастве) не так все просто. И около церкви начинает править бал идеология, в которую пытаются превратить христианство, исходя из «патриотических», «государственных» — или даже из самых лучших, самых чистых, по всей видимости, побуждений. Мы сегодня являемся свидетелями «использования» христианских обрядов и символов ради пропаганды ксенофобских и шовинистических идей,— церковь до сих пор не высказала своего к этому отношения. Православие облекается чуть ли не в государственные одежды,— и в редкой «государственной» передаче не задержит оператор ТВ камеру на клобуке или наперстном кресте. С другой стороны, и государственные мужи с находчивостью невероятной используют каждую возможность «присоединиться» к церковным праздникам. Да и демократические общественные институты с удовольствием осеняют свои благие начинания крестным знамением, и не задумываясь, как я полагаю, над тем, что среди рядовых участников движения могут быть люди разных вероисповеданий (тем более в нашей стране даже христианских церквей по крайней мере шесть, не говоря уж о мусульманстве, иудаизме и т. д.). Надо ли говорить о том, что все это свидетельствует об откровенном использовании православия в идеологических целях?

Вот и литературный критик пишет: «Во всяком случае, идея соборности могла бы быть разделена всеми...»

«Это вряд ли можно выразить в рациональных категориях... Это необходимо почувствовать».

«...Она может стать общей «платформой», общеприемлемой точкой пересечения различных мировоззрений и идеологий...»

И — в конце: «...она выглядит самой... истинной».

Остается лишь недоуменно задаться вопросом: неужели и сегодня не наученные горьким опытом предшествующих поколений, мы будем политизировать религию? Искать в ней не жизнь вечную, а рекомендации по обустройству жизни земной?

4

Спасет ли нас от идеологии старой новая идеология?

Н. С. Трубецкой писал П. П. Сувчинскому и П. Н. Савицкому о своей тревоге в связи с евразийским движением: «Меня просто пугает, что с нами происходит. Я чувствую, что мы забрались в трясину, которая с каждым шагом всасывает нас все больше и больше. О чем мы переписываемся? О чем говорим? О чем думаем? — только о политике. Надо назвать вещи своими именами: мы становимся политиканами и живем под знаком примата политики. Это — смерть». Другой евразиец, Н. О. Лосский, критикуя работу Л. Карсавина «О личности», замечал, что «у него нет концепции истинной вечной индивидуальной уникальности как абсолютной ценности».

Вспомним о «насморке фурштатского солдата» — разве не об этом, не об абсолютной ценности вечной индивидуальной уникальности мучительно размышляет корниловский Курчев? Да, только ему еще долго будут недоступны сочинения Флоровского и Бердяева, Шестова и Карсавина — они становятся доступными читателю лишь сегодня. Н. С. Трубецкого и Н. О. Лосского я цитировала по подборке «Полюса евразийства», напечатанной в январской книжке «Нового мира» за 1991 год.— не забудем, что Курчев с большим трудом смог получить «допуск» в третий научный зал Ленинской библиотеки. Финал романа «Демобилизация» (вовсе не случайно происходящий именно в стенах этого зала) говорит о внутреннем движении, об открытости культуре — неофита, интеллигента в первом поколении. В статье «Кушать ли нам ящериц?» известный диссидент Борис Вайль, впервые «севший» в 1957 году, вспоминает, что на вопрос следователя «Что повлияло на формирование ваших антисоветских взглядов?» юные противники режима отвечали: «Не хлебом единым» Дудинцева, «Рычаги» Яшина, «Собственное мнение» Гранина. До русской философии было еще очень далеко, но культура, литература, даже подцензурная, раскрепощали человека, духовно обеспечивали рождение освободительных идей. «Персоналистическое самосознание».— пишет Б. Вайль,—...подготавливалось всей литературой и культурой «оттепели», начиная с померанцевской статьи «Об искренности в литературе»... они боролись за суверенность личности, и это воспринималось как вызов, как покушение на основы» («Искусство кино», 1991, № 2).

И недаром корниловский Курчев, да и не только он, потрясен померанцев-

ской статьей, недаром то и дело мелькнет в романе голубая «новомировская» обложка — как знак идеологической ориентации.

Сегодня же романы, за чтение которых (я уж не говорю о создании) люди платили годами жизни и здоровьем, читатель почитывает, удобно расположившись в кресле,— герои Кормера судорожно перепрятывали книги перед обыском и возможным арестом.

Романы В. Кормера и В. Корнилова печатаются рядом с документальными свидетельствами о времени и о судьбах диссидентства: с «Воспоминаниями» А. Д. Сахарова, с книгой В. Буковского «И возвращается ветер...», мемуарами П. Григоренко «В подполье можно встретить только крыс», с повестями А. Марченко, воспоминаниями Р. Пименова, статьями Б. Вайля, публицистикой М. Казачкова, выпущенного на свободу, к нашему общему позору, только в 1990 году. Но на страницах «Наследства» мы не встретим ни А. Д. Сахарова, ни Л. Богораз, ни Г. Померанца, ни В. Буковского или А. Гинзбурга,— и прототипами персонажей романа они не послужили. Говорит ли это о специфической избирательности зрения В. Кормера, о том, что он намеренно исказил картину, сконцентрировав свое внимание на не самых, скажем так, благородных эпизодах из истории диссидентства? Показал не в самых привлекательных красках участников этого движения?

Да, он, следуя своему учителю в «Бесах», сосредоточен на крайности. И так же, на крайности, сосредоточен и в изображении сменовеховцев и евразийцев — но недаром сказано Г. Померанцем, что зло начинается с пены на губах ангела. И мотив безумия, пронизывающий весь роман, тоже не случаен. Этим мотивом Кормер присоединяется к традиции изображения безумия в русской литературе — безумия как социального и философского протеста. В горячечных, иногда до бреда доходящих диалогах персонажи как бы двоятся, Кормер постоянно «переворачивает», выворачивает наизнанку идеологию своих персонажей. Треугольноголовый «отец» Мелика становится чуть ли не разоблачителем режима, а потом опять его «оплотом»; инакомыслящий Хазин вдруг обосновывает идею сотрудничества с «прогрессивно мыслящей» частью партийно-государственного истэблишмента в деле «гуманизации» социализма, придании ему «человеческого лица». Идея в изображении Кормера не только испытывается реальностью, но и внутренне полемична. Идеологические построения можно с легкостью опровергнуть, если «вынуть» идею из контекста романа, из постоянного pro и contra. Поэтика романа остораживает от скорых и безапелляционных идеологических выводов.

Вернемся к идее соборности. Популярное ныне сочетание христианства с национальной идеей представляет опасность для самого христианства, из которого на следующем этапе такого сочетания начинает изыматься сама его сущность.

В 30-х годах в нашей стране начался процесс идеологизации, нагнетания идеологического страха; идеология превращалась в предмет поклонения, а марксизм-ленинизм стал неприкосновенной святыней.

Сегодня происходит обратный процесс: попытка превращения христианства в новую идеологию, необходимую для сохранения партийно-государственной социалистической системы. Это было отчетливо сформулировано Ю. Бондаревым на встрече творческой интеллигенции с М. С. Горбачевым в сентябре 1990 года: «Почему мы оказались в таком тяжелом положении? Потому что разрушили триаду — государственность, народность, веру» (правда, Бондарев тут же сделал тактическую оговорку: «Веру я понимаю здесь неоднозначно...»). И далее: «Наша гласность разрушила прошлое, разрушила фундамент». Опять та же смесь понятий! Будто задолго до гласности, то есть в 20-е, 30-е, 40-е и 50—60-е годы, фундамент истинной веры не был разрушен!..

Не точнее ли высказался В. Распутин: «...Если бы Россия была верующей, то и тон наших размышлений о ней был бы иным...» Времена разорения душн даром не прошли, проще восстановить разрушенный храм и начать службу, чем начать службу в прерванной душе» («Интеллигенция и патриотизм».— Москва, 1991, № 2). Но и для Распутина тоже христианство — увы, лишь подспорье для н а ц и о н а л ь н о г о возрождения, опять — идеология: чтобы опять мы все «согласились на единые перемоги» ради спасения национального, которое, по мысли автора, б о л ь ш е человеческого («ценность абсолютная»). И недаром в призыве Распутина слышится явная перекличка с фундаменталистской исламской идеей героизации жертвы за святое дело (душа пойдет прямиком в рай): «И смерть за нее (за отчизну.— Н. И.) — трагический и торжественный шаг в светлое недремное войско, которое никогда не изменит и голос которого призовет новые дружины».

Установка на идеологизацию остается.

Идеологические романы, вышедшие сегодня, а написанные десятилетия тому назад, самой своей поэтикой — показом того, что идея по самой своей структуре диалогична; а когда эта диалогичность кончается, идея умирает, вырождаясь в идеологию,— исследуют жизнь идеи и эту опасность, а не предлагают идеологических рецептов спасения. «Идеология выкручивает наши души как поломойные тряпки»,— эти слова сказаны Солженицыным о коммунистической идеологии, но они соотносимы с идеологией любой.

Наше сознание сегодня мучительно ищет выход — его постигла временная, надеюсь, слепота, как человека, долгие годы проведшего в темнице. Там он научился хотя бы на ощупь определять предметы, а яркий свет кажется ему еще большим мраком. До постидеологической эпохи, до нормальной жизни вне изнуряющего идеологизирования нам идти и идти.

А пока...

Пока я думаю, что в драме идей, происходящей на наших глазах и с нашим участием, в кипящем растворе споров, обсуждений ежедневно возникающих идеологических платформ и программ, занимающих львиную долю газетных и «толстожурнальных» публикаций,— именно сегодня в этом котле, готовом ежесекундно взорваться, «вызревается» и новый идеологический роман, способный своим появлением перечеркнуть наши заявления о конце традиционной русской литературы, вернее, о тотальном разрыве с прошлым и о переходе в совершенно новое, свободное от идей, качество («литература должна быть литературой, и только»). Я жду появления такого романа со стороны писателей, свободных от идеологической тенденциозности, от «партийности» любого толка,— способных видеть выше и глубже «наших» или «не-наших», воспринимающих действительность не в двоичном, черно-белом варианте. «По ту сторону правого и левого», как сказал С. Франк. «При двоичном мышлении решает цвет: красное (зло) или белое (добро). При троичном важнее оттенки»,— комментирует не устаревшую до сего дня статью С. Франка Г. Померанц («История в сослагательном наклонении» — «Вопросы философии», 1990, № 11).

Упаси Боже, я не выбираю для будущего литературы сверхудобного и в идейном, и в практически-житейском смысле положения «над схваткой», или «поверх барьеров».

Но литература должна... подсматривать, подслушивать, что ли.

Быть — третьей?

На филологическом факультете МГУ, где я училась в 60-е годы, был замечательный студент, прозванный за свою особость «дикорастущим»,— Володя Краснокутский, погибший вскоре в автомобильной катастрофе. И он написал, как я помню, работу о «трех» у Достоевского: в сценах споров и диалогов присутствует, как правило, кто-то третий, подсматривающий, подслушивающий (очень часто — не намеренно, а случайно). Это может быть профан, неофит, человек, не понимающий, что же происходит, реагирующий по-своему, не адекватно предмету спора. Но — реагирующий парадоксально и необычно.

Итак, если уж мы опять вернулись к неисчерпаемому Достоевскому.

В одном из романов его рассказана следующая притча (пересказываю, как запомнилось).

На Красной площади оказался агромаднейший камень, который мешал всему движению. И надо бы от этого камня избавиться. Городские власти предложили большие деньги избавителям. Французы затребовали энное количество лошадей и людской силы. Англичанин и К° — колоссальных средств для сооружения взрывного устройства. А русский мужик затребовал... лопату: дабы вырыть яму да камень в нее и повалить.

О чем притча? Опять — о троичном мышлении.

Я думаю, что литература наша к нему сегодня ищет пути, подбирается. По крайней мере для меня свидетельствуют об этом последние публикации В. Маканина — рассказ «Там была пара...» и повесть «Лаз» («Новый мир», 1991, № 5).

Рассказчик (текст написан от лица героя-повествователя) чувствует себя как бы заместившим — в молодой среде, даже молодежной, сказала бы я, если б это слово не было столь ужасающе замызганным,— некоего старика, который раньше был «профессиональным шпионом», «разведчиком», засылавшимся в чужую армию: был «агентом и контрагентом».

И постаревший незнакомый знакомец наш Ключарев (из повести «Лаз») разрывается между мирами: над-земным и под-земным (лаз — дыра, вход в которую имеет тенденцию к сокращению; а он — лаз-утчик, раз-ведчик (от слов «лаз» и «ведать»).

Ключарев хочет спасти свою семью от надвигающегося на страну кошмара и судорожно копает собственную нору-пещеру, но ничего из этой затеи (сюжетно приближенной к «Новым робинзонам» Л. Петрушевской) не получается. И моделируемый Маканиным автор (художник, писатель) лично не спасется, но, будучи посредником, лаз-утчиком, раз-ведчиком, интеллектуальным, духовным «сообщающимся сосудом», подслушивающим «третьим», спасет и приумножит свое добро.

Нет, публикации Маканина — это не новая идеологическая проза. Маканин вообще не «идеолог», он работает не с идеями, а с моделями функционирования идей. И здесь — тоже явное моделирование: идет поиск, прикидка, разработка авторской позиции.

Для прозы «троичного мышления»? Может быть.

А как же — схватка, борьба идей?

«Но и сражаясь, можно внутренне стоять выше сражения»,— совершенно согласна с этой мыслью Г. Померанца. Особенно — если речь идет о собственно литературных проблемах, проблемах поэтики (к которым и относится столь сложный вопрос об авторской позиции).

Я отдаю себе отчет в том, что всем нам сегодня вроде бы не до тонкостей, не до оттенков. Не до литературной техники.

Но что же делать, если в литературе в отличие от гражданской войны оттенки-то все и решают!

Тем более что красно-белое (или любое контрастно-двоичное) мышление являет собою, как доказано, рудимент архаического коллективного подсознания, в определенные эпохи всплывающего в сознании. Есть попытки преодолеть «лагерное» (преданное лишь своему идеологическому «лагерю») сознание — но ростки эти пока слабы и уязвимы. Например, в повести «Праздник похорон» («Нева», 1990, № 2) М. Чулаки, описывая смерть вредной, «принципиальной», почти маразмирующей старухи-сталинистки, матери либерала и демократа, не только дерзнул нарушить схему (благородный либерал против непорядочных «охранителей»), но полностью перевернул ее.

А пока проза «троичного мышления» еще только проклевывается, я лично компенсирую ее чтением журнала «Век XX и мир», представляющего для меня футурологическую модель идеологического романа. Отсюда слышны и спорящие голоса, и грозные инвективы из разных «лагерей», и речи умных (!) охранителей, и размышления демократов по поводу собственной ахиллесовой пяты, и предупреждения из прошлого, и «загробные» оправдания...

Подождем?

В редакцию журнала «Октябрь»

РЕЦЕНЗИРОВАТЬ, НО НЕ ПЕРЕДЕРГИВАТЬ

Сейчас мне прислали № 4 «Октября» за 1991 г., где помещены размышления Л. Баткина по поводу моей статьи «Как нам обустроить Россию?». В главке «Процесс разделения» у меня написано: «И не только для русских с окраин, но и окраинных уроженцев...»,— из этой фразы и изо всего абзаца однозначно ясно, что речь идет о людях, а не об окраинах, ошибиться нельзя. Но, приводя эту фразу, Баткин изящно обранивает «с» и искаженное им место еще выделяет в разрядку: «русских окраин», тут же с обещательной зарубкой от себя: «выражение запомним». И не единожды, но трижды он использует этот передерг, обплясывая его так и эдак, до подлога: будто я называю 12 республик «русскими окраинами»! Есть в рецензии и другие прямые извращения моего текста, и все сделаны с эмоциональным напором.

Удивляюсь, что не было простой редакционной проверки цитат. Была бы легко обнаружена эта, в лучшем случае радостная небрежность рецензента.

В гражданcки развитом обществе исказитель цитаты приносит публичные извинения читателям.

А. СОЛЖЕНИЦЫН.

12 августа 1991 г.
Кавендиш, Вермонт

Я историк, то есть профессионал, привыкший иметь дело с текстами. Точность цитирования — одно из элементарных правил моей профессии. Для меня тем неприятней пусть и невольная («глазная») ошибка, указанная А. И. Солженицыным (пропуск предлога «с», придавший цитируемой фразе дополнительный неверный смысл). Приношу искренние извинения автору за свою погрешность (хотя и живу в далеко не развитом гражданском обществе). Жаль, что автор не указал на нее сразу же после первой публикации в «Стране и мире», тогда ошибка не попала бы спустя полгода в «Октябрь».

Должен, однако, добавить, что моя критика была основана не на одной фразе автора, но на изучении брошюры А. И. Солженицына в целом, всего хода его соображений, их внутренней связи. Голословный упрек в «передерге», «подлоге», «извращениях» мыслей А. И. Солженицына я отклоняю. Даже в злополучной цитате суть ведь не в том, что окраины «русские», то есть русским принадлежат, а в том, что это — Киев, Тбилиси или Витебск — окраины России. Далее автор не раз называет все, что в СССР не Россия, именно так. Столь характерный взгляд тамошние жители, в том числе и многие русские, вряд ли согласятся разделить: основной смысл и тут мною не искажен. Впрочем, есть ли нужда сводить на это наш спор взамен углубления его сути новыми доводами? Перед читателем лежат и брошюра и возражения на нее. Каждый в состоянии, к счастью, сам судить об основательности и добросовестности критики.

Продолжая оставаться идейным оппонентом Александра Исаевича Солженицына, пользуюсь случаем еще раз засвидетельствовать свое уважение к этому выдающемуся человеку.

Л. БАТКИН

18 сентября 1991 г.
Москва

Андрей ПЛАТОНОВ

Фабрика литературы

В июне 1926 года Платонов приезжает в Москву на постоянную работу в ЦК Союза сельского хозяйства и лесных работ, куда он был выбран Всероссийским съездом мелиораторов в феврале 1926 года. Литературная жизнь 1926 года отмечена неистовыми полемиками о новых формах искусства, об организации литературной деятельности писателей. Вот только названия некоторых книг ведущих теоретиков «нового» искусства: Л. Авербах «По ту сторону литературных траншей» (1923); Н. Чужак «В драках за искусство» (1923); В. Полянский «На литературном фронте» (1924); С. Родов «В литературных боях»... В Москву Платонов привез первый вариант рассказа «Антисексус»: рассказ свидетельствовал о существенной корректировке взглядов писателя на левое искусство.

В Москве через четыре недели работы в должности заместителя ответственного секретаря Бюро землеустроителей он увольняется с работы. В одной из своих записей Платонов так охарактеризует свое состояние: «Безработица. Голод. Продажа вещей. Травля. Невозможность отстоять себя и нелегальное проживание. «Мужик»... Единственный выход: смерть и устранение себя» (Архив М. А. Платоновой). Писатель ищет выход из гибельной ситуации и обращается прежде всего к собратьям-писателям. 27 июля 1926 года датировано письмо Платонова А. К. Воронскому, редактору «Красной нови» и руководителю «Перевала»: «<...> Эти два года я был на больших тяжелых работах (мелиоративных), руководя ими в Воронежской губернии. Теперь я, благодаря смычке разных гибельных обстоятельств, очутился в Москве и без работы. Отчасти в этом повинна страсть к размышлению и писательству. И я сную и не знаю, что мне делать, хотя делать кое-что умею (я построил 800 плотин и 3 электростанции, и еще много работ по осушению, орошению и пр.). Но пишу и думаю я еще более давно по времени, и это мое основное и телесное. Посылаю вам 4 стихотворения, 1 статью и небольшой рассказ — все для «Красной нови». Убедительно прошу это прочитать и напечатать». Был ли ответ А. К. Воронского на письмо Платонова, неизвестно (на страницах «Красной нови» в этот год произведения писателя не появятся).

Осенью 1926 года от Наркомзема РСФСР Платонов уезжает в Тамбов для работы в земельном управлении в должности заведующего подотделом мелиорации. «Длинный глухой Тамбов»,— как писал Платонов в одном из писем к жене,— стал для него тем пространством, где он смог остаться «наедине со своей собственной душой и старыми мучительными мыслями». Из Тамбова по-иному воспринималась и литературная жизнь: «Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и проза. Но мне кажется — настоящее искусство, настоящая мысль только и могут рождаться в таком захолустье». В Тамбове рождался зрелый мастер, автор «Епифанских шлюзов», «Ямской слободы», «Эфирного тракта», «Города Градова».

Очевидно, в марте 1927 года Платонов возвращается в Москву. В одном из писем этого времени он так объясняет свое «возвращение»: «В Тамбове обстановка была настолько тяжелая, что я, пробившись около четырех месяцев, попросил освободить меня от работы, т. к. не верил в успех работ, за которые я отвечал, организация которых от меня мало зависела. <...> Но я бился как окровавленный кулак и, измучившись, уехал, предпочитая быть безработным в Москве, чем провалиться в Тамбове и смазать свою репутацию. Я снова остался в Москве без работы и почти без надежды» (Архив М. А. Платоновой). Это письмо от 7 ноября 1927 года. Уже в Москве за один месяц Платонов напишет своего удивительного «Сокровенного человека» и начнет интенсивно работать над «Чевенгуром»... Но незыблемым для него остается принцип, что «в эпоху устройства социализма «чистым» писателем быть нельзя», и он настойчиво добивается возвращения в Наркомзем РСФСР...

Эта краткая хроника переломного года в жизни Платонова, года нового накопления «материала» жизни, приоткрывает истоки той стабильной убийственной иронии, которой окрашено его отношение к литературным дискуссиям в статье «Фабрика литературы». Ключевые вопросы, по которым шел «смертный бой» между враждующими группировками в литературе, это — отношение искусства и жизни («материала», «факта»), «учебы» у классиков, технологии писательской работы, мастерства. Враждующие между собой теоретики разных групп по-разному видели механизм единой, в принципе, для них установки искусства на реальные, точные факты жизни. Для «Перевала» это было продолжением традиций реализма: «поучиться у прежних мастеров смотреть и видеть своими глазами» (А. Воронский). Рапповские теоретики в 1926 году наряду с фундаментальным тезисом пролетарской литературы — оценивать современные общественные отношения с точки зрения рабочего класса — выдвинули три новых лозунга: «Учеба, творчество, самокритика». Шумно заявили себя в середине 20-х годов конструктивисты (ЛЦК). В манифесте группы «Госплан литературы» (1925) вопросы «технологии искусства», нового его «качества» выводились из сопоставления «экономического стиля» эпохи индустриализации с его «идеологическим стилем»: «Перекройщику мира — пролетариату — предстоят гигантские задачи преодоления инерции старой культуры не только в экономике, но и во всех надстройках. Ближайшая эпоха — эпоха конфликтов с материалом. <...> Характер современной производственной техники, убыстренной, экономической и емкой — влияет и на способы идеологических представлений» (Госплан литературы. М.— Л., 1925. С. 41, 9).

В 1926 году в личной библиотеке Платонова находятся и главные книги одного из ведущих теоретиков ЛЕФа В. Шкловского: «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа» (1921), «Эпилог» (1922), «ZOO, или Письма не о любви» (1924), «Третья фабрика» (1926). Возможно, «Фабрика литературы» явилась платоновским ответом на «Третью фабрику» В. Шкловского, одним из персонажей которой был строитель плотин и почитатель В. Розанова воронежский инженер Андрей Платонов. Многие теоретические идеи Шкловского — теория монтажа, «стилевого приема», «журнала как литературной формы», «заготовок», второй профессии, производственного принципа как основы коллективистического творчества — узнаваемы в пародийной интонации «Фабрики литературы». В отношении к психологическому роману, и традиционному и пролетарскому, позиция Платонова остается отчасти близкой лефовской, для которой принципиальное новаторство всегда отмечается обновлением формы («стилевого приема»). В «Фабрике литературы» объектом пародии становятся не только лозунги теоретиков левого искусства о научной организации «производства литературы», но и непримиримо воинствующая позиция критиков РАППа. К 1926 году рапповцы выпустили серию методичек по созданию пролетарской литературы. Это были «рецепты» по изготовлению произведений разных жанров — с указанием тем, сюжетов, героев и даже художественных средств. Причем в отличие от теоретиков ЛЕФа и ЛЦК, многие из которых выступали и как писатели, критики РАППа оставляли за собой только пространство сугубо административно-критической деятельности.

В домашнем архиве Платонова сохранились рукопись и машинопись статьи «Фабрика литературы». На машинописи статьи — две авторские датировки ее текста. Первая, вымаранная дата — 1926 год (июль — август); вторая — 6 декабря 1927 года. Первоначальный адресат статьи — журнал «Октябрь». После резолюции ЦК РКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы» РАПП, органом которой являлся журнал «Октябрь», объявит новую дискуссию — «по вопросам художественной платформы на основе заветов Маркса и Плеханова, на основе диалектического материализма». Об участии в этой дискуссии заявлял и Платонов, о чем свидетельствует его запись на первой странице машинописи «Фабрики литературы»: «Просьба напечатать эту статью в одном из ближайших №№ов журнала. Можно сделать указание на дискуссионность статьи или вообще сделать редакционное примеч<ание> к ней. С тов. приветом Андрей Платонов» (Архив М. А. Платоновой). Очевидно, статья была возвращена писателю редакцией «Октября» и через год, в декабре 1927-го, он отправляет ее в «Журнал крестьянской молодежи» (второй адресат статьи — «ЖКМ» — указан также на первой странице машинописи). Именно в этом журнале 7 ноября 1926 года был опубликован рассказ «Как зажглась лампа Ильича». Вымарывая на первой странице «Фабрики литературы» первый адресат («Октябрь»), Платонов оставлял без изменения и текст статьи, и письмо в редколлегию: дискуссия о платформе пролетарской литературы продолжалась... Эта неизменность — важный показатель литературных взглядов Платонова 1926—1927 годов.

Андрей ПЛАТОНОВ

Фабрика литературы

(О КОРЕННОМ УЛУЧШЕНИИ СПОСОБОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА)

Искусство, как потение живому телу, как движение ветру, органически присуще жизни. Но, протекая в недрах организма, в «геологических разрезах», а районах «узкого радиуса» человеческого коллектива, искусство не всегда социально явно и общедоступно. Вывести его, искусство, из геологических недр на дневную поверхность (и прибавить к нему кое-чего, о чем ниже) — в этом все дело...

Говорят — пиши крепче, большим полотном, покажи горячие недра строительства новой эпохи, нарисуй трансформацию быта, яви нам тип человека нового стиля с новым душевным и волевым оборудованием. И так далее и все прочее. У писателя разбухает голова, а количество мозгового вещества остается то же (образуется т. ск., вакуум). Он видит полную справедливость этих умных советов, признает целесообразность этих планов и проектов, а кирпичей для постройки романа у него все-таки нет.

Искренние литераторы отправляются в провинцию, на Урал, в Донбасс, на ирригационные работы в Туркестане, в совхозы сельтрестов, на гидроэлектрические силовые установки, наконец, просто становятся активистами жилтовариществ (для вникания в быт, в ремонт примусов, в антисанитарию квартир и характеров, в склочничество и т. д.).

Писатель распахивает душу,— вливайся вещество жизни, полезная теплота эпохи — и превращайся в зодчество литер, в правду новых характеров, в сигналы напора великого класса.

Бродит этот человек чужеземцем по заводам, осматривает электрические централи, ужасается обычному, близорукий на невнятно великое, потом пишет сантиментально, преувеличенно, лживо, мучаясь и стеная о виденных крохах и ошурках жизни, сознавая потенциальное существование больших караваев высокой питательности. Получаются разъездные корреспонденции, а не художество. Получается субъективное философствование «по поводу», а не сечение живого по «АВ» с проекцией плоскости сечения в неминуемую судьбу этого «живого». А чтобы сечь живое, нужно его иметь, и иметь не в себе (в себе имеешь одного себя), а перед собой.

Современные литературные сочинения имеют два вида: либо это диалектика авторской души в социальной оправе (по-моему, Бабель, Сейфуллина и нек. др.), либо одни честные натужения на действительно социальный роман (диалектика событий) — искреннейшее желание ребенка построить в одиночку, в углу автобус, сделать из чугуна для щей паровую машину и т. д.,— и так сделать, чтобы люди сказали: вот молодец, хорошо изготовил автобус, лучше Лейлянда! [1]

Лейлянд — жизнь, ребенок с чугунком — писатель. Нам же нужна в литературе диалектика социальных событий, **звучащая как противоречие живой души автора.**

Смотрите, куда ушла электротехника, гидравлика, авиация, химия, астрофизика... Люди примерно те же, что и десять лет назад, а делают они лучшие вещи, чем их предки.

Куда ушла литература от Шекспира по качеству? Конечно, сейчас пишут о слесарях, а не о сыновьях королей, но это, т. ск., «количественный» признак, а не качественный: Шекспир удовлетворительно писал бы и о слесарях, если бы был нашим современником.

Литература никуда не ушла: садится за стол писатель и пишет, располагая лишь самим собой со своими внутренностями. Все дисциплины, особенно знания, умеют использовать нарастающие объективные факторы — свой опыт и чужую потребность,— умеют реформировать этими факторами субъективные способы деятельности, а литераторы ничего не умеют, как некие осколки первобытного человечества. Литераторы до сих пор самолично делают автомобили, забыв, что есть Форд и Ситроэн [2].

Шпенглера [3] у нас не любят (и есть за что), но в одном он был прав: в сравнении количества ума и знания, циркулирующего на собрании промышленников и на собрании литераторов,— в сравнении не в пользу литераторов. Это верно, и не спрячешься от этого. Побеседуйте с каким-нибудь инженером, большим строителем и организатором, а затем поговорите с прославленным поэтом. От инженера на вас пахнет здоровый тугой ум и свежий ветер конкретной жизни, а от поэта (не всегда, но часто) на вас подует воздух из двери больницы, как изо рта психопата.

Надо создать способы литературной работы, эквивалентные современности, учтя и органически вместив весь опыт истекшего. Необходимо, чтобы методы словесного творчества прогрессировали с темпом Революции, если не могут с такой скоростью расти люди.

А литераторы делают ставку на людей, на «талант», ничего не делая для изобретения новых методов своей работы, а которых и схоронены все злые собаки нашего бессилия перед охватившей нас Историей. Мы живем сейчас перед

эпохой почти безответными, мямля, поелику возможно, благо есть инерция издательской промышленности.

Теперешний токарь, **благодаря новому методу — усовершенствованному станку (которого не было сто лет назад) делает качеством лучше и количеством больше в десять раз,** против своего деда, у которого не было **такого** станка. Хотя этот токарь, наш односельчанин по эпохе, как человек, как «талант», м. б. и бездарнее и вообще дешевле своего деда. Все дело в том, что у деда **такого,** как у внука, **станка не** было.

Если бы то же случилось и в литературе, то современный писатель писал бы лучше и больше Шекспира, будучи 1% от Шекспира по дару своему.

Надо изобретать не только романы, но и методы их изготовки. Писать романы — дело писателей, изобретать новые методы их сочинения, коренным образом облегчающие и улучшающие работу писателя и его продукцию,— дело критиков, это их главная задача, если не единственная. До сих пор критики занимались разглядыванием собственной тени, полагая, что она похожа на человека. Это не то так, не то нет, это подобие критику, а не равенство ему.

Критик должен стать строителем «машин», производящих литературу, на самих же машинах будет трудиться и продуцировать художник.

Вот был Фурманов, жила Рейснер [4] — они правильно прощупывали то, что должно быть: они, живя, борясь, странствуя, получали дары жизни и ими возвратно одаряли литературу, тонко корректируя получаемые дары своей индивидуальной душой, без чего не может быть настоящего искусства. Искусство получается в результате обогащения руд жизни индивидуальностью художника. Фурманов был военным политработником, Рейснер революционеркой, странницей, а **потом** они уже были писателями.

Чехов имел приемником жизни записную книжку, Пушкин работал в архивах, Франс проповедовал ножницы вместо пера, Шекспир (несомненно, не актер Шекспир, а лорд Ретленд [5]) широко пользовался мемуарами своего родного круга — аристократии.

Я поясняю, я не сторонник, а противник «картинок с натуры», протоколов жизни и прочего,— я за запах души автора в его произведениях и, одновременно, за живые лица людей и коллектива в этом же произведении.

С заднего интимного хода душа автора и душа коллектива должны быть совокуплены, без этого не вообразишь художника. Но литература — социальная вещь, ее, естественно, и должен строить социальный коллектив, лишь при водительстве, при «монтаже» одного лица — мастера, литератора. У последнего, конечно, большие права и возможности, но строить роман он должен из социального съедобного вещества. Так оно и есть, скажут, слово ведь социальный элемент, событие — также, движение характера — тоже (оно вызвано общественной первопричиной).

Да, но слово лишь социальное сырье, и чрезвычайно податливое и обратимое.

Но зачем пользоваться сырьем, когда можно иметь **полуфабрикаты?** От полуфабриката до фабриката ближе путь, чем от сырья, нужно затратить меньшее количество сил и экономию на количестве можно превратить в качество.

Современный литератор преимущественно пользуется социальным сырьем, изредка полуфабрикатом.

Что такое «полуфабрикат»?

Мифы, исторические и современные факты и события, бытовые действия, запечатленная воля к лучшей судьбе,— все это, изложенное тысячами безымянных, но живых и красных уст, сотнями «сухих», но бесподобных по насыщенности и стилю ведомственных бумаг, будут полуфабрикатами для литератора, т. к. это все сделано ненарочно, искренно, бесплатно, нечаянно — и лучше не напишешь: это оптимум, это эквивалент в 100% с жизнью, преломленный и обогащенный девственной душой. «Полуфабрикатами» также могут быть и личные происшествия с автором, насколько это действительные, и стало быть, искренние непорочные факты. Ведь искусство получается не само по себе, не объективно, а в результате сложения (или помножения) социального, объективного явления с душой человека («душа» есть индивидуальное нарушение общего фона действительности, неповторимый в другом и неподобный ни с чем акт, только поэтому «душа» — живая; прошу прощения за старую терминологию — я вложил в нее иное новое содержание).

«Душа» — в наличности, и часто в преизбыточном количестве и качестве. А литература наша все же не очень доброкачественна,— стало быть, нехватка в стороннем, внешнем, социальном материале, во втором слагаемом, в «полуфабрикатах». Но объективно этот материал имеется в чудовищных количествах, почему же его субъективно не хватает писателю? Потому что нет «товаропроводящей» сети, нет методов уловления и усвоения социального материала. Социальный материал может быть только уже литературным полуфабрикатом, поскольку свежие губы народа редко изрекают междометия или формулируют понятия, а дают явлениям некоторый конкретно-словесный образ, поскольку происходит чувственно-ассоциативная реакция, поскольку народ — живой человек.

Перехожу к конкретным примерам. Я сделал так (меня можно сильно поправить). Купил кожаную тетрадь (для долгой носки). Разбил ее на 7 отделов — «сюжетов» с заголовками: 1) Труд, 2) Любовь, 3) Быт, 4) Личности и характеры, 5) Разговор с самим собой, 6) Нечаянные думы и открытия и 7) Особое и остальное. Я дал самые общие заголовки — только для собственной ориентации. В эту тетрадь я неукоснительно

вношу и наклеиваю все меня заинтересовавшее, все, что может послужить полуфабрикатом для литературных работ, как то: вырезки из газет, отдельные фразы оттуда же, вырезки из много- и малочитаемых книг (которыми я особенно интересуюсь: очерки по ирригации Туркестана, колонизация Мурманского края, канатное производство, история Землянского уезда, Воронежской губ. и мн. др.— я покупаю по дешевке этот «отживший» книжный брак), переношу в тетрадь редкие живые диалоги, откуда и какие попало, записываю собственные мысли, темы и очерки,— стараюсь таким ежом кататься в жизни, чтобы к моей выпяченной наблюдательности все прилипало и прикалывалось, а потом я отдираю от себя налипшее — шлак выкидываю, а полуфабрикат — в кожаную тетрадочку.

Тетрадь полнится самым разнообразным и самым живым. Конечно, нужен острый глаз и чуткий вкус, а то насуешь в тетрадь мякину и лебеду вместо насущного хлеба. Затем я листую вечером тетрадь, останавливаюсь на заинтересовавшей меня записи (иногда совпадающей с редакционно-общественной конъюнктурой; иногда это приходится «в такт» личному сердечно-умственному замыслу), беру ее за центр, за тему и работаю, идя по следующим записям и наклейкам (благо их такое множество и такое разнотравие): беру целые диалоги, описания улиц, воздуха, обстановки и прочих чудес — все по готовому, лишь слегка изменяя их, соответственно замыслу или своим способностям и связывая интервалы цементом из личного багажа. Получается сочинение, где лично моего (по числу букв) 5—10%, зато все мое душевное желание, зато весь мой «монтаж».

Монтаж, собственно, и позволяет чуять автора и составляет второе слагаемое всякого искусства — интимно-душевно-индивидуальный корректив, указывающий, что тут пребывала некоторое время живая, кровно заинтересованная и горячая рука, работала личная страсть и имеется воля и цель живого человека.

Взятое из людей и народа, я возвращаю им же, обкатав и обмакнув все это в себя самого.

Ежели я имею запах — талант, а не вонь — чернильницу, меня будут есть и читать.

Надо писать отныне не словами, выдумывая и копируя живой язык, а прямо кусками самого живого языка («украденного» в тетрадь), монтируя эти куски в произведение.

Эффект получается (должен получиться) колоссальный, потому что со мной работали тысячи людей, вложивших в записанные у меня фразы свои индивидуальные и коллективные оценки миру и внедрившие в уловленные мною факты и речь камни живой Истории.

Теперь не надо корпеть, вспоминать, случайно находить и постоянно терять и растрачиваться, надсаживаясь над сырьем, медленно шествуя через сырье, полуфабрикат к полезному продукту,— нужно суметь отречься, припасть и сосать жизнь. А потом всосанная жизнь сама перемешается с соками твоей душевности и возвратится к людям еще более сочным продуктом, чем изошла от них. Если ты только не бесплодная супесь, а густая влага и раствор солей.

Я не проповедую, а информирую. У меня есть опыт,— я его молча демонстрировал — одобряли. Я сравнивал с прошлыми методами своей работы новый метод и ужасался. Теперь я пишу, играя и радуясь, а в прошлом иногда мучился, надувался и выдувал мыльные пузыри. Теперь мысль, возбужденная и возбуждающая, обнимается с чувством и сама делается горячей до физического ощущения ее температуры в горле, а раньше она плыла, как зарево, будучи сама заоблачной стужей.

Мне могут сказать: открыл Южную Америку! Это же обязан делать всякий умный писатель, и делает, дорогой гражданин! Не знаю — нет, по-моему, не делает: не вижу, поднимите мне веки! Может быть, изредка и пренебрежительно.

Это не так просто, и это нелегко — очень нелегко.

Надо всегда держать всю свою наблюдательность мобилизованной, зоркость и вкус должны быть выпячены, как хищники, надо всегда копаться на задворках и на центральных площадях в разном дерьме. Надо уметь чуять, как опытный татарин-старьевщик или мусорщик, где можно что найти, а где прокопаешься неделю и найдешь одно оловянное кольцо с руки давно погребенной старухи.

Может быть, это не дело литератора? Не знаю. Но это очень интересно и легко. Всегда держишь душу и сознание открытыми, через них проходит свежий ветер жизни, а ты его иногда слегка, а иногда намертвую, притормаживаешь, чтобы ветер оставлял в тебе следы.

Затем ночью, когда спят дети и женщины, не слышно хохота в коридоре, ты сидишь и «слесаришь», «монтируешь», что и как тебе по душе,— тебе легко и быстро пишется, и ты сам улыбаешься разговорам, городу, природе и скрытым мыслям, записанным в тетрадь, и ты сам нечаянно ею зачитываешься. Ты пишешь самые разнообразные вещи и упорно идешь в рост.

Откуда это у тебя? — спрашивают друзья. Ты только таинственно улыбаешься, а я раз сказал: да от вас же иногда. Ведь многие литераторы гораздо лучше рассказывают, чем пишут. Я сделал однажды опыт, и привел в одном рассказе разговор друга, он прочитал, обрадовался, но ничего не вспомнил (я чуть «перемонтировал»). Он не понимает до сих пор, что работа, дающая больше создания, требует небрезгливых рук и крохоборчества.

Сознаюсь, я написал таким способом только одно произведение, называется оно «Антисексус»[6], и тетрадь я завел

очень недавно. Поэтому похвалиться особенно нечем. Подтвердить новый способ и продемонстрировать что-нибудь, кроме вышеуказанного, тоже пока не могу. Но вы же видите, что я говорю правду.

Но это все еще литкустарничество.

Производство литературных произведений надо ставить по-современному — широко, рационально, надежно, с гарантированным качеством.

План такого литературного предприятия мне рисуется в следующем виде.

В центре предприятия стоит редакция (скажем, лит. ежемесячника) — коллектив литературных монтеров *, собственно писателей, творящих произведения. Во главе редакции («сборочного цеха», образно говоря) стоит критик или бюро критиков,— бюро улучшений и изобретений методов литературной работы, также как во главе крупного машиностроительного, скажем, завода стоит сейчас конструкторское бюро.

Это бюро все время изучает процессы труда, копит и систематизирует опыт, изучает эпоху, читателя — и вносит реконструкции, улучшая качество, экономя и упрощая труд.

Это — последнее высшее звено литер. предприятия — его сборочный цех. Остальные «цеха» (отделы моей, скажем, кожаной тетради) находятся в стране, в теле жизни, это литкоры (термин не совсем подходящ — ну, ладно); причем труд их должен быть разделен и дифференцирован, чем детальнее, тем лучше.

Я бы сделал в СССР так. Имеем Всесоюзный или Всероссийский литературный журнал. В каждой национальной республике или области (потому что по этим линиям проходят сейчас водоразделы души, быта, истории и проч.), в каждом таком территориальном названии имеется сеть литкоров, причем каждый литкор, сообразно внутренней своей склонности, специализируется на какомлибо одном сюжете («труд», или «личности и характеры», или еще что), но не лишая себя работы по сбору живого материала и по другим сюжетам, если он того хочет.

В каждой нацреспублике или области должно быть не менее 7, примерно, литкоров (см. выше разделы тетради), но по одному и тому же сюжету может быть несколько литкоров. Может быть и так, что сюжет разбивается на несколько подсюжетов и каждый подсюжет обслуживается отдельным литкором. Напр., сюжет «труд» легко разъемлется на десятки подсюжетов: платина, руда, лесопромышленность и т. д.— в одном районе малого радиуса. Литкоры — это первичные цеха, куда поступают полуфабрикаты социальной природы и где они отбираются, сортируются и некоторым образом компануются. Затем от литкоров материал поступает к национальному (или областному) литкору, наиболее опытному из литкоров, уже монтеру литературы, если литкоры — лишь квалифицированные «мастеровые».

От литкора требуется хищническая наблюдательность и зоркая способность обнаруживать и квалифицировать материал, залегающий в недрах подстилающей его жизни.

Но литкор может и не иметь отличительной способности литератур. монтера — умения прибавить к полуфабрикату элемент индивидуальной души и так сорганизовать всю массу полуфабрикатов, чтобы получилось произведение, а не окрошка словес, фактов и девьей мечты.

Нац (обл) литкор должен иметь все качества литкора плюс тонкий и чуткий вкус и глубокое образование. Полученный от литкоров материал по отдельным сюжетам он сводит в одну тетрадь, очищая этот материал от всего неоригинального, нетипичного, а главное, неживого, явно бесценного для литературы. Однако в этом права нац (обл) литкора должны быть строго и узко ограничены, чтобы он не мог обесцвечивать и обезглавливать материал литкоров.

Такой центральный литкор должен работать «чуть-чуть», не править материал, а — или выбрасывать его целиком, или оставлять тоже целиком, не переставляя даже запятых. По настоянию литкора он должен материал оставлять. Нацлиткор должен особенно хорошо знать свой народ и родную литературу и должен давать советы и помощь литкорам (и в этом его главная работа).

Нац (или обл) литкор — это контрольный цех, браковочная лаборатория. Ничего своего в извлекаемое из жизни литкоры привносить не должны, давая, напр., диалог, вырезку или событие вживе и целиком. Для своих замечаний, дум и устремлений они могут писать в сюжетах (отделах) «Нечаянные думы» или «Особое и остальное», так и помечая в своих литературных письмах.

Нац (обл) литкор сведенный в единую тетрадь материал периодически пересылает в редакцию («сбор. цех») «на монтаж» — на творчество произведений.

Получается предприятие:

мастеровые «у станков» (литкоры),
цеховые мастера (нац-обл-литкоры),
монтеры (литераторы, сборщики произведений),
директора — инженеры (критики).

Можно, конечно, районировать, кроме системы нац-обл-литкоров, еще и иначе, потому что районы, хотя и населенные одной нацией или сложенные экономически однородно, могут оказаться слишком разнообразными по признакам, интересующим литературу; наконец, интересы литературы могут не совпасть с линиями экономики, хозяйства и пр.

Гонорар должен делиться примерно так:

50% — писателю, «монтеру»,
5% — критику, «бюро изобр. литер. методов»,
5% — нац-обл-литкору,

* В этом слове не зазорность, а уважение: монтер — организатор, мастер, комбинатор косных веществ. **(Прим. авт.)**

40% — литкорам — от каждого произведения, выпущенного данным литер. предприятием. Произведение выпускается под фамилией «монтера» и с маркой литературного предприятия.

Вот, скажут, развел иерархию и бюрократию. Это не верно,— это не иерархия, а разделение труда, это не бюрократия, а живая творческая добровольная организация сборщиков меда и яда жизни и фабрика переработки этих веществ.

Обиды не должны быть: материально в успехе заинтересованы все сотрудники литер. предприятия, а морально — каждый литкор может стать литмонтером при желании, способностях и энергии.

Я пока работаю в одиночку, кустарно (сам себе и «литкор» и «нацкор» и т. д.), поэтому едва ли добьюсь таких разительных эффектов, которые бы сразу указали на преимущество предлагаемого метода.

Главная сила здесь, конечно, в «предприятии», в разделении труда, в охвате огромного количества человеческих личностей, масс и территорий, тысячью зорких глаз, многоголовым живым умом и чутким вкусом.

Но все же я попробую и результаты продемонстрирую, если позволит это тот печатный орган, куда я обращусь.

Это «лежачий» опыт, а я бы хотел сразу поставить его на ноги крупно, серьезно и бить на достойное нашего времени гигантское (только не по числу печатных листов) сочинение.

Но для этой организации нужна охота многих подходящих людей, а не одного нижеподписавшегося.

Может быть, мы приблизимся тогда к коренной реформе литературы (содержания, стиля и качества ее) и по-простому разрешим проблему коллективизации этой «таинственной» и нежной области, ликвидируем архаизм приемов и нравов литературного труда, сравняемся по разумности организации производства хотя бы с плохим заводом с. х. машин и орудий.

Очень прошу написать по этому поводу. Но — конкретно, по существу, избегая мелких придирок и щекотки, предлагая сытную насущность, а не корешки от ржи.

---

[1] **Лейланд** — «Лейленд мотор», английская автомобильная компания.

[2] **Форд Генри** — один из виднейших представителей финансовой и деловой общественности США, руководитель Всемирных автомобильных компаний, создатель теории новых методов хозяйствования и организации труда. В 1924—27 годах книги Форда и его теория организации производства широко пропагандировались в СССР Институтом труда. **Ситроен Андре** — организатор французского автомобильного концерна.

[3] **Шпенглер Освальд** — немецкий философ-культуролог начала XX века, автор широко известных в начале 20-х годов книг «Закат Европы» и «Пессимизм». Платонов был хорошо знаком с работами Шпенглера, о чем свидетельствуют его статьи 1923—24 годов «Симфония сознания» и «Человек и пустыня». Здесь Платонов развивает один из тезисов Шпенглера о технократическом типе культуры будущего: «<...> если под влиянием этой книги люди нового поколения возьмутся за технику вместо лирики, за мореходное дело вместо живописи, <...> они поступят так, как я того желаю» (Шпенглер О. Закат Европы. М., 1923, с. 67). После высылки в 1922 году крупнейших русских философов, авторов книги «Освальд Шпенглер и закат Европы» (1922), разговор о Шпенглере в критике велся только в целях разоблачения «буржуазной философии».

[4] **Фурманов Д. А.** (1891—1926) — комиссар 25-й стрелковой дивизии (комиссар В. И. Чапаева); его романы «Чапаев» (1923) и «Мятеж» (1925) написаны на основе его опыта участия в гражданской войне. **Рейснер Л. М.** (1895—1928); книга Рейснер «Афганистан» (1925) создана на основе ее работы в первом советском посольстве в Афганистане. Результатом поездки Рейснер в Гамбург в 1925 году стала ее книга «Гамбург на баррикадах» (1925). От феномена автора «Странницы» и «Гамбурга на баррикадах» тянутся нити к образу Розы Люксембург в романе А. Платонова «Чевенгур».

[5] Платонов повторяет одну из гипотез шекспироведения об авторстве пьес Шекспира. Среди «претендентов» на авторство назывался и граф Рейленд.

[6] Рассказ «Антисексус» был написан в Воронеже в конце 1925 — начале 1926 годов. «Отзыв» Шкловского и заключительное «примечание» с большим списком деятелей пролетарской культуры вписаны в текст рассказа во второй половине 1928 года (время написания статьи «Фабрика литературы»). В нашей стране рассказ «Антисексус» впервые был опубликован в журнале «Новый мир» (1989 № 9).

А. Платонов и В. Ермилов

17 апреля 1964 года под рубрикой «Связь времен» «Литературная газета» опубликовала диалог критика В. Левина с патриархом советской критики В. Ермиловым. Отвечая на вопрос — «Были ли у вас такие работы, которые вы считаете ошибочными и хотели бы перечеркнуть?» — В. Ермилов назовет свою «давнюю статью» («Клеветнический рассказ А. Платонова». — **Н. К.**) о рассказе А. Платонова «Семья Иванова» («Возвращение»): «Я не сумел войти в своеобразие художественного мира Платонова, услышать его особенный поэтический язык, его грусть и радость за людей. Я подошел к рассказу с мерками, далекими от реальной сложности жизни и искусства». Это было признание очевидных вещей, лежащих на поверхности литературной жизни. Много тайн союза власти и литературной политики унес с собой В. Ермилов, стоявший с конца 20-х годов у истоков этого чудовищного «сотворчества» нашего века. Не рассказал критик и о своем месте в творческой судьбе Платонова 30-х годов. Писателя, которого он не только высоко ценил, но и любил... любил и предавал. В литературной жизни 20—40-х годов Ермилов неизменно занимал ключевые должности: секретарь РАПП и СП СССР, главный редактор журналов «Молодая гвардия» (1926—1928), «Красная новь» (1932—1938) и «Литературной газеты» (1946—1950). Первая встреча критика с Платоновым, очевидно, произошла в конце 20-х годов. Ермилову, члену редколлегии журнала «На литературном посту», имя писателя было хорошо знакомо по истории с «ЧЕ-ЧЕ-О», «Усомнившимся Макаром» и «Впрок». Однако в середине 30-х годов Ермилов открыто берет Платонова под свою защиту и как редактор ряда коллективных литературных изданий, и как редактор журнала «Красная новь». В 1936—37 годах журнал печатает и анонсирует Платонова. В связи с политическими процессами 1935—1938 годов в журналах появились материалы о разоблачении врагов в писательской среде, призывы к «усилению бдительности» и «самокритике». Заложниками новой кампании оказались фактически все редакторы журналов, опубликовавшие кого-нибудь из «замаскировавшихся» врагов-писателей. Меняется отношение к Платонову и в «Красной нови». В начале 1936 года главный редактор отправит Платонову письмо, исполненное любви и восхищения. В 1937 году именно «Красная новь» опубликует статью А. Гурвича, зловещую по своим выводам, статью, положившую начало новой вакханалии вокруг имени Платонова. В апреле 1938 года писатель должен был представить в издательство «Советский писатель» книгу о Николае Островском. В июне 1938 года — роман «Путешествие из Ленинграда в Москву», над которым он работает с конца 1936 года. Но в мае 1938 года арестовывают сына писателя, пятнадцатилетнего школьника... Редакция же настаивает на выполнении договора, и писатель готовит к сдаче вместо романа книгу своих литературно-критических статей «Размышления читателя». Подготовку книги Платонова к изданию с величайшим тактом и смелостью вел известный советский литературовед Л. И. Тимофеев. Однако с сентября 1939 года начинается кампания разгрома журнала «Литературный критик», где Платонов постоянно печатался в 1936—1939 годах.

Очевидно, в августе-сентябре 1939 года Ермилов отправил письмо главному партийному идеологу страны А. Жданову. На копии этого письма сохранились две пометы жены Платонова, М. А. Платоновой: «После этого доноса Платонова вызвал Жданов!», «Сборник критических статей был «зарезан» по распоряжению Фадеева». (Архив М. А. Платоновой.) Публикуемое ниже письмо Ермилова Фадееву приходится на время двух важных публикаций осени 1939 года: статьи В. Ермилова «О вредных взглядах «Литературного критика» («Литературная газета», 1939, 10 сентября) и редакционной статьи «О некоторых литературно-художественных журналах» в журнале «Большевик», теоретическом и политическом органе ЦК ВКП(б). К этим публикациям Ермилов постоянно апеллирует в своем письме к Фадееву, повторяя многие их тезисы. «Путаной», «насквозь антимарксистской», «оскорбительной для памяти» великого пролетарского писателя названа в «Большевике» статья Платонова «Пушкин и Горький»: «А. Платонов считает, что торжество коммунизма, его полная победа, зависит от того, появится или не появится у нас «новый Пушкин», что только в художественной литературе народ выражает свое истинное существо, может ощутить самого себя во всем своем качестве и достоинстве. <...> А. Платонов <...> исходит из неправильного, абсурдного предположения, что т о л ь к о художественная литература вдохновляет и сплачивает массы, воспитывает их в духе коммунизма. Он не понимает (или не хочет понять), что высшим достижением русской и мировой культуры является л е н и н и з м, великое учение, которое, овладев массами, стало материальной силой, вдохновившей и вдохновляющей массы на гигантские исторические действия. Редакция «Литературного критика» могла бы разъяснить А. Платонову, что есть такой великий документ человечества, как Сталинская Конституция СССР» (Большевик, 1939, № 14, с. 56—57). Позднее В. Ермилов обогатит свою статью 1939 года «О вредных взглядах «Литературного критика» материалом своего письма к Фадееву, и в 1940 году под тем же названием выйдет редакционная статья журнала «Красная новь»: «<...> «Литературный критик» <...> сделал своим знаменем все творчество Андрея Платонова в целом, со всеми его упадническими чертами: это, мол, не «иллюстратор», а «самостоятельный мыслитель», обогащающий читателя новыми идеями! <...> группа «Литературного критика» живет своим замкнутым мирком. В этом мирке господствуют идиллические нравы, царствует и взаимная амнистия. Люди прощают друг другу ошибки, лишь бы не нарушалась групповая солидарность. <...> Своего писателя — Андрея Платонова — представители группы расхваливают при всех удобных и, поистине, н е у д о б н ы х случаях. <...> И ни редакция журнала в целом, ни отдельные представители группы н и р а з у не признали ни одной своей ошибки! Они не сделали этого и после того, как редакция «Большевика» указала на возмутительный характер статей А. Платонова, печатавшихся в «Литературном критике» (Красная новь, 1940, № 4, с. 162—172).

После выступления «Красной нови» полемика вокруг журнала «Литературный критик» и книги одного из ведущих его теоретиков Г. Лукача «К истории реализма» (1939) приобретает ожесточенный характер. Со стороны журнала выступали Г. Лукач, М. Лифшиц, В.

Александров, Е. Усиевич, Я. Рыкачев. Оппонентами журнала — В. Ермилов, Е. Книпович, О. Резник, В. Кирпотин. Практически все номера «Литературной газеты» 1940 года помещали материалы этой дискуссии. Имя Платонова будет постоянно появляться в этой полемике. В. Ермилов: «Лукач даже не упоминает в своих статьях ни одного имени советского писателя (кроме имен Горького и... А. Платонова)» (Литературная газета, 1940, 5 марта); В. Кирпотин: «<...> под видом рецензий (Платонова.—Н. К.) — превратные представления, губительные для искусства» (там же, 22 сентября) и др. В этой ситуации Платонов и направит свое письмо в редакции «Литературной газеты» и «Литературного критика». Непосредственным поводом для письма послужили упомянутая выше статья «О вредных взглядах «Литературного критика» и полемический редакционный ответ на нее в журнале «Литературный критик» (1940, № 5—6, с. 284). Письмо не опубликовало ни одно из изданий. Неизвестно, знал ли Ермилов о письме Платонова. Однако осенью 1940 года он еще раз вернется к литературно-критическим работам писателя, включив его имя в «новые» проблемы литературной жизни, которые он также стремился взять под свой административный контроль. Это прежде всего — проблема трагического в советской литературе. Она для осени 1940 года была особенно актуальной в связи с резкой критикой пьесы «Метель» Л. Леонова и выходом последней книги «Тихого Дона» М. Шолохова. Восторженно оповестив читателя о завершении романа, критика явно не знала, что ей делать с трагическим Григорием Мелеховым, признавая, что «почему-то» образы коммунистов в романе «являются наименее разработанными, наименее совершенными» и поэтому Мишка Кошевой не стал «любимым героем читателя» (В. Кирпотин), что Кошевой «интеллектуально ниже всех в романе, а должен быть выше всех» (П. Громов). В. Ермилов выступил с программной статьей «О «Тихом Доне» и о трагедии», где объяснил, как надо понимать трагическое в жизни и в искусстве: «Произведение, рассказывающее о трагедии откола, разъединения, поэтически служит делу того невиданного в истории морально-политического единства народа, которого мы добились под сталинским руководством. Скорбь читателя о судьбе Григория Мелехова есть одновременно и радость за тех, кому уж не страшны никакие яды старого мира (разрядка наша.— Н. К.) (Литературная газета, 1940, 11 августа). Статья Ермилова о «Тихом Доне» непосредственно предшествовала его статье о Платонове. Философские истоки ермиловского подхода к трагическому уже были раскрыты Платоновым, герои которого мучительно размышляют о диалектике, о «противоречии действительности», которое «радость производит в ничто и может из горя вывести счастье» (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 53, л. 65). Статья Ермилова «Традиции и новаторство», опубликованная в «Литературной газете» 25 августа 1940 года, была посвящена новаторскому решению проблемы трагического в повести Ю. Крымова «Танкер Дербент». Однако предметом критики Ермилов сделал не статью Платонова о повести Ю. Крымова 1938 года, а только что опубликованную его статью «Размышления о Маяковском» («Литературное обозрение», 1940, № 7, за подписью Ф. Человеков). Критика статьи Платонова предвосхитила дискуссию, посвященную книгам о Маяковском, которая началась в ноябре 1940 года. Тезисы статьи Ермилова повторит в дискуссии Л. И. Тимофеев, который в 1938 году вел подготовку платоновских «Размышлений читателя»: «В статье Человекова <...> выдвинута странная концепция. Ф. Человеков говорит, что, в сущности, причина гибели Маяковского заключается в специфике его работы, в «трагической трудности работы, в подвиге поэта». <...>. Вот такого странного рода размышления о Маяковском, с которыми мы сталкиваемся, сказались и в книгах о Маяковском» (Литературная газета, 1940, 12 ноября). Ответ Платонова Ермилову остался незаконченным: он несколько раз его переписывал, вопросами испещрена и вся статья Ермилова, сохранившаяся в архиве писателя.

История диалога писателя и критика 1939—1940 годов завершается... постановлением ЦК ВКП(б) о литературной критике и библиографии от 2 декабря 1940 года: «Прекратить издание обособленного от писателей и литературы журнала «Литературный критик» (КПСС в резолюциях... т. 7. М., 1985, с. 182).

В. Ермилов — А. Фадееву

Дорогой тов. ЖДАНОВ!

Считаю своей партийной обязанностью обратить Ваше внимание на то, что журнал «Литературный критик», как мне кажется, все более рискует стать центром политически вредных настроений среди литераторов.

Одним из основных сотрудников журнала является писатель Андрей Платонов, автор нескольких враждебных произведений, вроде повести «Впрок».

А. Платонов очень часто печатает свои критические статьи на стр. «Литературного критика». Сейчас эти статьи вышли отдельной книжкой в издательстве «Советский писатель», под редакцией Е. Усиевич[1]. Здесь совершенно откровенно проповедуются взгляды, которые нельзя назвать иначе чем враждебные.

Саша! Отправляю тебе копию моей записки Жданову. Ввиду болезни я не смог использовать всего материала, — очень много дополнительных гнусностей. <...>.

Саша! Сохрани для меня эту копию моей записки Жданову. Как всегда, при острой постановке вопросов выясняется, что обывателю не нравится, когда его гладят против шерстки, так и сейчас выяснились болельщики за Платонова, тенденция «писательской вольницы» к декадентской розановской «оригинальности». Обыватели также существуют в аппарате «Литер. критика».

Даже у таких людей, как В. Катаев, Е. Петров, не говоря уже о Рыкачеве, Мунблите, Усиевич, Ф. Левине — имеется нечто вроде культа Платонова. Благоговеют перед ним, как перед Фомой Опискиным[2].

Кстати! В издательстве «Советский писатель», мне рассказывала Колтунова[3], что в архиве издательства хранится официальное предложение печатать книгу А. Платонова, с ссылкой на то, что эти статьи печатались в «Литер. критике». Сообщаю это тебе, чтобы ты учел сей факт.

<...> В первой статье «Пушкин — наш товарищ!». В этой статье развивается и очень скверная концепция — «Медный всадник», социализм, братство...

Я, например, в газете просто не мог цитировать безобразных рассуждений А. Платонова о Ленине... Издательство решило выдрать статью «Пушкин и Горький».

Ведь враждебные «мысли» у Платонова содержатся не только в этой статье, а и в других статьях, вошедших в книгу. Например, все чудовищные рассуждения о русской литературе и о Гоголе.

Сейчас Е. Усиевич и «Литературный критик» в целом покровительствуют Андрею Платонову, он у них в редакции чуть ли не «пророк» местного Фомы Опискина.

В. ЕРМИЛОВ

Об административно-литературной критике

(ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ)[4]

Георг Лукач в своей статье «Художник и критик» (№ 7 журн. «Литературный критик»)[5] совершил одно существенное упущение. Именно, Г. Лукач различает три категории критических работников: критик, художник-критик, философ-критик. В действительности есть еще и четвертая разновидность критика: административный критик, адмкритик; притом эта последняя разновидность пытается преодолеть первые три — путем их подавления разнообразными оргмероприятиями.

Ограничимся одним примером адмкритика — т. Ермиловым. Никакой литературной критической работы — в ее точном смысле — в его статье «Об ошибочных взглядах Литературного критика» нет. Но там есть работа административная. Ермилов пишет свою рецензию о статье Платонова «Пушкин и Горький» спустя два с лишним года после опубликования последней, потому что Ермилов, как администратор, учел литературно-организационную конъюнктуру. Далее,— цитата из любого произведения, если ей пользуются неумелые или злостные руки, всегда походит на членовредительство; но у административного критика как раз часто бывает нужда в членовредительстве цитируемого им автора, иначе в чем же смысл работы адмкритика; именно так цитирует Ермилов статью «Пушкин и Горький»: служебную иллюстрирующую фразу текста он цитирует, основные же положения опускает; адмкритик выдергивает из человека ноготь и хочет охарактеризовать им всего человека. И последнее соображение — непреодолимое для адмкритика: всякий критик обязан быть художником органически, иначе он никогда не соединится с предметом своей работы и всякое его исследование роковым образом будет давать ложные или бесплодные результаты. Администратор вовсе не исследователь и не руководитель: он берет «предмет» не за душу и не за руку, а за ухо. Администратор же хотя и думает про себя, что он полный и ученый хирург, все же не является им, потому что между хирургией и поркой есть разница, невзирая что обе они (нрзб.— Н. К.).

Однако отвечать т. Ермилову, оспаривать положения его рецензии нет расчета, потому что мы с ним люди разных областей деятельности, и, очевидно, ни один из нас не является специалистом для другого. Это не значит, что я не уважаю административную деятельность. Наобо-

рот, я ее уважаю настолько, что, не чувствуя способности к ней, не занимаюсь ею. Этому примеру могут следовать и работники других областей, например, административных. Литературная критика — область работы не менее достойная, чем административная, поэтому критика требует к себе такого же отношения, как, допустим, я отношусь к административным мероприятиям, по неспособности не занимаясь ими.

А. ПЛАТОНОВ

В редакцию «Литературной газеты»
В редакцию журнала «Литературный критик»

Просьба напечатать мое нижеследующее письмо.

В последнее время — уже в течение полугода или более — моя фамилия часто употребляется разными литераторами, которые, стремясь доказать свои теоретические положения, ссылаются на меня, как на писателя,— по любой причине и без особой причины. Убогость аргументации именем Платонова — очевидна. Поэтому я здесь не хочу вступать с этими людьми в какой-либо спор: у меня есть более полезная работа, чем употреблять те средства подавления и коррупции, которые применяют ко мне люди, считающие меня своим противником. Кроме того, я бы не смог употребить эти средства, потому что для того я бы должен превратиться из писателя в администратора. Например, я бы не смог (да и не стал бы, если даже мог) ликвидировать напечатанные и разрешенные к опубликованию книги[6], как поступили недавно с моей книгой, не стал бы зачеркивать каждое слово в печати, если оно не содержит резкого осуждения Платонова, и прочие подобные поступки я не позволил бы себе совершить и отговорил бы от таких поступков других людей, активность которых опережает их разумение.

В заключение я приведу слова Гоголя, которые в точности излагают мою мысль и просьбу: «Молодые чиновники подсмеивались и острили над ним во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории... Только, если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: оставьте меня».

А. ПЛАТОНОВ

15/V — 1940 г.

<А. Платонов — В. Ермилов>

В. Ермилов напечатал в «Литературной газете» № 45, статью «Традиция и новаторство».

В этой своей статье В. Ермилов делает традиционную, ставшую шаблонной ссылку на «некоего» Ф. Человекова, чтобы доказать правильность своих прогрессивных взглядов и (упрекнуть «этого» Человекова, обладающего, к «сожалению», отсталым мировоззрением,—текст, вычеркнутый А. Платоновым.—**Н. К.**) показать ошибочную ничтожность мировоззрения «этого» Человекова — «окрошки, в которой плавает и остаточек идеи Ф. М. Достоевского о том, что...».

«Маяковский, — пишет Ермилов, — прекрасно видел и чувствовал новое отношение жизни к новаторству, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых наших литераторах. Например, Ф. Человеков...».

Определение «новое отношение жизни к новаторству» — пустое и отвлеченное, потому что если бы вся «жизнь» сразу хорошо и сразу приветственно относилась к новаторству, то само новаторство было бы неощутимым состоянием и физически ненаблюдаемым: новаторство есть разница одного с другим, а не равенство. Поэтому не следует писать столь поверхностно-традиционными словами о новаторстве. Что касается Человекова, то он, до некоторой степени тоже способен прекрасно чувствовать «новое отношение жизни» к нему. Например, поскольку Человеков не новатор, то жизнь, в лице Ермилова, к нему относится плохо. Очевидно, следовательно, что к новаторам Ермилов относится хорошо, приветственно и одобряюще, — тем более, скажем, к такому новатору, как Маяковский. Эту очевидность надо, однако, проверить, потому что очевидность бывает и образом истины и покрывалом, стушевывающим ее, истину. Далее (позже — стилевой вариант Платонова. — **Н. К.**), в порядке обмена опытом и взаимного просвещения, мы укажем Ермилову, что новаторство, даже у нас и даже со стороны некоторых деятелей культуры, не всегда признается за полезное явление.

Поводом для рассуждения Ермилова послужила статья Человекова о Маяковском (журн. «Лит. обозр.» № 7). Мы здесь вынуждены привести то же место статьи, которое цитирует Ермилов.

[«Новое сознание, так же как и новое чувство, производится не автоматически, а рождается с огромным усилием, в этом-то все и дело, в том числе и дело поэта-новатора, такого, как Маяковский. И здесь же, в трагической трудности работы, в подвиге поэта, заключается, вероятно, причина ранней смерти Маяковского. Подвиг его был не в том, чтобы писать хорошие стихи—это для таланта поэта было естественным делом; подвиг его состоял в том, чтобы преодолеть косность людей и заставить их понимать себя — заставить не в смысле насилия, а в смысле обучения новому отношению к миру. ...преодоление же косности в душах людей почти всегда причиняет им боль, и они сопротивляются и борются с ведущим их вперед. Эта борьба с новатором не проходит для последнего безболезненно — он ведь живет обычной участью людей, его дар поэта не отделяет его от общества...

Подвиг Маяковского состоял в том, что он истратил жизнь, чтобы сделать созданную им поэзию сокровищем народа».][7]

Это написал Человеков. А Ермилов понял и объяснил его таким образом:

«Тут утверждается извечная трагичность новаторства... которая неизбежно ведет и к трагической жертве. Устанавливается «закон», в силу которого «люди» вообще всегда и везде «сопротивляются и борются с ведущим их вперед»... Трагичность новаторства выдвигается как постоянная, вечная норма, игнорирующая тот факт, что наша действительность устанавливает новые нормы! Нашу литературу, которая пытается раскрыть новые закономерности, уводят...» и тому подобная, всем известная механическая запись на идеологической пленке.

«Извечная трагичность», «Нашу литературу... уводят», «Устанавливается Закон», «Игнорируется тот факт» — эти слова, написанные не столь громогласно-шаблонно и примененные к делу, могли бы иметь смысл. Здесь же они бессмысленны, потому что Человеков писал только о поэте Маяковском, только о его одной поэтической и человеческой судьбе.

Ермилов же обобщает и растягивает чужую мысль, написанную по конкретному, единичному поводу, до масштабов «закономерности», и от этого в руках Ермилова чужая мысль уродуется, искажается, прежде чем сам успел или захотел понять ее. Нельзя понять другого, если сам постоянно переполнен собственным благоприобретенным и благополучным мнением, если постоянно имеешь некое железное намерение крошить любого, непохожего на себя (очевидно, «тебя». — **Н. К.**), если прячешься в ложный вымысел от беспокоящего огня действительности.

Смерть Маяковского есть трагическое событие. Но лишь безумец или человек, срочно нуждающийся в перевоспитании, обвинит писателя, заявившего об этом общеизвестном событии, что данный писатель клевещет на современное советское общество, устанавливающее новые нормы, что этот писатель проповедует, дескать, необходимость и неизбежность жертвенной жизни, что он, в сущности, чуть ли не сознательный организатор трагической жизни и самоубийства, как общей судьбы новаторов, что он возвращает нас к архивной теории о толпе и героях и прочей «окрошке» восьмидесятых годов.

Писатель Человеков этого не проповедовал. Он понимает, что не всякий человек способен пережить трагедию, а кто способен — тому не всегда бывают трагические обстоятельства. Трагедия нарочно никем не может быть организована. Понятно также, что там, где могут разбиться корабли, там же могут остаться невредимыми плавать щепки. Если Маяковский, в силу сложных и давних обстоятельств, поднял на себя руку, то молодое советское общество, полюбившее Маяковского задолго до его кончины, в целом здесь не при чем. И нельзя бестактно, как это делает Ермилов, объяснять слова Человекова о поэтическом подвиге и смерти Маяковского как попытку внедрить в современность ветхую теорию о фатальной, вечной трагичности новаторства и прочих вещей. Исторический процесс в нашей стране идет к тому, что трагические формы жизни перевоплощаются в другие формы, возвышенные и напряженные, но не бедственные. Ермилов же, возможно, полагает, что трагедия просто обратится в лирическую комедию, где новаторы и их противники объединятся на общей цветущей лужайке и будут там сидеть с дудочками в руках.

Повторяем, нельзя и ошибочно, во-первых, произвольно и бесконечно широко трактовать текст статьи Человекова, привешивая к этой статье собственные рассуждения Ермилова, и, во-вторых, надо знать, что в новом обществе еще действуют и пережитки старого общества, и новое общество, поэтому, явление более сложное, чем простое и плоско-идеальное отражение его образа в разуме Ермилова.

Если бы Человеков захотел воспользоваться методом Ермилова, то он бы мог сказать, что Ермилов сознательно ставит своего читателя в безвыходное положение. Вот что получается по Ермилову. Если брать не вообще новаторство, а одного великого новатора Маяковского, о котором в точном смысле идет речь в статье Человекова, то по Ермилову получается, что судьба поэта была исполнена наслаждения и непрерывного общественного успеха. Читатель вспомнит, однако, что ведь Маяковский застрелился. Читатель прочтет обильную литературу о действительной истории жизни и работы поэта. И тогда читателю станет ясно, что Ермилов пишет ради какого-то своего расчета, а не в расчете на истину. Далее. Зачем нужно Ермилову проецировать подвиг Маяковского (пусть в неверном изложении Человекова), проецировать судьбу поэта, умершего уже десять лет назад, начавшего свою работу до революции, на судьбу и положение современных, живущих и действующих сегодня социалистических новаторов? Зачем потребовалась такая грубая аналогия Ермилову? Затем, чтобы скомпрометировать

Человекова? — Это дело пустяковое. Тогда зачем же допускать и в мыслях то, чего не содержится в современной советской действительности — «трагичности новаторства», — да еще посредством навешивания своих мыслей на горб другого человека? Не есть ли это обходной, тайный ход Ермилова, средство для компрометации нового общества? — Вот что дает метод Ермилова в применении к нему самому.

Ермилов смутно понимает свою «левую езду» по бумаге и притормаживает блуждающий рассудок. Он декларирует: [«Наше советское общество качественно отличается от старого общества. Ф. Человекову же кажется особенно тяжелой невозможностью «отделиться от общества»...

Из всего этого не следует, что трагедия того или иного новатора совсем невозможна и в новой действительности, или что новаторство дается легко, не требуя жертв, испытаний, а порой и героизма. Новое всегда рождается с трудом, в борьбе со старым. Здесь возможны трагические случаи. Достаточно представить себе положение, когда по тем или иным причинам новатору не удалось прорваться из непосредственного, плохо сложившегося окружения в «план» большой, подлинной жизни, болезненную усталость, личное одиночество».]

И далее: «От этой трагической возможности очень далеко до трагической нормы». Но разве Человеков говорил о «трагической норме», выводя ее из творческого пути Маяковского? И чего Ермилов так остерегается «трагичности», «подвига», «жертвы»,—ведь это вещи совсем невредные для общества, если только совершать подвиги и приносить жертвы ради того же общества, ради лучших идей и дел прогрессивного человечества.

«Ведь новатору прошлых времен некуда было «прорываться», кроме будущего! — сообщает Ермилов. — Поэтому трудность работы была трагической.» Это уже просто бормотание, здесь мысль автора «прогуляла». Выходит, что если бы новатор прошлых времен мог прорываться в прошлое, то его участь не была бы трагической. Это возможно, но это был бы уже ермиловский новатор, рвущийся в прошлое и веселый.

[1] Речь идет о книге «Размышления читателя». Редактором книги была Е. Ф. Усиевич — известный советский критик, член редколлегии журнала «Литературный критик».

[2] Сравнение А. Платонова с Фомой Опискиным, героем «Села Степанчикова» Достоевского, подразумевало и иной литературно-политический контекст. Фома Опискин — один из псевдонимов русского писателя-сатирика А. Аверченко, редактора знаменитого журнала «Новый Сатирикон», закрытого специальным правительственным распоряжением в 1918 году за резко отрицательную позицию по отношению к советской власти. В домашней библиотеке Платонова сохранилась книга пролетарского поэта С. Малашкина «Мускулы» (1919), отредактированная Платоновым под именем Фомы Опискина в сатириконских традициях. Вот только некоторые его записи на полях стихотворений Малашкина: «Русло труда» — «Для будущего биографа рабочего класса»; «Идите на праздник» — «В авангарде страны»; «Демократии» — «по 2 р. 50 коп.»; «Каменщикам» — «по 1 р. 50 коп.»; «Женщина» — «Бесплатно. По соглашению»; «Пророк» — «для будущего исследования без божника»; «Стихи (случайные)» — «К. Маркс — ничего случайного не бывает»; «...рабочий камень бьет угрюмо» — «в какое время?»; «Керенский» — «Сука!»; «Вильгельму» — «Свой парень!»; «У забора» — «Оставить так» (Архив М. А. Платоновой).

[3] Колтунова Е. — редактор-организатор издательства «Советский писатель»; в 1938—1939 годах вела с Платоновым деловую переписку. 1 сентября 1939 года Колтунова сообщит Платонову об «изъятии» статьи «Пушкин и Горький» из «Размышлений читателя», а также о том, что книга «Н. Островский» задержана Главлитом и передана в ЦК» (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 21, л. 35). Возможно, в архиве ЦК КПСС обнаружатся следы неизвестной до сегодняшнего дня книги Платонова об Островском.

[4] Очевидно, письмо адресовалось в редакцию «Литературного критика».

[5] Лукач Г. — член редколлегии журнала «Литературный критик». В 1939 году вышла его книга «К истории реализма». Эта книга и статьи Г. Лукача 1939 года («Художник и критик», «О двух типах художников») были подвергнуты жестокой критике в статье «О вредных взглядах «Литературного критика»: за «отказ от теории классовой борьбы», за «оправдание термидора», за его тезис о том, что нового писателя еще нет в советской литературе (Красная новь, 1940, № 4).

[6] Речь идет об изъятии в 1939 году из издательского процесса книги «Николай Островский» и об уничтожении в 1940 году тиража «Размышлений читателя».

[7] Текст, заключенный в квадратные скобки, восстановлен по статье В. Ермилова. В автографе статьи Платонова оставлены пропуски для цитат из статьи критика.

Комментарий и примечания
Н. В. КОРНИЕНКО

Подписка на журнал «ОКТЯБРЬ» на 1992 год принимается всеми отделениями связи и органами «Союзпечати» без ограничения.

Подписная цена:
на год — 30 руб.
на полгода — 15 руб.
на три месяца — 7 руб. 50 коп.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки)

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ—МЕСТО» производится работниками предприятий связи и Союзпечати.

г. Брест. Облтип. Зак. 4189—10000000, 18. VI. 85 г.